

LE MESSAGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

111

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 111

TRIMESTRIEL

1 - 1974

LE MESSENGER

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, проф. прот. Алексей Князев, И. В. Морозов.

Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и вся Канада, проф. прот. Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°. Tél.: 250-53-66

ВЕСТНИК Р.С.Х.Д.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 1974 г.

Во Франции	50 фр.
с целью поддержки	100 фр.

(в Канаде)	13 долл.
	25 долл.

в 10 долларов, будут
по этому тарифу.

.....	50 frs.
.....	20 frs.

ПОСЛАТЬ ТОЛЬКО НА ПОЧТОВЫЙ

des Etudiants Russes,
Paris-15°des Etudiants Russes,
Paris-15° - France

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

111

БИБЛИОТЕКА-ФОНД
БИБЛИОТЕКА «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
Н. МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2
91 4001446 KIX

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 111

TRIMESTRIEL

1 - 1974

УТОПИЯ ИЛИ МАНИЛОВЩИНА ?

Ответ на письмо из России.

Ваш опыт журнальной утопии* — высокая, незаслуженная честь для *Вестника*. До нас, правда, уже доходили лестные слухи об успехе *Вестника* в России. Но то, что „идеальный журнал“ может мыслиться, отправляясь от *Вестника* (а не от других зарубежных изданий), превосходит все наши ожидания и одновременно страшит. „Честь обязывает“. И мы недоумеваем, будем ли мы способны хоть в малой мере ответить на те ожидания, которые *Вестник* всколыхнул среди русской интеллигенции.

Но не слишком ли высок прицел? Если Вы опасаетесь маниловщины, то не бояться ли нам хлестаковщины? Возможен ли идеальный журнал вообще, а в наших условиях в частности? К концу вашего утопического мечтания Вы ссылаетесь на *Русскую Мысль*, издававшуюся П. Б. Струве в России между 1907 и 1918 годами. Бесспорно, то был лучший толстый журнал тех лет. Но ведь тогда (несмотря на пресловутую „реакцию“) шел бурный расцвет литературы, публицистики, мысли, искусств, науки... Из многочисленных повременных изданий высокого уровня, *Русская Мысль* выделялась чёткостью и широтой своих позиций. Она опиралась на кадетскую интеллигенцию, которая скрещивалась с религиозно-философским возрождением. Эта установка позволила объединить вокруг *Русской Мысли* (разумеется, благодаря выдающейся личности редактора) лучшие силы той сверх-богатой эпохи.

Ничего подобного в наши дни уже нет. Великая русская эмиграция, доведшая религиозно-философское творчество до высшей точки, сошла на нет. Естественно, что на чужбине продолжателей её дела народилось мало. Возрождение, начавшееся в Советской России как раз, когда в эмиграции оно подошло к своему концу, имеет неравномерное развитие. Оно сказалось с необычайной силой в литературе: Солженицын, а за ним и другие писатели достигли мирового масштаба. Но гораздо слабее возрождение в области мысли. Вы сами пишете, что „все в неопределенности,

в брожении, в смятении, в криках страдания, в неотчётливых жарких откликах на сиоминутное". Призыв „Думать“, напечатанный в свое время в *Вестнике*, свидетельствовал, что работа мысли только начинается. Отставание мысли от литературы имеет, как нам кажется, двоякую причину. Мысли, больше чем литературе, необходимы среда, свобода общественной и интеллектуальной жизни, обмен мнений. Но можно так же себя спросить, не всегда ли образное мышление предшествует абстрактному, не является ли литература питательной средой для мышления? Так было уже дважды в русской культуре, и в золотом веке, и, еще разительнее, на рубеже двух столетий: без русского романа Толстого и Достоевского вряд ли было бы возможно религиозно-философское возрождение.

Эти соображения позволяют нам ответить сдержанно, если не отрицательно, на предварительный вопрос. „Идеальный журнал“ сейчас невозможен, ибо нет ни органической среды, ни органической культуры. Для „идеального журнала“ необходима периодическая печать, живое взаимодействие, здоровое соревнование. „Идеальный журнал“ будет тот, который станет глубже и шире других. Иными словами, для него нужен плюрализм, выражающийся в разнообразии повременных изданий. Вы же предлагаете заключить его в пределах одного *Вестника*. Впрочем, отчасти по необходимости, отчасти по призванию, так на деле и происходит: для религиозного журнала *Вестник* необычно плюралистичен. Но плюрализм теперешнего *Вестника* Вас не до конца удовлетворяет: Вы предлагаете его и расширить в пользу общественно-политической тематики, и... сузить за счет религиозно-богословской установки.

Вам кажется неуместной, стеснительной пометка, что журнал является органом Русского студенческого христианского движения. Несомненно, это наименование не вполне адекватно, не всем понятно. Фактически, в теперешнем своем облики, *Вестник* не является уже органом РСХД в прямом смысле. Само Движение, недавно отпраздновавшее свое 50-летие, свелось к небольшой, хоть и активной группировке во Франции при поддержке многих членов и друзей, рассеянных по всему свету. Но РСХД не только и не столько организация, сколько символ и знамя. Отпрыск религиозно-философского возрождения, РСХД стремилось воплотить его

заветы в жизни частной и общественной, перекинуть мост между Церковью и миром. Упразднить тесную связь между *Вестником* и РСХД — это не только лишить его той среды, на которую он опирается (он издается усилиями членов РСХД, распространяется и читается в первую очередь „движенцами“), но и уничтожить тот идейный стержень, на котором он держится.

Вы ведь сами признаёте, что дело собственно не в названии, а в более существенном, — „в православном направлении журнала“, в Ваших глазах не уместающемся „с тем плюрализмом, который сейчас так желателен“. Православное направление журнала Вы предлагаете растворить в некую общую, необязательную религиозность. Христианство для Вас не краеугольный камень, а лишь действенный фактор объединения: оно для Вас не существенно, а лишь тактически желательно. Разумеется, с этой точкой зрения мы никак не можем согласиться. Плюрализм ради плюрализма, ради наиболее широкого охвата читателей, таит в себе большую опасность, он граничит с беспринципностью. В свете чего, какого учения, какой философии рассматривать явления? Любой журнал только тем и стоит, что имеет свое лицо, свою *raison d'être*.

По-вашему, успех *Вестника* случаен, „так уж получилось“, о „способствующих этому обстоятельствах“ Вы почему-то отказываетесь судить. А нам представляется, что именно религиозный критерий, лежащий в основе журнала, и определил успех *Вестника*, то, что с ним, а не с *Границами* (критерий политический) и не с *Новым Журналом* (критерий гуманистический) связались надежды молодой подсоветской интеллигенции. В другое время, когда все ценности были еще на месте, религиозная основа журнала могла быть менее ярко выражена. Но в наши дни, когда безрелигиозный и противорелигиозный гуманизм обернулся звериным ликом, только религия, и религия не расплывчатая, не общая, а историческая, основанная на Богочеловеческом Откровении, способна внести разум и ясность в тот хаос пробуждающихся стремлений, который Вы описываете.

Года два назад группа новых эмигрантов выпустила сборник *Новый Колокол* с целью разбудить сознание. Но колокол не прозвучал, не потому, что главный его вдохно-

витель, Аркадий Белинков, умер до выхода сборника, не потому, что в него затесались статьи средней руки. Неудача его была определена отсутствием положительной позиции. А. Белинков и сотрудники сборника разубедились вконец в революционном идеале, поставили под сомнение национальное начало, к религиозным ценностям остались равнодушны. Что же они могли предложить читателям: голого человека, не верящего ни в прогресс, ни в нацию, ни в религию, а только, но на каком основании, в самого себя? Но философский солипсизм безвыходен и сборник не вызвал никакого отклика.

В наш век „крушений кумиров“ одна религиозная идея может спасти человека, утвердить его дух, осветить его разум, смягчить его сердце. Одно только Богочеловеческое Откровение (а Православие его самое чистое выражение и воплощение) дает смысл человеческой истории...

Вот почему мы не можем отказаться от Православия, как исходной точки и высшего критерия человека, его мысли, его делания, его личной и общественной судьбы.

Но Православие, русское религиозное возрождение, а за ним и РСХД понимали всегда широко (и сколько же нас шельмовали за эту широту!). Мы не отождествляем его с русской церковью и уж тем более с небольшим отрезком её существования. И что малодушие современной иерархии перед сонмом мучеников ленинских и сталинских времён! Мы открыты к иным христианским исповеданиям, в которых лишь отчасти, а иногда и в очень слабой степени, затемнена или ущерблена Истина. Мы открыты и ко всякой религиозной идее вне христианства, ко всякому поиску духовности среди неверующих. „Дух дышит, где хочет“. И потому наш *Вестник* посылно плюралистичен. Хорошо это или плохо, пусть судит читатель, но такого плюралистического журнала, где богословие, литература и общественные вопросы соседствуют наравне, в русской периодике еще не было. В этом своеобразии *Вестника*. Мы готовы всячески этот плюрализм расширять, но при условии не приносить в жертву Главного. Ибо только Главное, возводя множество к единству, сообщает этому плюрализму смысл и строй.

Никита Струве

Реплика.

ЖИТЬ, НЕ ТЕРЯЯ ДОСТОИНСТВА,

ставит целью себе и другим соотечественным интеллигентам анонимный автор Х. У. И программу он видит в таком разделении: зарубежный журнал должен измениться, улучшиться, исправиться — и тем доставить бездействиющему читателю в метрополии достойное возвышающее чтение. А поруководить этим исправлением журнала из своей норки автор не прочь. Именно — не так, как «сурово выговаривали» другие, себя назвавшие, а эдак: отказаться от традиционных читателей, этот журнал создавших и передержавших несколько десятилетий; для того развалить православную тенденцию журнала (до сих пор мы слышали, что народ виноват перед интеллигенцией, теперь читаем, что и православная церковь еще должна вернуть себе доверие интеллигенции); продолжить «свежую насущную» линию № 97 (зло и невежественно искажившую смысл недавней русской истории); добавить экономическое и социологическое направление; неизвестными силами издаваться на 2-3 языках параллельно; привлечь к себе европейских авторов; упаси Бог не давать оснований обвинениям в «антисоветизме» — для безопасности читателей в метрополии (да и западных либералов не отпугнуть). И еще допустимо, очевидно, продолжить и «переходные интенции» Л. Венцова и С. Телегина.

Неведомый Х. У. ! Да есть ли у Вас действительно страстная потребность в журнале? Если да — не проще ли Вам самому рискнуть да поработать, да создать другой мечтаемый журнал? Был бы хорош — пошел бы и в Самиздат. Вот и пополнился бы наш плюрализм. Жить, не теряя достоинства, — это может быть прежде всего: подписываться своим именем и не тупить глаз перед парторгом?

А. Солженицын

Богословие, Философия

Архиепископ ИОАНН С. Ф.

ТЕОРИЯ ДВУПРАВОРУЧНОСТИ СВЯТОГО КАССИАНА

Св. Иоанн Кассиан родился в середине 4-го века около Марселя и получил высшее светское образование. Иночество он принял в Вифлеемской Обители и 10 лет жил в пустынях Египта. Рукоположенный во диакона в Константинополе в 400 году Иоанном Златоустом, он отправился с посольством в Рим, оттуда переехал в Галлию, где основал два монастыря. Много способствовал он духовному просвещению Галлии и скончался в 435-м году, в сане священника. Его память совершается раз в четыре года — 29-го февраля.

Раскрывающийся в простых словах св. Иоанна дух святоотеческого учения, показывает путь к широте мысли и духовной свободе человека.

Жить верой могут все. Чудо евангельской свободы от зла, свободы в правде совершается верою человека.

И нам надо освободить себя от непонимания добра и зла, от смещения и смешения этих понятий.

В русском фольклоре есть легенда о том, как телега крестьянская застряла в грязи. Шедший мимо телеги преп. Кассиан не захотел пачкаться и прошел мимо. А шедший за ним св. Николай, засучив рукава, взялся за колесо телеги и вместе с ее хозяином вытащил ее из грязи.

Согласно легенде, этим объясняется, что небесное правосудие постановило прославлять память Св. Николая два раза в год, а Св. Кассиана один раз в четыре года.

Читателю этих, в исправленном русском переводе, публикуемых строк, легко увидеть, что мудрая мысль Преп. Кассиана весьма далека от какого бы то ни было немилосердия. Своими словами Преп. Кассиан помогает вытащить из грязи не только застрявшую в ней русскую телегу, но и всякую душу человеческую в мире. Он здесь отвечает на один из важнейших вопросов веры и истории.

Архиепископ Иоанн С. Ф.

В палестинских пустынях, между Иерусалимом и Мертвым морем, однажды напали на иноков разбойники и многих убили.

Как Бог мог допустить совершиться такому злодеянию над своими слугами? Этот вопрос способен смутить тех, кто, не имея подлинной веры и духовного знания, думают, что вера и подвиги святых вознаграждаются в этой краткой жизни.

Но мы не в «этой только жизни надеемся на Христа», по слову апостола (I Кор. XV, 19); и, чтобы не быть нам «несчастнее всех людей» — не надо себя вводить в заблуждение. Не углубившись в истинное значение таких событий, мы легко можем, если они случатся с нами, испугаться, смутиться, сойти с пути правды (Пс. 72, 2), или — что даже сказать страшно — приписать Богу неправосудие и отсутствие заботы о делах человеческих, оттого что якобы Он праведно живущих людей не избавляет от искушений и не воздает в настоящей жизни добрым людям — добром, а злым — злом.

Чтобы не впасть нам в такое неведение, выясним сперва точно, что есть истинное добро, и что есть — зло. Руководствуясь в этом вопросе не обывательским мнением, а истиной Священного Писания, мы не впадем в заблуждение, свойственное неверующим.



Все, что существует и случается в мире — тройко: добро, зло и среднее. Выясним, что есть добро, что зло и что среднее.

В делах человеческих не нужно считать существенным добром ничего, кроме только стремления верующей души к Богу, стремления непрестанного к неизменному Божьему Добру. И — ничего не нужно считать злом, кроме одного греха, отделяющего нас от благодати Божьей и связывающего с диаволом.

Среднее же есть то, что может относиться и к той и к другой стороне, смотря по своему качеству и по расположению человека, пользующегося им. Средним является богатство, власть, почесть, телесная сила, здоровье, красота, самое течение жизни и мгновение смерти, бедность, слабость тела, напрасно возводимые на нас обвинения, и все подобное этому, что по качеству своему и по расположению нашему может послужить как добру, так и злу.

Богатство часто может служить добру; это видно в словах апостола, который «богатым в настоящем веке заповедует, чтобы они богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (I Тим. VI,17-19). Но богатство обращается в зло, когда его собирают, чтобы только копить и в землю зарывать, или тратить на роскошь и удовольствие, а не для нуждающихся. Также и земная власть, почесть и слава, телесная сила, здоровье, все это — ценности «средние», то есть состояния, возможные как для праведных, так и для грешных; и это тем уже легко доказывается, что многие из святых Ветхого Завета, обладая этим, были и к Богу близки.

Все это «среднее» не есть настоящее добро (так как добро состоит только в одном уподоблении Христу). Но, для праведных и на праведные дела его употребляющих, все это «среднее» полезно и благотворно (т. к. дает людям возможность собирать добрые плоды в вечную жизнь). А для тех, кто худо пользуется этим «средним», оно делается лишь поводом ко греху и смерти.



Надо твердо помнить эту истину: нет в мире настоящего добра, кроме одной добродетели, происходящей от страха Божия и любви к Богу; и нет в мире настоящего зла, кроме только греха, отделяющего от Бога.

Рассмотрим теперь внимательно, было ли когда-нибудь то, чтобы Бог Сам Собою или через другого кого причинил кому-либо из святых Своих зло? Без сомнения, этого мы нигде не найдем. Никогда не бывало, чтобы кто-либо мог другого ввести в грех, когда тот не хотел бы этого зла и противился ему; и если случалось, что кто-либо вводил другого в грех, то только того, кто сам в себе зачинал этот грех, или по нетрезвости своего сердца, или развращенной воле.

Когда диавол хотел свергнуть в зло, то есть в грех праведного Иова, он собрал против него (по допущению Божию) все средства своей злобы — лишил его всего богатства, поразил смертью детей и самого Иова с головы до ног покрыл ранами, причинявшими ему нестерпимую боль; но диавол никак не мог запятнать Иова грехом, потому что «во всем случившемся» Иов пребыл непоколебим и «не произнес ничего неразумного о Боге», — не впал в богохульство.



Словом «бедствие» (в славянском переводе: «злом») Св. Писание иногда означает прискорбные случаи, не потому, чтобы они были, по существу своему, бедствием или злом, но потому что они часто так воспринимаются теми, которым на пользу посылаются. Слово Божие, говоря с людьми, по необходимости говорит на понятном людям и их чувствам языке.

Врачебное резание или прижигание кажется «злом» тем больным, которым приходится их выдерживать; острые шпоры коню и грешащему человеку исправление — не сладость; и дисциплинарные строгости тем, которые проходят курс учения, кажутся горькими. «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Притчи, 3,11-12). Апостол говорит: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр. XII,7). И еще: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после, наученным чрез него, доставляет мирный плод праведности» (там же, стих. 11). Таким образом, понятие зла иногда люди берут в значении прискорбного случая. Но нельзя все прискорбные случаи назвать злом, по существу, так как они многим служат во благо и ведут к вечным радостям.

Итак, все считающееся обычно «злом», причиняемое нам врагами, или чем другим, так или иначе нас мучающее, мы не должны считать злом. Это все — «среднее». И тогда оно не будет уже таким, каким его считает нанесший его, но таким, каким почувствует его и переживет претерпевающий. Из этого следует, что, когда святому человеку причинена смерть, ему не причинено «зло»; с ним случилось «среднее» нечто, — то, что только для грешника есть зло, а для праведника — успокоение и освобождение от зла. Человек праведный от смерти не претерпевает никакого вреда, так как ничего нового, необычного не случается с ним. Что должно было случиться с ним, по естественному закону, то принял он по злобе врага и не без пользы для вечной жизни. Долг смерти человеческой, который неизбежно надо было ему отдать, он отдал с обогащающим плодом страдания, как залог великой за это награды.



Все это, однако, не умаляет вину злодеев. Злодей не останется без наказания оттого, что своим злодеянием он не смог причинить существенного вреда праведнику. Терпение есть добродетель праведника, и она ведет к награде не нанесшего смерть или страдания ближнему, но терпеливо перенесшего их.



Терпение Иова принесло награду не диаволу, который сделал его, Иова, своими искушениями более славным, но Иов был ими прославлен за свое мужество. Иуде тоже не может быть оправдания того, что его предательство послужило спасению рода человеческого. Не на следствия дел надо смотреть, а на расположение делающего. Поэтому нам нужно хранить твердое убеждение, что **никому ни от кого не может быть нанесено зла**; только сам человек может привлечь его себе слабостью своего сердца и малодушием. Апостол утверждает, что «любящим Бога, призванным к Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. VIII,28). Говоря «все содействует ко благу», он в это включил и то, что считается «счастьем», и то, что считают «несчастьем». А в другом месте он говорит о себе, что сам прошел через то и другое: ...«В слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем...» (II Кор. VI,7-10).

Все, что считается счастьем и что апостол относит к «правой» стороне (означая словами «честь» и «похвала») и то, что считается несчастьем (что он выразил словами: «бесчестье» и «порицание», относя это к «левой» стороне) — все делается у человека «оружием правды», если он скорбь переносит с великодушием, как оружием, пользуясь именно тем, чем на него нападают; таким образом, ни счастьем своим не гордясь, не опьяняясь, ни в несчастьи не падая духом, он идет прямою дорогою, «царским путем». В таком человеке не будет поколеблено мирное устройство сердца ни приходящей радостью (то есть не будет сдвинут как бы — «направо»), ни пришедшим несчастьем (и «налево» он не будет сдвинут).

«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения», — говорит пророк Давид. А о том, кто при каждом находе внешних

обстоятельств изменяется, как луна» (Сир. 27,11). О совершенных и мудрых говорится: «любящим Бога, все содействует ко благу», а о слабых и неразумных: «ничто не устраивает мужа неразумного», — ни счастьем он не пользуется во благо себе, ни несчастьем не исправляется.

Чтобы мужественно переносить скорби, нужна такая же нравственная сила в человеке, как и для того, чтобы сохранять силу духа в радостях. И, если кого выбивает из его колеи хотя бы одно, тот будет слаб и в другом.

Но «счастье» все-таки больше вредит человеку, чем «несчастье», так как последнее, против воли человека, его иногда сдерживает и смиряет, приводя в ценное сокрушение, располагает менее грешить или понуждает исправиться. А «счастье», вознося душу губительной, но приятной ложью, в страшном духовном разорении и в прахе оставляет тех, которые в счастье своем видят свою безопасность.



Совершенные люди в Писании называются «двуправоручными» людьми с двумя правыми руками, каким был по книге Судей Аод; он обеими руками умел пользоваться, как правыми (3,15).

Таким духовным совершенством можем обладать и мы все, если свое счастье, считаемое **п р а в ы м**, и несчастье, называемое **л е в ы м**, будем обращать в правую сторону, так, чтобы все, что ни произошло с нами, стало бы для нас, по слову апостола, **о р у ж и е м п р а в д ы**.

Во внутреннем нашем человеке мы видим две стороны, так сказать, «две руки». Ни один из святых не может не иметь как той, которую мы называем правою, так и той, которую называем левою; но совершенство его духа познается из того, что он и ту и другую руку обращает в правую, хорошо пользуясь ими.

Что бы еще яснее было, о чем здесь речь, я скажу: святой человек имеет **правую руку**, когда, горя духом, подчиняет себе все свои пожелания и похоти, и на все настоящее, земное, смотрит как на неустойчивый дым и тень пустую и, пламенно желая будущего, уже ясно видит его; и **левую руку** он имеет, когда охватывается бурями искушений, воспламеняется приливами похотных возбуждений, поджигается огнем раздражительности и расстраивается печалью, производящей смерть (II Кор. VII,10). Когда это он испытывает, пусть знает, что на него нападает «левая сторона».

Но тот, кто ни на правой стороне не окажется побежденным тщеславием, ни в борьбе против левой стороны не впадет в отчаяние, а тою и другою рукою будет пользоваться, как пра- в о ю , тот с той и с другой стороны получит венец победы.

Его заслужил блаженный Иов, который за дела «правой стороны» увенчался венцом; будучи богатым и знатным отцом семи сыновей, он ежедневно приносил Господу жертвы за очищение их, желая сделать их не столько себе, сколько Богу угодными и родными; и дверь его была открыта для всякого проходящего, и он был ногою хромых и оком слепых... и даже в сердце своем он не радовался о гибели своего врага. И тот же Иов, бодрствуя своей «левой» стороной, с неподражаемо высоким мужеством восторжествовал над бедствием, в одно мгновение лишившись семи своих сыновей; он, как отец, не убивался горем, но, как раб Божий, умиротворялся в воле своего Творца; из богатого сделался он беднейшим, из здорового прокаженным, из знатного и славного презренным и униженным, и — сохранил мужество духа, не впад ни в малейшую хулу на Бога, ни в чем не возроптав на Творца своего... Более того, — ничуть не устроясь тяжести своих высших испытаний, он и самую одежду, покрывавшую его тело (которая сохранилась от дьявольского расхищения, так как была на нем), разодрал и отбросил от себя, приложив еще добровольную наготу, к тому чем поразил его лютейший враг. Также и волосы, которые оставались у него от прежних знаков его славы, обрезав, он отбросил, отсекая таким образом все, что оставил ему враг, и таким небесным, поистине, словом выявил он свою радость о торжестве над дьяволом: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злое не будем принимать? Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!...»

«Двуправоручным» справедливо следует назвать и Иосифа, который в счастья был мил отцу, почитателен к братьям, угоден Богу, а в несчастья — целомудрен, верен своему господину; в заключении — кроток, при обидах не злопамятен, к врагам милостив, к завистливым (почти убийцам своим) братьям не только нежно расположен, но и широко щедр.

Эти и подобные люди правильно называются «двуправоручными», так как они тою и другою рукою пользуются, как правою, и, проходя чрез перечисленные апостолом искушения, они, как и он, могут говорить об «оружии правды» в «правой и левой руке», в «чести и бесчестии», в «порицаниях и похвалах».

И мы станем «двуправоручными», если не будет шатать и изменять нас ни изобилие, ни скудость временных благ земли; если изобилие не будет увлекать нас к удовольствиям распущенности, а скудость не ввергнет в ропот и отчаяние. Но, в том и другом, равно воздавая благодарение Богу, мы будем **одинаковый извлекать плод и из счастья своего и из несчастья**. Как истинные «двуправоручники», мы тогда будем подобны тому, который засвидетельствовал о себе: «я научился быть довольным тем, что у меня есть: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке; всё могу в укрепляющем меня Христе» (Фил. IV, 11-13).

••

Искушение может быть у человека двояким: через счастье и через несчастье. Причина же, по которой искушаются люди, тройка: по большей части это бывает, как их испытание в верности; иногда — для исправления; а бывает и как наказание за грехи, как следствие их.

Д л я и с п ы т а н и я : Второз. VIII, 2; Пс. 80,8; Иов. 40,3.

Д л я и с п р а в л е н и я : Пс. 1,25; Пс. 33,20; Евр. XII, 5-9; Апок. III, 19; Иер. XXX,11; Пс. XXV,2; Иер. X,24; Ис. XII,1.

П о г р е х а м : Второз. XXXII,24; Пс. XXXI,10; Иоанн. V,14; Есть еще и четвертая причина страданий некоторых людей: Иоанн. IX,3; Иоанн. XI,4.

Есть еще и другие действия Божьи, которыми поражаются лишь опустившиеся на самую глубокую ступень зла; так были осуждены Дафан, Авирон и Корей, и еще более те, о которых говорит апостол: «Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства...» (Рим. I, 26-28).

••

Как приобрести и сохранить терпение и благодушие в испытаниях?

Истинного терпения и благополучия нельзя ни приобрести, ни сохранить без сердечного смирения.

Когда терпение будет исходить из этого источника, тогда для избежания скорби от неприятностей не нужно будет нам ни уходить в затвор, ни укрываться в пустыне. Утверждаясь в глубине души на смирении, своем отце и охранителе, терпение не имеет уже нужды во внешних обстоятельствах и приспособлениях.

Если по причине какого-либо напрасного обвинения мы расстроиваемся, то ясно, что в нас еще не прочно утверждены основы смирения, и здание наше внутреннее, при набеге даже маленькой бурьки, подвергается разрушительному потрясению.

Терпение похвально и достойно удивления не тогда, когда внутреннее спокойствие наше не нарушается ничем. Терпение тогда велико и славно, когда оно не колеблется и во время устремления на него бури искушений. И удивительно вот что: то, чем терпение как будто должно ломаться и потрясаться, тем оно еще более укрепляется.

Известно, что т е р п е н и е получило свое имя от перенесения прискорбности. Поэтому никто и не может быть назван «терпеливым», кроме того, кто всё причиняемое ему переносит кротко. И за это именно его хвалит Соломон: «Долготерпеливый лучше храброго, а владеющий собою лучше завоевывающего город» (Притчи XVI,32).

Если кто, потерпев напрасное обвинение, загорается гневом на обидчика, то нанесенное ему оскорбление нужно считать не причиной этого его греха гневливости, а лишь поводом к обнаружению скрытой в нем страсти гнева. Таков смысл притчи Спасителя о двух домах, — одном, построенном на камне, и другом, построенном на песке, на которые с одинаковой силой устремились воды и буря, неодинаковыми, однако, последствиями: дом, построенный на твердом камне, никакого вреда не потерпел от такого сильного напора, а тот, который был построен на песке, тотчас разрушился, — и разрушился, очевидно, не потому, что подвергся удару волн, но потому, что был, по неразумению, построен на песке. Так и человек святой веры отличается от другого не тем, что не такими сильными искушается искушениями, а тем, что не побеждается и великими искушениями, когда другой падает и под малыми.

.....

Демосфен САВРАМИС

Сила религиозного (молитвенного) молчания

Введение: Исихазм, Григорий Палама и молчание.

Невозможно вспоминать о Григории Палама, не углубившись в тщательное рассмотрение молчания, как религиозного переживания. Молчание есть основной признак паламитического исихазма и вообще исихастской молитвы *). Поэтому сборник, посвященный Григорию Палама представляется мне надлежащим местом для исследования феномена религиозного молчания и того влияния, той силы, которую в течение столетий испытывали благодаря этому явлению люди, принадлежащие всем национальностям и религиям. Поэтому мне представляется исследование силы религиозного молчания достойным поминанием Григория Палама. В качестве исходного момента такого исследования я беру исихазм и исихастскую молитву.

Исихия возникла очень рано на православном Востоке в связи с монашеством. Со времен Антония мы встречаем исихастов, как, напр., отшельника Исаяю, отшельниц Сарру, Меланию, Синглетикку, Пелагею, Матрону, Феодору и др. Более поздние исихасты — Макарий Египетский, Арсений, Евагрий, Исихий, и в особенности

*) Об исихастской молитве см. Lydia S. Meli-Bagdasarawa "Erzählungen eines russischen Pilgers" Luzern 1944. A.M. Ammann "Die Gottesschau im palamitischen Hesychasmus" Würzburg 1948. I. Smolitsch "Leben und Lehre der Starzen" Wien 1936. C. Wunderle "Zur Psychologie des hesychastischen Gebets" Würzburg 1949². B. Schmidt "Das geistige Gebet" (Diss.) Halle 1916. A. Cardell "La structure de l'âme et l'expérience mystique", 2 vols, Paris, 1927. I. Hausherr: "La méthode d'oraison hésychaste" (Orientalia christiana, IX, 2, Roma 1927). M. Jugie "Palamas Grégoire", "Palamite" (controverses) in Dictionnaire de Théologie catholique, XI, 2, Paris, 1932, col. i735ff U-col. 1777ff. F. Heiler "Urkirche und Ostkirche" München 1937. N. Arseniew "Ostkirche und Mystik München 1943². H. Landvogt "Die asketische und theologische Lehre des heilig. Gregorius Palamas" Würzburg 1939 U N. Cranic "Das Jesusgebet" (Zeitschrift für Kirchengeschichte) 60 Bd. 1941, 2, Halbbd., s. 341ff.

(1) Ср. Gregorios Papamichael «'Ο "Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης» Alexandria 1911, p. 44, где особенно подчеркивается ложность утверждения, что исихия появилась незадолго до Юстиниана.

автор (Лествицы?) Климaksa Иоанн. На Священной Афонской горе исихия распространилась благодаря примеру исихаста Григория Синаита. В 14-м веке исихазм ознаменовался «исихастическими диспутами», в которых Григорий Палама выступал главным противником Варлаама.

Основной признак движения исихазма — религиозное молчание, что неудивительно, ибо «исихи» и «молчание» суть, если и не идентичные, во всяком случае подобные величины. Уже в Новом Завете мы видим, что исихия означает молчание (см., напр. Деяния 21,40; 22,2; I Тим. 2,2; Лука 23,56; 14,3 и т. д.). Поэтому исихасты пытались жить в атмосфере полного молчания, чтобы из этого молчания беспрепятственно подойти к встрече с Богом. Значение и величие молитвы исихаста заключается в том, что он молясь ни о чем не думает, ничего не делает, ничего не чувствует. Он молчит, и в душе своей предоставляет слово Богу. Благодаря полному молчанию исихаст в конце концов достигает «θεορία» Бога и полного с ним соединения. Григорий Палама подчеркивает, что к «θεορία» может привести только постоянная духовная и молчаливая молитва. (Ср. Migne P. 9. 150, 1168 и 1120). Необходимая подготовка духа к исихастической молитве заключается в «τὴν ἐκ παντὸν σιωπῆν» (абсолютном молчании). Ср. 150, 1276).

Молчание и молитва, или — лучше сказать — молчаливая молитва составляет питание души исихаста. Св. Сарра советует молчаливое помятование Бога и смерти. Св. Пелагея считает молчание и плач условием спасения от греха. Св. Феодора утверждает, что наивысшее из всего существующего есть молчание (τὸ ἀεὶ σιωπᾶν). Св. Матрона опять-таки для спасения души считает необходимыми молчание и слезы. Св. Мелания называет молчание величайшим учителем, а св. Феодора поясняет, что основными свойствами молчания являются вечная молитва и созерцание Бога.

Таким образом, молчание и исихия — величины неразделимые, так же как неотделимы друг от друга исихия и Григорий Палама. Невозможно постигнуть Григория Паламу и исихазм, не признав религиозного молчания как основного условия духовного бытия. Отсюда вытекает и цель этой работы — исследовать силу молчания, так как молчание есть начало и конец всякой истинной религиозной жизни.

1. Молчание и молитва

Через молчание человек проникает в сферу, дающую ему возможность познать Бога. Этот процесс познания может осуществляться и в творении, ибо в нем в молчании раскрывается Бог, — а также и в истории, а именно в истории спасения человека от греха. Чаще же всего познание Бога осуществляется непосредственно через молитву.

Человек пытается создать в молитве возможно более тесный контакт с Богом, притом что молитву свою он выполняет в молчании. Истинная молитва и молчание неразделимы; можно сказать, что «молчание есть молитва». Молчание как форма молитвенного состояния проявляется различным образом — как подготовка, как погружение в себя человека и как просветление души и т. д. Поэтому изучение молитвы — важное звено в понимании священного молчания.

Молчаливая молитва направляется непосредственно (адресуется) к Богу, и ее совершенное выполнение достигается лишь при условии освобождения души от всех материальных притязаний, ибо эти притязания и заботы не должны касаться ни цели, ни содержания молитвы. Занятость (обремененность) души материальными и земными делами держит ее в плену и увеличивает расстояние между земным «я» человека и великим противостоящим ему «Ты». Молчаливая молитва стремится к полному слиянию с Богом, но это слияние невозможно, пока все существо молящегося человека не освободится от власти этого мира и не предаст себя целиком в Божии руки. Генрих Хеппе выразил это в следующих словах: «Чем полнее души предаются Богу, тем очевиднее становится им, что они больше не могут молиться словами».

Чтобы лучше понять молчаливую молитву и ее основы, я хотел разобрать этот особый вид молитвы на опыте мистиков. При этом нужно подчеркнуть, что молчаливая молитва или святое молчание не представляют особой привилегии мистиков.

Таулер замечает: «Каждый вид молитвы, выражаемой в словах, служит истинному Богу, но это все-таки не настоящая молитва, а святая Тереза утверждает, что «чем глубже концентрация (сосредоточенность), тем менее слышна речь».

Игнатий Лойола так глубоко погружался в молчание, что ему стало невозможно пользоваться молитвенником. Поэтому он испросил разрешения папы не прибегать к молитвеннику. Монахи Святой Горы Афонской повторяют молитву, состоящую из немно-

гих простых слов: «Господи Иисусе, помилуй нас». Благодаря такому сокращению слов молитва (по Хейлеру) достигает «гипнотической силы, облегчающей молчаливую связь с Богом».

Все мистики стремятся к удалению слов из молитвы и пытаются ограничиться молчаливой молитвой. Это явление можно проследить во всех религиях. Подобно Афонским монахам, и суфисты (одна из магометанских сект) молятся, произнося всего лишь одну фразу. Мистики по-разному называют свои молчаливые молитвы, но все наименования указывают на высокую степень такого молитвенного служения по сравнению с другими молитвами. Так, напр., Таулер говорит: «Все молитвы, выражающиеся в словах, подобны соломе по сравнению с животворящим хлебом».

Августин называет молчаливую молитву «*oratio spiritualis*» или «*oratio interior*», а св. Тереза «*oratio mentalis et interior*». Подобные же многочисленные наименования можно было бы привести из писаний мистиков.

Эти наименования показывают нам, что молчаливая молитва своим центром и источником обязана духовному бытию человека. Здесь, во внутреннем человеке, его «Я» может найти очищение и освобождение от всех забот в чистом погружении и концентрации в самом себе. Человек предстает в своем очищенном и просветленном существе, и Бог одаряет его своею благодатью. На этом пути возникает одна из прекраснейших форм взаимодействия человеческой воли и божественной благодати.

Во время молчаливой молитвы душа находится в непосредственном контакте с Богом, она утрачивает себя в руках Бога, который преобразует ее в согласии со Своей волей. Так идеал мистиков-квиелистов — «*sancta indifferentia*» и «*amour désintéressé*». Так как душа этих мистиков освободилась от каких бы то ни было внешних влияний, она может приблизиться к Богу. Мистики в конце концов не в состоянии вымолвить ни одной молитвы словами, будь то хотя бы «Отче наш». Молчаливая молитва объединяет все силы души, тогда как молитва, высказанная словами и повторяющая слова, рассекает внутренний мир человека. И это рассечение порождает беспокойство и зависимость от материального мира, который всегда воплощается в словах.

Что молчание — истинная молитва — факт, установленный с глубокой древности. Это в равной степени признавалось как религией египтян, так и Плотинем, неопифагорейцами, неоплатониками, мистиками Ислама и другими религиями. История религий

учит, что цель каждой религии — единение с Божественным. И для достижения этой цели лучшим средством служит молчание.

II. Молчание и общинная молитва

В нехристианском мире: молчание представляет собой феномен, находимый во всех религиях. Даже у примитивных народов молчание составляет часть общинной молитвы. Известно, что примитивным народам неведома личная молитва, они молятся вместе всей общиной. Глава рода молится как предстатель своего народа, в то время как все члены рода неподвижно в благоговейном молчании внимают молитве своего вождя. Миссионер Меренский сообщает, напр., о религиозном собрании членов рода Кондэ в Ниассе, происходившем в полном молчании. Другой наблюдатель, Кропф, рассказывает, что в начале каждой общей молитвы вождь кафров требовал абсолютного безмолвия.

Однако соединение молчания с общей молитвой можно наблюдать и среди более культурных народов. Начнем с религии греков. Казель различает три вида священного молчания у греков. Сначала молчание при совместной молитве; затем умолчание религиозного опыта и молчание при видении святых.

В продолжение всего жертвоприношения надлежало соблюдать полнейшее молчание, и если оно нарушалось, жертва считалась недействительной. Голос жреца возглашал в начале общей молитвы «*εὐφραεῖτε*», т. е. следите за своим языком. Этот приказ в действительности означал требование не произносить ни одного дурного слова и поэтому подобало молчать. Этот феномен можно проследить в особенности в древних мистических культах (мистериях), где требовалось полное молчание верующих. Римляне также приписывали в своем культе особое значение молчанию. Каждое жертвоприношение римлян считалось не достигшим назначения, если оно нарушалось шумом. Поэтому римляне во время жертвоприношений строго следили за соблюдением молчания. От соблюдения предостережения «*favete linguis*» зависел результат культового обряда. Даже иудеям в их культе был введом закон молчания. Согласно Эльбогену, в древнеиудейском богослужении соблюдалось два вида молчания. По закону подобало соблюдать молчание во время общей молитвы, но и в личной молитве пред ликом Ягве иудей должен был пребывать в молчании. И наконец, и китайцы в своем культе неба устанавливали промежутки молчания, которые в обрядовых предписаниях характеризовались как торжественные минуты тишины.

В тесной связи с культом находится также молчание, принимающее форму умолчания, представляющее важную характеристику какой-либо религиозной общины. Примером этого могут служить Элевзинские мистерии и культ богов Митры и Озириса.

Это умолчание выражается в пользовании символами и иностранным языком, понимание которых доступно одним посвященным. Кроме того, при этом строго соблюдается сохранение в тайне культовых обрядов.

Символы поясняются лишь очень узкому кругу избранных верующих. Это именно и могло привести Плутарха к замечанию, что символический язык, применяемый в процессе отправления культовых обрядов, создает еще большую атмосферу тайны, чем если бы вообще не произносилось никаких слов. Очень часто культ применяет чуждый язык, как, напр., в Индии, где в качестве культового языка используется санскрит, в то время как южные буддисты пользуются языком пали. Священные книги, предназначенные для культа Изиды, написаны неразборчивыми иероглифами. Иудеи сохраняли древнееврейский язык во время культовых обрядов, в то время как народным языком становился халдейский.

Особенно строгую печать умолчания носят греческие мистерии. В зависимости от этого, греки разделяют людей на три группы — на людей плотских, душевных и духовных. Первая группа целиком погружена в дела мира сего, вторая группа, правда, хотя и участвует в мистериях, но не в состоянии постичь их тайный смысл, третьей же группе доступно постижение всех тайн. И эта последняя группа людей должна соблюдать строжайший закон молчания, ее высший долг «*fides silentii*».

Это только что описанное правило умолчания, известное в истории религий под термином «*disciplina arcani*», применялось также и в кругу греческих философов, как, напр., у неоплатоников и у неопифагорейцев, которые умалчивали тайны философического познания.

Характерным примером тому служит Пифагор, требовавший от своих учеников упражнения в пятилетнем молчании.

б) В ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ: молчание характерно не только для нехристианских религиозных культов, оно занимает не менее значительное место и в христианской религии. Молчание не только характеризует христианскую религию и христианскую общую молитву, но оно составляет высочайшую и прекраснейшую черту христианской религии. Я сказал бы, что молчание есть

апогей христианского культа. В рамках литургии молчание — не мертвая точка, не пустое место, а скорее — с точки зрения содержания, — самый насыщенный момент отправления литургии. Если рассматривать молчание поверхностно, может показаться, что оно как бы изолирует отдельного члена общины, на самом же деле оно представляет сильнейшее средство действительного объединения и связи общества. Это иллюстрируется примером квакерских общин.

Значительность молчания и его роли в общей молитве и культовых обрядах подтверждается и тем фактом, что мы встречаем это правило молчания в литургиях всех вероисповеданий.

В православной церкви молчание служит средством к полному единству во время богослужения Бога и человека. При этом следует заметить, что «формальность» выполнения правила молчания в православной церкви вовсе не означает какого-либо внешнего соблюдения тишины, но является частично глубочайшим содержанием православного культа. Это углубляет значение молчания как в области общей молитвы, так и в молитве личной.

Булгаков в своей книге, посвященной православию (на фр. яз., 1932), пишет, что смысл его в любви и созерцании божественной красоты *amour et vision de la beauté spirituelle*). Созерцание же божественной красоты возможно лишь при упражнении в молчании, и, таким образом, смысл православия вытекает из молчания.

Человек, которому доступно откровение православной литургии, чувствует себя вознесенным к пределу человеческого мира, где все человеческое исчезает, уступая место божественному. В такие минуты явно чувствуется присутствие Бога, и вместе с этим постигается необходимость полного молчания, дабы слово мог взять сам Бог. Согласно Хризостому, полное молчание царит, когда священник воздевает руки горé, испрашивая явление Святого Духа, чтобы снискать освящения даров, лежащих на святом престоле. Эту минуту явления Святого Духа для благословения даров верующий встречает в полном молчании.

В Херувимском песнопении верующие призываются очистить сердца и в молчании вознести их к Господу. Эта молитва соответствует католической «*sursum corda*» или же молитве римлян «*favete lingui*». Во всех этих случаях закон повелевает: «вы должны молчать», с той только разницей, что в христианской литургии речь идет о призыве к положительному действию, а не о запрете только, как это имеет место в нехристианских культах.

Верующие готовятся в молчании к восприятию Христа, и так как в этом акте заключена высшая точка всей литургии, молчанию придается величайшее значение. Это еще более очевидно на примере более древней формы херувимского песнопения, в которой совершенно ясно высказано требование всеобщего молчания. Таким образом, самая сущность литургии требует молчания, и православная церковь не может не признавать молчания как основного элемента своего культового обряда. Без молчания литургия утратила бы свой мистический характер и превратилась бы в простое формальное сборище.

И, наконец, нужно вспомнить и произносимые священником вполголоса молитвы, которые также воспринимаются верующими как своего рода молчание.

В культовых обрядах римско-католической церкви молчание также занимает значительное место, являясь одним из основных элементов.

Перед началом Евхаристии священник словами «*sursum corda*» призывает верующих к молчанию. Но и в процессе всей римско-католической литургии имеют место минуты полного молчания, которыми прерывается и углубляется священное богослужение. Казель рассказывает, описывая богослужение с участием папы, что молчание было так велико, что можно было уловить дыхание Бога. Хейлер также характеризует римско-католическую литургию, как мистическое богослужение по существу, и поэтому придает особую роль при его отправлении молчанию.

Кроме того, в римско-католической церкви отправляются особые молчаливые литургии (*missae privatae*), представляющие своего рода молчаливые молитвы. Никаких шумов, ни пения, ничего, что нарушило бы покой и молчание. Только колокольчик священнослужителя возвещает о различных этапах разворачивающейся молча на святом престоле драмы. Эти молчаливые литургии с особенной радостью воспринимаются мистически настроенными душами, стремящимися к созерцанию в полном молчании Вечного Слова.

Аналогичный феномен мы наблюдаем и в так наз. «вечном молении» — 40-часовой непрерывной молитве католиков. И это моление протекает в полнейшем молчании перед освещенным свечами алтарем.

В евангелической церкви мы наблюдаем молчание лишь в начале и в конце богослужения, представляющего собра-

ние верующих в личной молитве. Это ограничение молчания может быть объяснено тем фактом, что в этой церкви центральным моментом богослужения служит проповедь, т. е. слово. Во всяком случае и в этой церкви намечаются тенденции к предоставлению более значительного места в богослужении молчанию.

Рудольф Отто в своей работе «*Das Heilige*» подчеркивает необходимость введения «молчаливой службы». Согласно Отто, само молчание есть уже таинство. Минуты молчания среди богослужения указывают на минуты, когда молящиеся могут ощутить присутствие Святого Духа (*pumen praesens*). Точно также и Меншинг высказывает требование молчаливого культа, имея в виду тот же смысл его введения.

Значительное исключение среди реформистских религиозных общин представляют квакеры. На их собраниях практикуется молчание ради того, чтобы молчаливое сборище молящихся находилось в ожидании воздействия Святого Духа.

Наряду с молчанием, наличие которого мы установили в различных христианских литургиях, мы встречаем как в христианском мире, так и в прочих религиях, феномен умолчания в его непосредственной связи с культом.

Так, напр., все предметы, связанные со священным отправлением в богослужении, именуется *μυστήρια* — тайнами, алтарь именуется — *μυστικὴ τράπεζα*, потир *μυστ. ποτήριον* вино *μυστ. οἶνος* и т. д. Сюда же относится и применение символов.

Своего рода умолчанием объясняется и применение иноязычной речи, — приведу в качестве примера только употребление латыни в римско-католической церкви. Помимо прочих оснований применения иностранного языка, как, напр., традиция, чуждый язык в качестве элемента умолчания придает литургии особый мистический характер. Он относится к *disciplina arcani*.

Disciplina arcani, о которой я уже упоминал в связи с нехристианскими религиями, возникает в христианстве в конце 2 и в начале 3 столетия и переживает расцвет в 4 и 5 столетиях. Более точная датировка представляется невозможной.

В качестве пережитков соблюдавшейся *disciplina arcani* можно в наши дни привести тайные молитвы священнослужителей, так же как и первоначальное разделение литургии на литургию верных и литургию оглашенных. В литургии тайные молитвы именуется *disciplina arcani* (напр. Казель).

Причины введения *disciplina arcani* — исторического и психологического порядка. Сначала страх, что неверующие или не-

вежды подвергнут профанации и кощунству святая святых, принудил христиан умалчивать тайное содержание таинств. К этому нужно добавить психологически понятное благоговение, которое испытывала душа в единении со святая святых, которое и понуждало ее к молчанию. Примером тому служит рассказ евангелиста Луки о Христовом Преображении. «Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели». (Лука, 9,36).

III. Сила святого молчания в наше время

Есть ли святое молчание привилегия религиозно настроенных людей, т. е. мистиков? Молчание представляется мне совершенно необходимым для обновления внутреннего мира человека, так же как и для дальнейшего осуществления заповедей Божиих в нашей жизни. В связи с таким утверждением встает важный вопрос: возможно ли, чтобы все люди, даже и не обладающие особо религиозным душевным складом или мистическим строем души, применяли бы святое молчание, или же это деяние есть лишь привилегия мистиков?

Я не берусь здесь вдаваться в точное определение понятия мистики, может быть оно и вообще невозможно, как считает Гопкинсон. Во всяком случае, каждый словарь скажет нам, что «мистика» есть «склонность религиозного человека к непосредственной встрече и соединению с Богом. А это означает, что исходной (отправной) точкой мистика является его собственное «Я», а главной характерной чертой этого «Я» — одиночество. Именно так характеризует эти эгоцентрические тенденции мистиков Руфус Джонс, занимающийся изучением социологическими основами мистики 17-го века.

Идеал религиозной, и в особенности христианской жизни заключается не в эгоистической изоляции отдельного человека и не в бегстве от мира, диктуемом желанием личного спасения. Социальная структура нашего времени, которая предъявляет к нам требование реорганизации общества на основе христианского учения, выдвигает для достижения этой цели необходимость участия в этой деятельности всех, считающих себя сознательными последователями Христа. Все силы христиан должны быть направлены к христианизации всех ценностей цивилизации и к расширению христианского мировоззрения и мироощущения.

А такая деятельность христианина предполагает познание Слова и Завета Божиих. Восприятие и благовестие Слова Божьего находятся в тесной связи с молчанием; я сказал бы, что первое обусловливает второе. Если бы молчание признавалось привилегией только мистиков, то христиане, деятельные в обществе, были бы лишены средств и возможности правильно пользоваться словом. Они не располагали бы средством к очищению жизни в христианском смысле. Поэтому для всех людей, не только мистиков, молчание вменяется в долг, и им открыта возможность практиковаться в молчании. Этот наш тезис находит подтверждение в социальной деятельности квакеров, которые черпают силы из ежедневных упражнений в молчании.

Я хотел бы здесь ответить на могущее возникнуть возражение, а именно: так как в процессе молчаливого делания душа устремляется к более тесному контакту и соединению с Богом, то и душа благодаря молчанию приобретает мистический характер, ибо душа мистика прибегает к тому же деланию. Таким образом: молчание и мистическая жизнь отмечены одной чертой и оба явления идентичны.

К этому нужно присовокупить следующее: понятия «мистик» и «мистика» не могут быть отнесены к какой-либо особой группе людей и к какому-либо особому образу жизни. Мне хочется прикнудить к Гопкинсону, который совершенно правильно замечает, что всякая истинная религия содержит в себе мистические, духовные, моральные, правовые, метафизические и логические начала. Религия — и в особенности пророческие религии — живы не только благодаря непосредственному контакту с Богом, но и через посредство явленного Богом Слова. Мистика и связанное с ней молчание не должны быть единственными характерными чертами религиозного человека. Мистическая жизнь и молчание — это лишь один из различных элементов религии, который позволяет непосредственно пережить явленного в Слове Бога.

Тем самым мистика не переживание, доступное только человеку, представляющему собой мистический религиозный тип. Там, где есть истинная религиозная жизнь, нет недостатка и в мистических переживаниях. Мистика есть феномен, стоящий над всеми религиями и содержащийся в каждой религии, независимо от места и времени. И только материалисту, ослепшему ко всему духовному, эта область остается наглухо недоступной.

Наилучший пример мистической жизни без какой-либо мистической односторонности являет нам Апостол Павел. Апостол Па-

вел пользуется мистическим языком, когда он говорит: «и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2,20). И однако он не принадлежит к религиозно-мистическому типу людей, как об этом и свидетельствует его широко развернутая деятельность.

Мистическая встреча человека со Христом не должна быть самоцелью. Цель этой встречи — «новый человек и новое творение». Мистик в узком смысле слова рассматривает встречу с Богом как самоцель, апостол же Павел пользуется этой встречей как источником силы в своих стараниях с помощью святого Слова построить и обновить общину. Поэтому апостол Павел, как религиозный тип не может быть причислен к мистикам, он остается «пророком», как его называет Хейлер.

Нельзя также недооценивать опасностей односторонней мистики. Основная опасность заключается в том, что Бог и человек могут представиться иллюзиями. Иного может окружить пустота. Далее на пути односторонней мистики может наступить идентификация малого «Я» с великим «Ты», что означает не что иное, как растворение гармонического сосуществования человеческого субъекта в священном Объекте. В случае христианской односторонней мистики может также грозить опасность «теоцентрической» установки мистика, тогда как на основе учения о триединстве его установка должна быть «христоцентрической». Христос говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез меня» (Иоанн, 14,6).

Таким образом, молчание никоим образом не может считаться привилегией мистиков, ибо мистическая встреча с Богом не может быть только достоянием людей мистического, в узком смысле, пути. Одностороннее применение молчания мистиком опасно и потому, что оно слишком часто приводит к эгоистической изоляции. Такое молчание не может сочетаться с более глубоким значением христианской религии, так как мистическая жизнь есть лишь одно из ее проявлений. Молчание должно скорее служить человеку, «стоящему в обществе, в жизни», «пророческому» типу верующего, и при этом быть подготовкой к распространению святого Слова. Именно таким путем молчание выполняет свою задачу в рамках пророческого характера нашей христианской религии, так же как и в рамках нашего общества, столь остро нуждающегося в христианской деятельности. Человек, глазам которого предстает страждущее человечество, погруженный в заботу о самом себе и собственном спасении, — не христианин.

б) Возможно ли упражняться в молчании в наше время? После того, как выше мы установили, что молчание не составляет привилегии мистиков, для каждого человека открывается возможность прибегать к молчанию как к религиозному праксису. Возникает однако вопрос, возможно ли практиковать молчание в современном мире, в котором по преимуществу господствуют шум и скорости техники. Возможно ли вообще в таком мире молчаливое соприкосновение с Богом и подготовительная концентрация.

Я хотел был ответить на этот вопрос положительно, и притом в такой категорической форме: да, при всех обстоятельствах, даже самых неблагоприятных, можно упражняться в молчании как религиозном делании. Трудности, которые встают со стороны современного мира, могут утяжелить путь к молчанию, но они никак не могут его преградить и пресечь. Напротив, и шум и механизация (скорости) нашего времени требуют больше, чем когда-нибудь компенсации в спокойных минутах молчания и встречи с Богом. В противном случае возникает грозная опасность полного и окончательного отделения человека от метафизического (потустороннего) мира.

Все христианские вероисповедания рассматривают молчание, как ценный вклад в борьбу с современным миром и преодоление этого мира, в котором человек подвергается опасности окончательно утратить свою внутреннюю жизнь. Молчание есть единственное целительное средство против шума и техники, которые угрожают нас поглотить.

«Укажи мне, Боже, что мне делать!» — восклицает человек, когда усталый и разочаровавшийся в обещаниях мира сего, он сознает охватывающий его страх и одиночество. Когда человек доходит до того вопроса, который задает Христу апостол Петр: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни!» (Иоанн, 6,68), тогда он готов к радости молчаливого слияния с Богом. Уверенность в царствии Божиим, которое внутри нас (Лука 17,21) в молчании даруется ему. Убеждение, что все в этом мире дурно и ложно, приводит человека к его внутреннему, где он слышит звучащий в нем голос Бога, говорящий, что Он тут. Но этот голос можно расслышать только при условии, что всё остальное молчит. И усталая человеческая душа может окрепнуть в величии молчаливой встречи с Богом.

Но помимо того значения, которое имеет молчание в деле спасения человека от шума и бурь нашего времени, оно может

служить также средством к пробуждению чувства солидарности в общности в пределах нашего современного общества.

Индивидуум нашего времени находится в постоянной опасности забвения метафизической ценности своей личности в кругу современного обезличенного общества. При этом человек обладает ярко выраженным материалистическим эгоизмом, выражающимся в безразличии ко всему тому, что не служит его собственным интересам. Молчаливое погружение в себя может породить новые социальные чувства, потому что душа в покое и молчании сосредоточивается на людях и вещах, которые не обязательно служат только удовлетворению нужд собственного «я». Молчание прежде всего восстанавливает сознание нашего духовного бытия и тотчас же творит в духе и молитве звенья, соединяющие людей в христианскую общину. В противном же случае — без молчания — это единение нарушается замыканием человека в своем собственном «я».

Наше время как раз из-за трудностей, встающих на пути к осуществлению умного делания, больше всего нуждается в духовной концентрации и молчании. Молчание и упражнение в нем необходимы, представляя дыхание нашего духовного бытия.

Подчеркнем также свободу человека, от которого целиком зависит, будет ли он практиковаться в молчании. Каждый человек свободен отойти от суеты мира, чтобы в покое пережить радость молчаливого единения с Богом.

в) **З а к л ю ч и т е л ь н ы е м ы с л и.** Наше время и наше общество затопляет материализм. Наше время срочно нуждается в духовном и религиозном восстановлении в свете непреходящих (вечных) ценностей христианства. В связи с этим и ради осуществления этого, так как ныне сильнейшую опасность представляет эгоизм, мы больше всего нуждаемся в людях, могущих работать в обществе, в людях, которые своей деятельностью могут направить общество на истинные пути. И слова Парацельса — «имеется великое лекарство для человека, и это лекарство — сам человек», — сегодня весомы, как никогда.

2. Установление этой потребности в людях, могущих стать духовными водителями в обществе, приводит к средству, с помощью которого они должны действовать. И это средство — слово как инструмент распространения духовных и религиозных ценностей. Таким образом, слово становится верным спасителем

в борьбе против материализма и всеобщего кризиса. И в этой связи слово и молчание нерасторжимы, они не противоречат одно другому.

В ночь Рождества — в великое молчание — в мир родилось Святое Слово. Оно всегда дается и рождается в человеке только в молчании. Радость же, переполняющая человека, когда в нем осуществляется рождение Святого Слова, не может оставаться чувством эгоистического самодовольства. Наш долг — святая, возложенная на нас обязанность — разделить эту радость с другими усталыми людьми, взывающими этой радости. Цель и задача каждого религиозного человека, в особенности человека, принадлежащего к пророческой религии, состоит в распространении этого дара — откровения Святого Слова.

Индивидуальное переживание молчаливого созерцания Бога достигает такой глубины человеческой души и оставляет такой отпечаток в ней, что душа — как апостол Петр — может только выговорить: «Равви, хорошо нам здесь быть» (Марк, 9,5).

Однако Бог требует от воспринявшего Его человека, чтобы он говорил и делился с другими своими глубокими переживаниями. Поэтому-то переживания учеников Христа, узревши его преображение, — не заключение, а начало их деятельности. За молчаливым созерцанием Бога в данном случае следует реальная встреча с миром. Когда ученики после Преображения спустились с горы, «встретило Его много народа» (Лука, 9,37). После Преображения следует встреча с массой людей и больными, нуждающимися в помощи Христа. В жизни Иисуса слово и молчание дополняют одно другое удивительнейшим образом, и в данном случае — как и всегда, — это должно служить нам примером.

Через молчание душа очищается, чтобы подготовиться к восприятию Христа. Это очищение заключается в освобождении от всего чуждого, противостоящего Святому Слову. Оно не означает отказа от мира или безразличия к социальным проблемам и равнодушия по отношению к нашим ближним. Именно в этой точке и заключено различие между пророческими и мистическими религиями. Пророческий тип религии соблюдает положительную установку по отношению к миру и стремится к обновлению мира через Святое Слово. Для него молчание — лишь подготовка к пророческой деятельности. Второй же, мистический тип отстраняется от мира и переживает молчание как свое личное дело и использует его для своих целей. Для него молчание — самоцель.

3. Христиане, живущие в миру, нуждаются в молчании еще больше, чем отшельники. В миру в минуты молчания христианин находит то, чего ему недостает на работе и в общественной жизни. Он приобретает уверенность в ценности своей личности, потому что Христос принес Себя в жертву и для него, как для всех других людей. В молчащем человеке прорывается метафизический родник бытия.

4. Нельзя недооценивать трудностей, с которыми сталкивается человек в современной социальной жизни при упражнении в святом молчании. Но и всякое начало какого бы то ни было духовного делания трудно человеку, но когда же ему удастся преодолеть трудности, душа его погружается в неведомые глубины. Молчание может стать лучшим другом, встречи с которым ищут как можно чаще.

5. И, наконец, в заключение я хотел бы еще раз напомнить, что мы исповедуем пророческую религию. Сам Христос провел 40 дней в пустыне, чтобы в одиночестве и молчании подготовиться к своему делу в мире и для мира.

Молчание ведет к слову и делу, а слово и дело снова возвращают к молчанию, как к средству укрепления для новых задач в миру. Цель молчания не может заключаться в отъединении и бегстве из мира, оно — подготовка для выполнения нашей миссии в мире, там, где каждому человеку положено трудиться. Сила молчания есть сила жизни. В святом молчании встречаются Бог и человек, и до тех пор, пока человек не отречется окончательно от Бога, есть надежда на лучший мир, в котором смогли бы царить любовь и мир.

Перевод с немецкого

Из Сборника Панегириков

Фессалоники, 1960, стр. 115-132

Прот. Александр ШМЕАН

ТАИНСТВО ВХОДА *)

I.

Если раньше Литургия начиналась непосредственно с входа, то теперь ему предшествует некая вводная часть, состоящая из великой ектении, трех антифонов и трех молитв. Каково ее место и значение в общем строе Евхаристии? На вопрос этот лучше всего ответить кратким изложением того, как и почему эти «общие и согласные» молитвы возникли и превратились в начало Литургии.

Великой ектенией, к более подробному содержанию которой мы перейдем ниже, открываются все без исключения «литургические» службы Церкви, предполагающие и выражающие участие всего собрания, как именно Церкви Божией: мы находим ее в начале вечерни, утрени, последований брака, отпевания, водоосвящения и т. д. По всей вероятности, антиохийского происхождения, великая ектения рано появляется в византийском чине богослужения, как его начальная, общая молитва. Однако вплоть до XI-XII веков ектения эта произносилась не как сейчас — в начале Литургии, а после Входа и Трисвятого, так что в некоторых рукописях она даже называется «ектенией Трисвятого» или «прошениями Трисвятого». Это еще раз доказывает, что подлинным началом Евхаристического священнодействия был именно вход. А из этого следует, что на свое теперешнее место — перед антифонами — великая ектения перенесена была только тогда, когда эти антифоны были присоединены к Литургии, как ее начало. Каково же их происхождение?

Прежде всего, нужно заметить, что «служба трех антифонов», это соединение в одном чине или последовании антифонного (т. е. попеременного, двумя певцами или хорами) пения трех псалмов (или трех групп псалмов), отделенных друг от друга молитвой предстоятеля, является очень распространенной в византийском, константинопольском типе богослужения. Мы находим такие антифоны и в т. н. «Песенном Последовании», и в службах дневного круга: — утрени, вечерни, повечерии и т. д. Можно считать несомненным, что к евхаристическому чину она была присоединена именно как «целое», как уже существовавшее отдельно от Литургии

*) Глава из книги о Литургии. Первые главы см. в Вестнике РСХД № 107 (Таинство Соборания) и № 108-109-110 (Таинство Царства).

богослужбное последование. Обычно оно составляло часть службы в честь того или иного святого или события, причем очень часто исполнялось во время процессии в церковь, в которой должна была в этот день совершаться Евхаристия. Нужно помнить, что в отличие от нашего теперешнего «приходского» устройства, в котором каждый «приход» богослужбно «независим» и совершает в себе и для себя весь цикл богослужения, в византийской церкви **город**, и, особенно, конечно, Константинополь, рассматривался церковно как одно целое, так что «Устав Великой Церкви» обнимал собою все городские церкви. В определенные дни процессия начиналась в Св. Софии и направлялась в одну из городских церквей, где вся Церковь города (а не отдельный «приход») праздновала «память», падающую на этот день. Так, например, 16 января, день празднования «Уз» Св. ап. Петра — «процессия — по указанию Устава Великой Церкви — выходит из Великой Церкви (Св. Софии)... и идет в Церковь Св. Петра, где и совершается Евхаристия. Так вот, пение антифонов и было, по первоначальному, молитвой во время процессии и оно заканчивалось «молитвой входа» и самим входом духовенства и народа в храм для совершения Евхаристии. Отсюда и многообразие антифонов, их «изменчивость» в зависимости от дня, сохранившаяся и сейчас в особых антифонах для двенадцатых праздников. Иногда вместо антифонов пелись тропари святому и тогда Устав отмечает эти тропари во время процессии и затем предписывает: «и входит (процессия) в церковь св. Петра и поется «Слава» с тем же тропарем». **Антифонов нет**, а сразу «Трисвятое». Таким образом, даже из этого краткого анализа — а его можно было бы удлинить во много раз — видно, что «антифоны» составляли первоначально отдельную службу, служившуюся до Евхаристии, и вначале даже вне храма. Она принадлежала к типу «литий» (процессий по городу), которые были чрезвычайно популярны в Византии, а в теперешнем богослужении сохранились только как «литии» на Всенощном Бдении и крестные ходы. В дальнейшем, по логике богослужения, в котором действует своеобразный закон превращения «особенностей» в «общее правило», служба эта стала мыслиться, как уже неотъемлемая часть Евхаристии. Однако и тут она все еще воспринималась, как отдельная и вводимая «единица»: так, в Византии Патриарх входил в храм только **после антифонов**. Это же видно и в нашей теперешней архиерейской Литургии, в которой архиерей фактически не участвует до «малого входа», а и начальное благословение и все возгласы делают священниками. Из всего сказанного ясно видно, как пи-

шет Х. Матеос, что сначала «три антифона пелись не в храме, а вне его и только в случае торжественной процессии. То, что теперь называется «Малым Входом» было не чем иным, как входом народа и духовенства в Храм; либо в конце процессии, либо же без предварительной процессии...»

Все это представляло бы только исторический и археологический интерес, если бы не подчеркивало еще раз не только то, что вход действительно составляет **начало**, начальное священнодействие Евхаристии, но и, в более глубоком плане, **входной**, динамический характер службы. Мы не живем больше в христианском или, лучше сказать, «христианизированном» мире, который мог в литургических символах — процессиях и литиях — выявлять свою «отнесенность» к Церкви, как пути в Царство, свою собственную направленность к Царству Божьему. Наши Храмы снова окружены если не открыто враждебным, то, во всяком случае, «религиозно-нейтральным», «секулярным» и равнодушным миром. Но потому, может быть, и так важно, чтобы мы осознали и почувствовали ту основную, изначальную и неизменную **соотносительность** мира и Церкви, которая когда-то, совсем в других условиях, нашла свое литургическое выражение в этой **процессии народа в Храм**. Если «собрание в Церковь» предполагает **уход из мира** («дверем затворенным»), то уход этот совершается в каком-то смысле, **от имени и во имя мира, ради его спасения**. Мы, уходящие — **плоть от плоти и кровь от крови мира**, действительно его представители, и в нас и через нас — он сам восходит к своему Творцу, Спасителю и Господу, к своей цели и исполнению. Мы уходим, чтобы **его** принести Богу, **его** вознести в Царство, **его** сделать снова путем к Богу и причастием Царству Божьему. В этом — назначение Церкви и потому она оставлена в мире, как его часть и как **символ** его спасения... По мере того, как мы будем следить за чином Евхаристии, это ее назначение будет раскрываться все яснее и глубже. Но уже с самого начала, в этих «общих и согласных молитвах», в этих радостных и победных «антифонах», возвещающих и прославляющих Царство Божие, знаменуем мы, что «собрание в Церковь» есть, прежде всего, радость возрожденной и обновленной твари, **собрание мира**, в противоположность его распаду и смерти в грехе. Символ Царства — Евхаристия, тем самым, есть и символ мира, который «так возлюбил Бог, что отдал за него Сына Своего»... (Ин. 3,16).

Возвращаясь теперь к начальной части Литургии в теперешнем ее чине, мы должны остановиться на **великой ектении**. «Миром

Господу помолимся» возглашает диакон. После исповедания и словословия Царства наступает время «общей и согласной молитвы». Понимаем ли мы все значение и всю новизну этой церковной молитвы, молитвы самой Церкви? Понимаем ли мы, что это не «просто» молитва человека или группы людей, а молитва Самого Иисуса Христа Отцу Своему, дарованная нам и что этот дар молитвы Христовой, Его посредничества, Его ходатайства есть первый и величайший дар Церкви. Мы молимся во Христе и Он Духом Святым молится в нас, собранных во Имя Его. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: Авва, Отче». (Гал. 4, 6). Мы ничего не можем добавить к Его молитве, но по Его воле, по Его любви и усыновлению, мы стали членами Тела Его, составляем одно с Ним и имеем участие в Его предстоянии за мир. Ап. Павел, призывая «прежде всего совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков», — прибавляет — «ибо один Бог, един и посредник между Богом и людьми человек Иисус Христос» (Тим. 2, 1, 5). И молитва Церкви потому есть молитва богочеловеческая, что сама Церковь есть человечество Христово, Им возглавленное: «Я в них и Ты во Мне, да будут совершенны во едино и да познает мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17, 23).

О свышнем мире и спасении душ наших... В Церкви нам дан мир Христов, как дано помазание Св. Духа и дано уже Царствие. Нам все дано и мы все же непрестанно молимся: прииди и спаси нас, да приидет Царствие Твое. Данное должно быть принято и усвоено и мы призваны всегда возрастать в этом даре. Грех и благодать, ветхий и новый человек ведут в нас беспрестанную борьбу и данное Богом все время отвоевывается врагом Бога. Церковь — собрание святых есть также собрание грешников, получивших, но не принявших, помилованных, но отвергающих благодать и непрестанно отпадающих от нее.

Мы прежде всего молимся о том, что в Евангелии названо «единым на потребу». Мир свыше это и есть Царство Божие — «радость и мир в Духе Св.» (Рим. 14, 17). Это то, ради чего нужно быть готовым все продать, от всего отказаться, всем пожертвовать: «ищите прежде всего Царствие Божие и остальное приложится вам». Приобретение этого Царства, этого «мира свыше», и есть спасение души. На языке Евангелия «душа» означает самого человека в его подлинной природе, подлинном назначении; это божественная частица, которая делает человека — образом и подобием Божиим, благодаря которой самый последний грешник в

очах Божиих есть бесценное сокровище: чтобы спасти его пастырь оставляет девяносто девять праведников... Душа есть дар Божий человеку и потому «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26). Первое прошение великой ектении указывает нам последнее и высочайшее назначение нашей жизни, то, ради чего мы были созданы, к чему должны стремиться и что должно стать для нас «единым на потребу».

О мире всего мира — о том, чтобы этот мир Христов распространен был на всех, чтобы закваска, брошенная в мир, подняла всё тесто (I Кор. 5, 6), чтобы все дальние и ближние стали соучастниками Царства Божия.

О благостоянии святых Божиих Церквей — «Вы соль земли, вы свет миру» говорит Христос Своим ученикам и это значит, что Церковь пребывает в мире для свидетельства о Христе и Его Царстве и что ей завещано Его дело. «Но если соль потеряет свою силу, то чем сделаешь ее соленой?» (Мф. 5, 13). Если христиане забывают о служении, на которое они все поставлены — от первого до последнего — кто будет благовествовать миру Царствие Божие и вводить людей в новую Жизнь? Молитва о благостоянии церквей — это молитва о верности и твердости христиан, о том, чтобы Церковь, рассеянная по всему миру, в каждом месте была верной себе, своей природе, своему назначению — быть «солью земли и светом мира».

О соединении всех. Единство всех в Боге и между собою есть последняя цель творения и спасения. Христос пришел «чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 11, 52). Об этом соединении молится Церковь, о преодолении всех разделений, об исполнении молитвы Самого Господа: «да будут совершенны во едино» (Ин. 17, 23).

О храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в него: таковы условия нашего подлинного участия в Таинстве и каждый входящий в храм должен испытывать себя: есть ли в его сердце живая вера и благоговение к присутствию Божию, тот спасительный «страх Божий», который мы так часто теряем, «привыкая» к Церкви и к богослужению.

О епископе, клире, народе — о Церкви, к которой мы принадлежим и которая в единстве всех служений: епископа, пресвитеров, диаконов и народа Божьего являет и исполняет собою — здесь, в этом месте — Тело Христово.

О стране, о городе, о властях, о всех людях, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных, о плавающих, путешествующих, больных, заключенных... Молитва распространяется и охватывает собою всю Церковь, весь мир, всю природу, все человечество, всю жизнь. Маленькой общине дана власть и сила возносить эту всемирную молитву, ходатайствовать перед Богом о всем Его творении. Как часто мы сужаем свою веру и свою религиозную жизнь до себя, до своих забот и потребностей и забываем это назначение Церкви приносить всегда и всюду «молитвы, прошения и благодарения за всех человеков». Приходя на Литургию, нам нужно всегда снова учиться жить в ритме этой подлинной церковной молитвы, учиться расширять себя и свое сознание до полноты Церкви.

И помянув **всех святых** — т. е. всю Церковь во главе с Божией Матерью, все новое человечество Христово, **мы сами себя, друг друга и всю нашу жизнь предаем Христу Богу.** Не только для защиты или для земного благополучия. «О горнем помышляйте, не о земном. Ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, **Жизнь ваша,** тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3, 2-4). Мы отдаем нашу Жизнь Христу, потому что Он — наша Жизнь, потому что в крещальной купели мы умерли для одной лишь «естественной жизни» и наша подлинная жизнь скрыта в таинственном росте Царствия Божия.

За великой ектенией следуют три **молитвы** и три **антифона** (т. е. три песнопения, меняющихся в зависимости от дня или праздника). В современной практике, о происхождении которой мы будем говорить особо, чтение почти всех молитв предстоятеля стало **тайным** (про себя), так что собрание слышит только конечное словословие в виде придаточного предложения (... яко Ты еси...), называемое поэтому возгласом. Достоверно известно, что это поздняя практика, по первоначально же, конечно, все молитвы читались предстоятелем вслух, ибо, по своему прямому смыслу, все они молитвы **всех** и от имени всего собрания. Утвердившись в богослужении, практика эта привела к умножению т. наз. **малых ектений**, состоящих из первого и двух последних прошений великой ектении. Эти малые ектении читаются диаконом **пока** предстоятель читает молитву тайно. Когда же служба совершается без диакона, то священник должен и произнести малую ектению и прочесть молитву. А это привело в свою очередь к тому, что молитву стали читать **во время** пения антифонов. Вряд ли нужно доказывать, что все это неудачное и ничем по существу не оправданное развитие, во-

первых, привело к частому и монотонному повторению малой ектении, а, во-вторых, нарушило единство службы, «диалог» ее между предстоятелем и народом. Первоначальный же строй этой антифонной части был таков:

Призыв диакона: «Паки и паки Господу помолимся»

Молитва первого антифона,

Первый антифон,

Призыв диакона,

Молитва второго антифона,

Второй антифон,

Призыв диакона,

Молитва третьего антифона,

Третий антифон.

Поскольку антифоны являются изменяемой частью службы и относятся к данному дню или празднику, а не к Евхаристии как таковой, мы не будем на них останавливаться. Ограничимся только главным содержанием тех трех молитв, что предваряют их и как бы связывают их с Литургией. В первой молитве предстоятель исповедует, что держава Божия несказанна (невыразима), что слава Его **безмерна**, милость **непостижима** и человеколюбие **неизреченно**. Все эти слова, начинающиеся с отрицательной частицы (т. наз. *alpha privativum* по-гречески) выражают абсолютную трансцендентность Бога по отношению к миру — несоизмеримость Его с творением и с человеком. Это то, что в богословии называется ее **апофатической** или отрицательной основой. Бог выше всех понятий и слов, эту неизреченность Божественной сущности всегда с особой силой ощущали святые. Мы можем только трепетать перед Ним и Ему от нас **подобает** — «слава, честь и поклонение». Но Бог Сам захотел **явить** Себя людям и, одновременно с исповеданием Его несказанности, Церковь просит Его «призреть на этот храм и на это собрание». Бог не только явил Себя людям, но и соединил их с Собою, сделал их **Своими**. И вторая молитва исповедует эту принадлежность Церкви Богу: «спаси людей **Твоих**, благослови достоинство **Твое**, сохрани полноту **Твоей** Церкви, освяти любящих благолепие **Твоего** дома», ибо в Церкви явлена Его держава, царство, сила и слава. Это Его новое творение, новое явление в мире... И, наконец, по свидетельству третьей молитвы, этому новому, соединенному с Богом человечеству, даровано познание Истины уже в

этом веке и Истина открывает жизнь вечную... «Сия же есть Жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3).

II.

Впервые выражение «малый вход» (в отличие от «великого входа» в начале Литургии верных) мы встречаем в Литургических рукописях XIV века. Это время окончательного закрепления евхаристического чина в его теперешнем виде. Мы знаем уже, что в течение долгого времени этот вход был началом Литургии, ее первым священнодействием, свидетельству чему сохранилось достаточно и в современной Литургии. Но когда он это свое «начальное» значение потерял и первой частью службы стало последование «антифонов» (или «изобразительных»), главное ударение во входе перенесено было на Евангелие. В современной практике это, прежде всего, вход с Евангелием, т. е. торжественный вынос его из алтаря и внесение его обратно в алтарь царскими вратами. В некоторых рукописях он даже и называется «входом Евангелия». И именно это послужило отправной точкой в развитии того «изобразительного символизма», о котором мы говорили выше и который, в применении к малому входу, толкует его как изображение выхода Христа на проповедь Евангелия. О значении выноса Евангелия мы будем говорить в следующей главе, посвященной Литургии как «таинству слова». В пределах этой главы для нас важно подчеркнуть, что теперешний «малый вход» восходит, таким образом, к двум различным актам, соединяет в себе две темы: тему входа как такового и начальные обряды, связанные с чтением в собрании Священного Писания. Настоящую главу уместно заключить кратким разбором первой из них.

Подчеркнем еще раз, что несмотря на все свое развитие и усложнение, «малый вход» сохранил характер именно входа, начала, приближения. Об этом свидетельствуют, во-первых, неоднократно уже отмеченные особенности архиерейской Службы, а, во-вторых, молитва входа, которая, как я тоже уже указывал, читалась когда-то при входе предстоятеля и народа в храм и которая и сейчас еще читается при освящении храма у внешних его дверей. Новым элементом, возникшим из развития византийского храма и усложнившим идею входа, было перенесение понятия **святилища** со всего храма на алтарь: на часть храма, окружающую престол и отделенную от корабля иконостасом. Внутри храма, понимавшегося и все еще, как мы видели, понимаемого как святилище, возникло

внутреннее святилище: алтарь и, т. о., вход в храм стал входом в алтарь. Но для нас важно, что вход остался входом, сохранил свой основной символизм, как вхождение и восхождение Церкви, народа Божьего, в небесное святилище, ибо «Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9, 24).

Сущность входа состоит в приближении к престолу, который всегда был средоточием храма, его «святилищем» и святыней. Слово алтарь означает, прежде всего, престол и только постепенно его смысл был распространен на пространство, окружающее престол. Более подробно на значении его в Евхаристической службе мы остановимся позднее в связи с приношением даров. Сейчас достаточно сказать, что по согласному свидетельству всего предания, престол есть одновременно символ и Христа и Царства Христова. Он есть трапеза, за которою собирает нас Христос, и он есть жертвенник, соединяющий Первосвященника и Жертву. Он есть престол Царя и Господа. Он есть, таким образом, символ Неба, того последнего и конечного Царства, в котором «Бог будет всяческая во всем». И именно из этого «опыта» престола, как средоточия евхаристического таинства Царства, развилась вся «мистика» алтаря, как Неба, как эсхатологического полюса богослужения, как того таинственного **присутствия**, которое весь храм делает «небом на земле». Поэтому вход, будучи приближением к престолу, есть всегда и **восхождение**; в нем Церковь поднимается и возносится туда, где «жизнь ее скрыта со Христом в Боге», восходит на **небо**, где только и возможна, как мы увидим дальше, Евхаристия.

Все это важно подчеркнуть потому, что под влиянием западного понимания и таинств вообще и Евхаристии в частности, мы обычно воспринимаем Литургию в «ключе» не восхождения, а «нисхождения». Вся западная литургическая мистика насквозь пропитана этой идеей Христа, **спускающегося** на наши алтари и снова приносимого на них в жертву. Между тем изначальный евхаристический опыт, сохранившийся в чине Евхаристии, говорит о нашем восхождении туда, куда вознесся Христос, о небесной природе Евхаристического священнодействия. Евхаристия есть всегда выход из мира и восхождение на небо, и символом реальности этого восхождения и его возможности является именно **престол**. Ибо Христос вознесся на небо, и престол Его — небесный и жертвенник Его — «пренебесный и мысленный». В «мире сем» нет и не может быть престола, ибо Царство Христово «не от мира сего». Но потому так важно понять, что мы относимся благоговейно к пре-

столу (что выражается в его целовании и в поклонах перед ним) не потому, что он освящен и стал «вещественной святыней», а потому, что само освящение его состоит в **отнесении** его к реальности Царства, в претворении его в **символ** Царства. Наше благоговение и поклонение никогда не относится к «материи», к доске или камню, а всегда к тому «эпифанией» — явлением и присутствием чего они стали. Всякое «освящение» в Церкви, и в первую очередь престола, есть не создание «священных» предметов, священностью своей противоположных «профанным», т. е. неосвященным, а **отнесение** их к их изначальному и, вместе с тем, конечному смыслу как символа Царства Божьего. Ибо весь мир был создан как «престол» Бога и как место Его присутствия и общения с человеком, как, действительно, **символ** Царства. Он весь, по замыслу, **священен**, а не «профанен». Но потому и для того, чтобы стать тем, чем Бог хотел, чтобы все было в мире, не нужно никакого «дополнительного» освящения. Для этого достаточно изначального и вечного Божественного «доброе зело». Ибо грех человека в том и состоял, что он затмил это «добро зело» в себе — оторвал мир от Бога, сделал его самоцелью, но потому — и распадом и торжеством смерти. Но Бог спас мир. Спас тем, что снова явил в нем его цель: Царство Божие, его **жизнь** — быть путем к этому Царству, его **смысл** — как символа Царствия... И поэтому в отличие от «освящения» языческого, состоящего в «сакрализации», в выделении в священную сферу отдельных «частей» и «предметов» мира, христианское освящение состоит в возвращении всему в мире его **символической природы**: как явления, движения, причастия, жажды Царства Божия, в отнесении всего к **последней** (эсхатологической) цели всего... Все наше богослужение есть одно сплошное движение и восхождение к Престолу и возвращение от Престола обратно, в «мир сей» для свидетельства о том, чего «не слышало ухо, не видел глаз, что не приходило на сердце человеку», но что являет Господь «дверем затворенным» тем, кто любит Его...

Этот эсхатологический смысл входа, как приближения к престолу и восхождения в Царство, лучше всего выражен в молитве и пении **Трисвятого**, которым вход завершается. Вступив в алтарь и встав перед престолом, предстоятель возносит «молитву Трисвятого» о том, чтобы Бог, «сподобивший нас, смиренных и недостойных... в час сей стать перед славой святого Его жертвенника и должное ему поклонение и славословие принести, принял от нас трисвятую песнь и посетил нас... и простил нам всякое согрешение и освятил наши души и тела».

«Боже Святой...» С исповедания **святости** Божией начинается наше предстояние престолу и мы молимся о нашем освящении — т. е. о приобщении нас к этой святости. Но что означает, что выражает это имя Божие — **Святой**, составляющее, по свидетельству пророка Исаии, вечное содержание ангельского славословия, в котором мы — в «час сей» готовимся принять участие? Никакое дискурсивное мышление, никакая логика не способны нам объяснить его, а между тем, это ощущение святости Божией, это чувство **святого** и **священного** есть, можно сказать, основа и источник религии. И вот, дойдя до этого момента, мы быть может сильнее всего сознаем, что богослужение, не объясняя нам что есть святость Божия, **являет** нам ее, и что в этом явлении — извечная сущность всякого «культа» — тех основных и древних, как само человечество, обрядов: благословения, воздевания рук, поклона, — «смысл» которых почти не выделим из жеста его в себе воплотившего. Ибо культ и родился из потребности, из жажды человека приобщиться к «святому», которое он ощутил прежде, чем смог «мыслить» о нем. «Как будто только богослужение, — пишет L. Bouyer, — знает весь смысл этого непроницаемого для разума понятия, оно одно, во всяком случае, способно передать его и научить ему... Этот религиозный трепет, это внутреннее головокружение перед Чистым, перед Недосягаемым, перед совершенно Иным, и, вместе с тем, это ощущение невидимого присутствия, притяжение такой бесконечной любви, и притом любви столь личной, что, испытав ее, мы уже больше не знаем, что еще мы называем любовью — только богослужение может передать опыт всего этого, единый и непередаваемый... В богослужении он как будто льется отовсюду из слов, из жестов, от светильников, от благоухания, наполняющего храм, как в видении Исаии, из того, что за всем этим, что не есть ничто из всего этого, но что всем этим целостью передается, подобно тому, как прекрасное выражение лица мгновенно раскрывает нам всю душу, хотя мы и не знаем как...»

И вот мы **вошли** и стоим теперь перед Святым. Мы освящены его присутствием, мы озарены его светом. И это трепетное и сладостное чувство присутствия Божия, радость и мир, равных которым нет на земле, все это выражено в трикратном, медленном и торжественном пении **Трисвятого**: — «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный...» небесной песни, поемой на земле и свидетельствующей о совершившемся примирении земли и неба, о том, что Бог явил себя людям и что нам дано «иметь участие в святости Его» (Евр. 12, 10).

И под это пение предстоятель восходит еще выше — в самую глубину храма, на горний престол, во Святое Святых. И в этом ритме входа и восхождения — из «мира сего» к дверям храма, от дверей храма — к престолу, от престола — на горнее место, свидетельствует он о действительности совершившегося соединения, о высоте, на которую вознес нас Сын Божий. И взойдя на нее, предстоятель **оттуда** — но повернувшись теперь лицом к собранию, один из собравших, но и образ Господа, облеченный Его властью и силой, ниспошлет нам мир для слышания Его слова. За таинством входа следует таинство Слова.

Игумен ГЕННАДИЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МИФАХ

Я разделяю оценку о. А. Шмеманом творчества Солженицына *). Мне не показались убедительными те мысли его оппонента, которые о. Шмеман цитирует в своей статье. В частности, слова: «...мифы Толстого и Достоевского уходят в духовную глубину. Не выдуманные ими, такие мифы возникают иначе, они **там** увидены были, почувствованы, и **оттуда** вытащены были обоими нашими великанами» — звучат риторически. ТАМ не был ни Толстой, ни Достоевский во время земной жизни. Ибо «никто не восходил на небо, как только Сшедший с небес Сын Человеческий, Суший на небесах». Если же понять эти выражения не дословно, а как метафору, то способностью трансценденции обладают все люди, хотя и в разной степени. Признавать эту способность за Толстым и Достоевским и отказывать в ней Солженицыну нет оснований.

В полемике, как известно, диалектические стрелки проявляют тенденцию уклоняться к своим полюсам. Чем сильнее накал полемики, тем крайнее отклонение. О. Шмеман, напр., говорит, что он употребляет слово «миф» в «самом обыкновенном и ходячем смысле: как обозначение чего-то, отличного от простой **правды**, надуманного и даже выдуманного» и подтверждает свою позицию ссылкой на разговорное выражение «сплошная мифология», что не может означать ничего иного, как «сущие враки». Это хорошо, что он точно определяет **свое** употребление этого слова, которое совпадает с ненаучным словоупотреблением. Однако следует отметить, что **такой** смысл является лишь одним из дюжины возможных смыслов, приписываемых этому слову в древне-греческом языке. Заняв такую крайнюю позицию, о. Шмеман исключил все семантические элементы, предполагаемые в словоупотреблении его оппонента, что тоже неправильно.

Постараемся занять среднее положение между двумя крайними: 1) миф есть «диктат **ОТТУДА**»; 2) миф есть человеческая выдумка.

О. А. Шмеман прав, когда говорит, что Запад уделяет пристальное внимание проблеме мифа. Прав ли он, когда советует

*) См. Вестник № 108-109-110, стр. 169.

нам, православным, отвергнуть миф как «глубочайшую двусмыслицу» и «соблазнительную полуправду»? Не переходит ли он в другую крайность, когда утверждает, что «духовная реальность **удостоверяется** не разумом и не посредством «мифа», а **верой**, которая и есть единственный «первофеномен духовной жизни»? Нельзя ли постулировать: «вера сперва, а затем разум»? Почти все то, что о. Шмеман говорит против мифа, можно обратить и против его точки зрения на миф. Если «человеку свойственно мифотворчество, (если) в нем выражает он свои верования, свое мироощущение, свое понимание мира и жизни», и поскольку «это верование, это мироощущение, это понимание могут быть ложными, ложным и даже губительным может быть миф, воплощающий их», то где же, как не в разуме искать критерий различения между ложным мифом и истинным мифом? Ведь и вера может выродиться в суеверие, и разум может выродиться в безверие. «Блюдите, камо опасно ходите» относится и к рационалистам, и к суеверам.

Мы же нашу позицию по отношению к мифу определим так: «Вера, исключая разум, есть суеверие, а разум, исключаящий веру, есть лжемудрствование». В свете этого принципа приведем и следующие рассуждения — для размышления.

Природа мифа авалогична природе слова. Объяснять сущность этих родственных реальностей — это значит витать между двумя крайними гипотезами: либо человек сам их создает, либо они сами высказываются **через него**, как через некий рупор. Чтобы избежать этих крайних и потому в своей исключительности ложных гипотез, следует постулировать мирочеловеческий характер этих реальностей, если мы будем пребывать в имманентном плане, или характер богочеловеческий, если мы перейдем на более высокую трансцендентную ступень.

Усматривать в мифе нечто серьезное не является прерогативой Запада. Мы, восточные, могли бы сослаться на авторитет автора Пятикнижия или Платона. Чтобы не возвращаться так далеко в историю мифа, процитируем некоторые мысли почти современных нам русских мыслителей: философа и богослова.

А. Ф. Лосев, в «Философии Имени» (Москва, 1927) пишет: «Миф есть конкретнейшее и реальнейшее явление сущего, без всяческих вычетов и оговорок, — когда оно предстает как живая действительность» (стр 214).

«Реальное, жизненное и адекватное знание будет только тогда, когда я зафиксирую не только число, но и качество, и не только качество, но и цельный лик данного предмета, и не только цельный лик, но и все те глубинные возможности, которыми он принципиально располагает, и которые так или иначе, рано или поздно, могут в нем проявиться. Это и значит зафиксировать **миф** данного предмета и дать ему **имя**. Всякая разумная человеческая личность, независимо от философских систем и культурного уровня, имеет какое-то общение с каким-то реальным для нее миром. Для всякого человека есть всегда такое, что не есть ни число, ни качество, ни вещь, но миф, живая и деятельная действительность, носящая определенное, живое имя. В нем и для него всегда есть **та или иная соотнесенность с собой и со всем другим, т. е. интеллигентность**. Если я религиозен и верю в иные миры, они для меня — живая, мифологическая действительность. Если я материалист и позитивист, — мертвая и механическая материя для меня — живая, мифологическая действительность, и я обязан, поскольку материалист, любить ее и приносить ей в жертву свою жизнь. Как бы ни мыслил я мира и жизни, они всегда для меня миф и имя, пусть миф и имя глубокие или неглубокие, богатые или небогатые, приятные или неприятные. Нельзя живому человеку не иметь живых целей и не общаться с живой действительностью, как бы она ни мыслилась, на манер старой религиозной догматики, или в виде современной механической вселенной. Мифология — основа и опора всякого знания, и абстрактные науки только потому и могут существовать, что есть у них та полнокровная и реальная база, от которой они могут отвлекать те или другие абстрактные конструкции» (...) «Но мифология, если ее понимать как совокупность самих мифов, зависит от характера опыта, которым располагает философ или его эпоха; и мы замечаем, как в основе каждой культуры лежат те или другие мифы, разработкой и проведением которых в жизнь и является каждая культура» (...) «Итак, мифология есть первая и основная (...) наука о бытии, вскрывающая в понятиях бытие с его наиболее интимной и живой стороны. Миф есть вещная определенность предмета, рассматриваемая с точки зрения нагнетения всякого иного смысла, выходящего за пределы данной вещной определенности,

который только может быть принципиально связан с этой определенностью, с точки зрения интеллигенции. Мифология и есть наука о бытии, рассмотренном с точки зрения проявления в нем всех, какие только возможны, интеллигентно-смысловых данностей, которые насыщают и наполняют его фактическую структуру» (стр. 215-216).

Проследим же теперь, что говорит о мифе богослов — о. Сергей Булгаков.

«Прежде всего следует отстранить распространенное понимание мифа, согласно которому он есть произведение фантазии и вымысла».

«... мифу присуща вся та объективность или кафоличность, какая свойственна вообще «откровению»: в нем собственно и выражается содержание откровения или, другими словами, откровение трансцендентного, высшего мира совершается непосредственно в **мифе**, он есть те письмена, которыми этот мир начертывается в имманентном сознании, его проекция в образах. Можно сказать (применяя кантовский термин), что **миф есть синтетическое религиозное суждение априори**».

«Зародившийся миф содержит в себе нечто новое, дотоле неизвестное самому мифотворцу, причем это содержание утверждается как самоочевидная истина. Эта самоочевидность порождается именно опытно-интуитивным характером ее происхождения».

«Содержание мифа всегда **конкретно**, речь идет в нем не о Боге вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления».

«Миф есть, или, вернее, должен быть поэтому отрицанием всякого субъективизма или психологизма, хотя, конечно, возможны ошибки и иллюзии мифотворческого сознания, а потому и субъективные или ложные мифы».

«Религиозные образы, реализующие и выражающие религиозное содержание, представляют собой то, что обычно называют **мифом**. Мифу в религии принадлежит роль, авалогичная той, какая свойственна понятию или суждению в теоретической философии: от его понимания зависит оценка религиозно-догматического сознания».

О. Сергей Булгаков преуменьшает роль человеческого начала в процессе мифотворчества, когда утверждает: «... сознание, что в человека входит нечеловеческая сила и в нем совершаются превышающие его собственную меру события, одно только и

создает жизненную убедительность мифа. Не человек действует или «полагает» здесь, как это имеет место в субъективно-идеалистических построениях, но в человеке происходит, полагается, в нем говорят высшие сущности и силы» («Свет Невечерний», стр. 60-74).

Из вышеприведенных цитат видно, что возможно и иное, чем у о. Шмемана, понимание природы мифа. Я, лично, склоняюсь к лосевскому определению мифа и считаю миф неким субъективно-объективным построением, в котором соотношение между божественно-откровенным элементом и элементом человеческим может передвигаться от одного полюса к другому.

Мифы можно различать в качественном и в количественном аспектах. Первый аспект относится к области, второй — к размерам. Например, бывают мифы религиозные, философские, фольклорные, научные... Они могут называться теологуменами, философемами, рабочими гипотезами и т. п., но по сути — это мифы. Есть мифы, относящиеся ко всему космосу, к человечеству, к отдельному народу, напр., библейское сказание о сотворении мира, повествование о всемирном потопе, идеал «Святой Руси», утопия о господстве пролетариата..

Можно различать мифы и во временном порядке: **ретроспективные**, уходящие в предысторию и повествующие о том, что некогда было, и **проспективные**, предсказывающие то, что должно совершиться (напр., хилизм, утопизм, апокалипсизм-эсхатологизм).

Мифы, разрабатываемые в концептуальных категориях, становятся различными дисциплинами, напр.,: космологией, гео-антропологией, эсхатологией (учением о происхождении вселенной), учением о богочеловечестве, учением о последних свершениях.

Миф, *cum grano salis*, можно уподобить иконе вселенной в ее целом или же в ее фрагментах. Первичным средством воплощения мифа (словесный образ) является слово, производным — живописный образ, напр., картина искушения Евы змием). Менее

ясно выступает миф в музыке, напр., «Весна Священная» Стравинского. Сильны в этом направлении были попытки отечественного композитора Александра Николаевича Скрябина.

В реальности мифа наличествует два начала: откровения и восприятия откровения. Эта двуединая природа мифа выражается в факте, что один и тот же эйдос объективируется и опосредствуется разнообразно, в зависимости от преломляющей или воспринимающей среды. Космос — это пассивно воспринимающая среда. Только разумные существа представляют собой активно преломляющую среду. Разуму свойственно **интенциональное** проникновение в эйдос путем интуиции, путем интеллектуального созерцания и путем *a posteriori*. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Римлян. 1,20).

Имеются три вида откровения, лежащих в основе мифотворчества: 1) нарочитое божественное Откровение — человеку; 2) внутреннее откровение в человеке (интроверсия, медитация, умозозерцание) и 3) естественное откровение Бога в Его твари — природе. Человеческий дух есть та призма, которая вбирает в себя излучения этого троевидного откровения и своеобразно их преломляет в индивидуальную мифологию. Сравнение с призмой, однако, было бы слишком односторонне. Человеческий дух есть и тот прожектор, который *sua sponte* выскивает интересующие его предметы и соответственно освещает. Эта интенциональная деятельность человеческая несет на себе богоподобные черты: она целенаправлена. Ибо среди всей остальной твари только человек может свободно ставить перед собой цели и изыскивать средства их достижения.

Итак, в создании мифа, в особенности религиозного мифа, участвуют два начала: открывающийся Бог и воспринимающий, в меру своей **восприимчивости**, человек. «**Восприимчивость**» — это актуальная интеллектуально-эстетическая и духовная емкость человека на открываемое и индивидуальное очакование им воспринимаемого. Как это ни парадоксально звучит, но это так: сколько людей, столько мифов. Ибо неограниченное количество степе-

ней откровения и степеней восприятия необходимо влечет за собой неограниченное количество индивидуальных мифо-фокусов. В силу неисследуемых законов воздействия и взаимодействия, мифо-атомы составляют как бы тело мифа высшего плана, который **организует** и придает им единство.

С другой стороны, при случаях нарочитого и определенного откровения религиозный миф зарождается в индивидууме и путем диффузии, в порядке «психического заражения», принимает все более и более широкий охват. Пример: Моисей был исторической личностью, принявшей особое божественное откровение. Содержание этого откровения было поведено им своему народу. Затем последовало разнообразное принятие людьми этого откровения, переданного им уже «из вторых рук». История израильского народа есть история постепенного и неровного внедрения ягвистического религиозного мифа в сознание этого народа, внедрения, происходившего иногда вопреки воле отдельных лиц и групп, но наконец вылившегося в поразительный феномен, известный под именем «иудаизма».

В иных частях света и в различные эпохи создавались иные религиозные мифы — предмет особой дисциплины, называемой **историей религий**.

Но вот наступило «ипостасное откровение» — Боговоплощение. Прозвучали слова Благой Вести. И сразу стали преломляться в индивидуальных сознаниях... искать средств выражения в уже существующих символах религиозной мифологии. Конечно, основная весть и основное таинство, и чудо христианства — были новыми, своеобразными и неповторимыми. Но преломлялись они в среде человеческого сознания по-разному.

Отсюда и внутрехристианские ереси, способствующие «выявлению искуснейших», и разделения «церквей», и расколы... не по злой воле, а по убеждению в своей правоте, типа «*Hier stehe ich, ich kann nicht anders*». На ось **основного откровения**, которого, среди христиан, никто не подвергал сомнению, нанизывались уже христианские религиозные мифы, индивидуальные, не всегда и не во всем совпадающие. История церкви есть в какой-то степени история христианских мифообразований, весьма разнообразных, если и не в основном, то во второстепенном. Стоит только сравнить понимание христианства (как мировоззрения и как *modus*

vivendi) члена первохристианской общины, апологета, пустычника, схоластика, византийца, инквизитора-экзорциста, возрожденца и современного обывателя-прихожанина, чтобы уяснить себе разнообразие христианских мифообразований. Кто-нибудь скажет, что это индивидуальные мифы... Ну, а как быть с доселе существующими коллективными мифами православных, католиков, монофизитов, ариан, протестантов, староверов и т. п.? Ну, а если взять догматику одной и той же православной церкви и сосредоточить внимание на учении, скажем, о Боге, то найдем ли мы «монолитное» изображение Его иконы? Никак нет. И здесь имеется как-бы три-четыре лика: 1) древне-греческое понимание Бога, как надмирного и вне-мирного, трансцендентного, непознаваемого, абсолютно-покоящегося Божества; 2) иудаистическое понимание Бога, как грозного судьи, ревнителя, «Который наказывает «детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» и творит «милость до тысячи родов», постоянно заботящегося о благе избранного народа; 3) Новозаветного Отца, защитника и промыслителя, без воли Которого и волос не упадет с головы человеческой и Который так возлюбил мир, весь мир, что послал на жертвенник Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в него, удостоился спасения; 4) августино-кальвинистического Божества, преследующего юридические цели «искупления» и «мздовоздаяния», наказующего «вечными» муками временные провинности и грехи людей и «от века» предопределившего одних к спасению, других же к гибели... На наших глазах создается новая икона Бога страдающего, уничиженного (кенозис), космического, Субъекта процесса богочеловеческого...

Много схоластических хитросплетений потребовалось, чтобы согласовать эти столь гетерогенные образы, поставив их в такую перспективу, в которой они как бы просвечивают один через другого. И если такой сложный образ Божества приемлем для члена христианской церкви, в порядке подвига веры и склонения главы перед авторитетом духовных властей, то для людей, стоящих вне церкви и вне христианства, он не обладает свойствами наглядной убедительности.

Но человечество не может жить без мифа и вне мифа. Поэтому, отвергнув христианские мифы, какими они сложились в истории, европейский запад стал подменять один миф за другим, причем, как это ни парадоксально звучит, стремясь к построению более убедительного мифа, оно создает мифы все более плоские и менее убедительные.

Итак, на смену религиозному христианскому средневековью пришел ренессанс с его натурфилософской и пантестической концепцией, ренессанс, в котором в модернизированной форме возродились платоновские (нео-платонические) элементы... В новом мифе Божество не только было привлечено поближе к вселенной, но и попросту вовлечено в нее, как мы это видим у Николая Кузанского, Джордано Бруно, Спинозы, Гегеля и у наших отечественных философов Вл. Соловьева и С. Франка. Эквивалентом Бога и мира в новом мировоззрении явился «становящийся абсолютом». И снова на смену этим мифам пришли новые, уже атеистические мифы позитивизма, утопизма, прогрессизма, марксизма-ленинизма, сциентизма и самого новейшего учения о расширяющейся вселенной, в которой все относительно и все возможно... Во что выродилось мифотворчество последнего столетия, в котором антропо-проективный элемент вытеснил совершенно бого-откровенный, хорошо пишет, со скрытой иронией, тот же Лосев:

«Для нас, представителей ново-европейской культуры, имеющей материалистическое задание, конечно, не по пути с античной или средневековой мифологией. Но зато у нас есть своя мифология, и мы ее любим, лелеем, мы за нее проливали и будем проливать нашу живую и горячую кровь.

Мир без конца и предела, без формы и охвата; мир, нигде не кончающийся и пребывающий в абсолютной тьме межзвездных пространств; мир, в котором пребывает вечно неизменная температура в 273° ниже нуля; мир, состоящий из мельчайших атомов, различных между собой лишь в количественных отношениях и вечно двигающихся по точнейшим и абсолютнейшим законам, создавая нерушимую и железную скованность вечного и неумолимого механизма; мир, в котором отсутствует и душа, ибо все это — лишь одна из многочисленных функций материи наряду с электричеством и теплотой, и только лишь своекорыстие людей приводит нас к тому, что мы начинаем верить в какую-то душу, которой реально нет, и в какое-то сознание, которое есть пустой вымысел и злостная выдумка; мир, в котором мы — лишь незаметная песчинка, никому не нужная и затерявшаяся в бездне и пучине таких же песчинок, как и наша земля; мир, в котором не на кого надеяться, кроме как на свои руки, и в котором никто о нас не позаботится, кроме нас самих; мир, в котором все смертно и ничтожно, но велико будущее человечества, воздвигаемое как механистическая и бездушная вселенная, на вселенском кладбище людей, превратившихся в мешки с червяками, где единственной

нашей целью должно быть твердое и неукоснительное движение вперед против души, сознания, религии и прочего дурмана; мир-труп, которому обязаны мы служить верой и правдой и отдать свою жизнь во имя общего: я спрашиваю, разве это не мифология, разве это не затаенная мечта нашей культуры, разве мы можем умереть, мы, новая Европа, не положивши свои кости ради торжества материализма? Нет, мы верим в нашу материю, поклоняемся и служим ей, и никто не вправе отнять ее у нас» («Философия Имени», стр. 216).

Какова же ценность мифов, если они все время меняются? Они расширяют наше сознание, наподобие расширяющейся вселенной. В самой этой сменяемости лежит залог целенаправленности. Исторический процесс можно назвать процессом постепенной адекватности мифа о вселенной — ее подлинной реальности. Для неверующего — эта адекватность есть цель сама в себе; для верующего — это поступательное и все более точное отображение в нашем уме божественной монограммы бытия, какой она записана на вселенной.

Если бы мифотворчество застыло, превратясь в один несметно-многогранный кристалл статического видения мира, остановилась бы история... Мифы сменяются, скашивая ложное и ненужное, но наращивая истинное и полезное. В каждом мифе есть своя доля правды, которая, как песчинка золота, затеряна в массе руды. Задача человека состоит в том, чтобы, отбросив бесполезную руду, отыскать эту песчинку-правду. Застывший миф — это тромбоз в сердечной артерии народа. Миф должен быть, как горизонт — всегда видимый, всегда удаляющийся, влекущий, но недостижимый... разве что в Последний День.

В мифе что эгоистично — то преходяще; что альтруистично — то вечно. В мифах ретроспективных преобладает элемент божественный, откровенный и символический; в мифе проспективном — элемент человеческий, программный и системный.

Мифы суть попытки разгадать божественную загадку, заложенную во вселенную. Каждый новосозданный миф должен проверяться по камертону — Откровению: привильно-ли резонирует..? А почему Творец загадал эту загадку? Чтобы человек, от мифа к мифу **сам** разгадал ее, и в уме, и в сердце, т. е. постиг и осуществил божественный о нем замысел и тем самым завершил бы бого-человеческий процесс.

Нельзя прикрепляться к одному мифу, как моллюск к скале: этак можно окаменеть на миллионы лет. Человеческой массе свойственно, однако, моллюскообразно прикрепляться к телу мифа, абсолютизировать условное и относительное и сакрализировать профанное. Суета ума и сердца, как песок, заносащий вышепомянутую песчинку золота-смысла: собьется в окаменелую массу, нарастет в непроницаемую грудку, и не выдаст его, смысла...

Поэтому прав о. А. Шмеман, отметив, что Солженицын обладает даром разбивать окаменелую скорлупу мифа и освобождать его идею. В этом его заслуга!

Игумен Геннадий

И Т О Г И *)

От глубокой древности две познавательные способности почитались благороднейшими: слух и зрение. Различными народами ударение первенства ставилось либо на том, либо на другом, древняя Эллада возвеличивала преимущественно зрение, Восток же выдвигал как более ценный — слух. Но несмотря на колебания в вопросе о первенстве, никогда не возникало сомнений об исключительном месте в познавательных актах именно этих двух способностей, а потому не возникало сомнений и в первенствующей ценности искусства изобразительного и искусства словесного — деятельности, опирающейся на самые ценные способности восприятия.

Рассмотрением в предыдущем этих двух высших деятельностей заработано право подвести некоторый итог о познавательной деятельности вообще. Она строит символы — символы нашего отношения к реальности. Предпосылка деятельности, все равно, будет ли это искусство изобразительное или искусство словесное, есть реальность. Мы должны ощущать подлинное существование того, с чем соприкасаемся, чтобы стала возможной культурная деятельность, вплотную признаваемая как потребная и ценная; без этой предпосылки реализма наша деятельность представляется либо внешне-полезной в достижении некоторых ближайших корыстей, либо внешне-развлекательной, забавой, искусственным наполнением времени. Но, не сознавая реальности, которую знаменует, т. е. вводит в наше сознание, то или иное деяние культуры, мы не можем признать его внутренне достойным, истинно человеческим. Иллюзионизмом как деятельностью, не считающейся с реальностью по существу своему отрицается человеческое достоинство: отдельный человек замыкается здесь в субъективное и тем самым перерезает свою связь с человечеством, а потому и с человечностью. Когда нет ощущения мировой реальности, тогда распадается и единство вселенского сознания, а затем — и единство самосознающей личности. Точка — мгновенно, будучи ни-

(*) Это самая последняя из известных нам статей свящ. Павла Флоренского. Печатается впервые. Написана она, вероятно, была в начале 30-х годов, до ссылки Флоренского на Соловки. К сожалению, полученный нами текст неисправен, в частности пропущены иностранные слова.

чем, притязает стать всем, а вместо закона свободы воцаряется каприз рока. Перспектива в изобразительности и схематизм в словесности — последствия этого отрыва от реальности; впрочем, это даже не последствия, а последствие, единое последствие — рассудочность, — она же — закон тождества отвлеченного мышления. Точка-мгновение здесь закрепляется как исключительное, отрицающее реальность всей полноты бытия, себя не утверждающее — абсолютизм. Но, отстранив от себя всякую реальность, эта «абсолютная» естественно остается лишь формальным притязанием, равно относимым к любой точке-мгновению, к любому Я. «Точка зрения» в перспективе и есть попытка индивидуального сознания оторваться от реальности, даже от собственной своей реальности — от тела, от второго глаза, даже от первого, правого глаза, поскольку и он не есть математическая точка, математическое мгновение. Весь смысл этой, перспективной, точки зрения, — в исключительности, в единственности: точка зрения в перспективе есть полная бессмыслица, и коль скоро некоторая точка пространства и времени провозглашается точкою зрения, то тем самым отрицается за другими точками пространства подобная значимость. Нужно раз навсегда утвердить в мысли истинный смысл перспективы: эта последняя не есть что-либо положительное, и точка зрения не имеет никаких собственных положительных определений и характеристик, — но определяется лишь отрицательно, как «не то», что все прочие точки, и потому содержанием самой перспективы необходимо признать отрицание какой бы то ни было реальности, кроме реальности данной точки. Ведь если бы реальность вне ее была допущена, тем самым открывалась возможность и другой, оттуда, точки зрения и следовательно, перспективное единство, основной постулат перспективности, было бы принципиально нарушено. Ирреализм и перспективизм не случайно исторически оказались попутчиками, а суть одна и та же установка культуры, первый по внутреннему смыслу, а второй — по способу выражения; общее же имя и тому и другому — иллюзионизм. Так — в изобразительной деятельности, когда ирреалистический замысел раскрывается в зрении; но так же, как раз так же и в деятельности словесной, обращаемой к слуху. Словесное схемо-строительство есть обнаружение ирреалистической предпосылки языка — имяборчества. Схемо-строительство, как и перспектива, исходит из предпосылки об отрицании реальности. Но схема не могла бы выдавать себя за реальность, если бы не притязала при этом на единственность и не отрицала бы всех

прочих схем: признав другую схему, сознанию тем самым пришлось бы признать и некоторый другой центр (во времени или в пространстве) схемо-строительства, следовательно — и некоторую реальность — вне себя, вне наличного здесь и теперь. Но опустошенный от всякой конкретности, этот центр, это отвлеченное Я, формален, — и потому определение его — чисто отрицательное. Словом, тут об этом центре речи придется повторить все сказанное о точке зрения.

Иллюзионизму противопоставляется реализм. Реальность не дается уединенному в «здесь» и «теперь» точечному сознанию. Закон тождества, применяется ли он в зрении (перспектива) или в слухе (отвлеченность) уничтожает бытийственные связи и ввергает в самозамкнутость. Реальность дается лишь жизни, жизненному отношению к бытию, а жизнь есть непрестанное ниспровержение отвлеченного себе — тождества, непрестанное умирание единства, чтобы прозябнуть в соборности. Живя, мы соборujemy сами с собой — и в пространстве и во времени, как целостный организм, собираемся воедино из отдельных взаимоисключающих — по закону тождества — элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр. и пр. Подобно мы собираемся в семью, в род, в народ и т. д., соборуюсь до человечества и включая в единство человечности весь мир. Но каждый акт соборования есть вместе с тем и собирание точек зрения и центров схемо-построения. То, что называется обратной перспективой, вполне соответствует диалектике. Одно — в области зрения, другое — в области слуха, но по существу и то и другое есть синтез, осуществляемый движением, жизнью. Отвлеченной неподвижности иллюзионизма противопоставляется жизненное отношение к реальности. Так создаваемые символы реальности непрестанно искрятся многообразием жизненных отношений: они по существу соборны. Такие символы, проходя от меня, — не мои, а человечества, объективно-сущие. И если в иллюзионизме объективный двигатель в возможности сказать о произведении культуры «мое», хотя бы на самом деле оно было весьма компиляторским, т. е. награбленным, то при реалистическом мироощущении побуждает созидать именно возможность сказать о созданном «не мое», «объективно сущее». Изобрести — стремление иллюзионизма, обрести — реализма — обрести как вечное в бытии.

Но изобретение, поскольку оно в самом деле таково, предполагает замкнутие в субъективность: напротив, обретение требует усилия, направленного на бытие. Реалистическое отношение к

миру по самому существу дела есть отношение трудовое: это жизнь в мире. Иллюзионистическое миропонимание пассивно, да оно и не может быть активным, коль скоро при нем не ощущается реальности, тогда как реалистическое твердо знает, что реальность должна быть активно усваиваема трудом.

Именно потому, что нас окружают не призрачные мечты, которые перестраивались бы по нашей прихоти, бессильные и бескровные, а реальность, имеющая свою жизнь и свои отношения к прочим реальностям, именно потому она вязка и требует с нашей стороны усилия, чтобы были завязаны с нею новые связи, чтобы были прорыты в ней новые протоки. Это — символы. Они суть органы нашего общения с реальностью. Ими и посредством их мы соприкасаемся с тем, что было отрезано до сих пор от нашего сознания. Изображением мы видим реальность, а именем — слышим ее; символы — это отверстия, пробитые в нашей субъективности. Так что же удивительного, если они, явления нам реальности, не подчиняются законам субъективности? И не было бы удивительным противоположное? Символы не укладываются на плоскости рассудка, структура их насквозь антиномична. Но эта антиномичность есть не возражение против них, а напротив — залог их истинности. Иллюзионистическое, вне-жизненное, пассивное мировоззрение искало во что бы то ни стало отвлеченного единства, и это единство выражало самую суть возрожденческого нигилизма. Не следует ли отсюда, что миро-действие реалистическое, на жизнь направленное и трудовое, должно отправляться от существенного признания соборной множественности в самых органах нашего отношения к бытию?

II

Возрожденское мироощущение, помещая человека в онтологическую пустоту, тем самым обрекает на пассивность, и в этой пассивности образ мира, равно как и сам человек, распадается и рассыпается на взаимно-исключающие точки-мгновения. Таково его действие по его сути. Но было бы ошибкой считать это разложение целого только теоретической угрозой, — пределом, никогда не достигаемым исторически. Опасность, когда-то казавшаяся неопределенно далекой, уже вплотную подступила к культуре; и не в силу отвлеченных соображений приходится пересматривать курс недавней культуры, а под натиском самой жизни: мы, как члены человеческого рода, как личности, уже не в состоянии жить среди

продуктов самоотравления возрожденской культуры. Мы фактически уже восстаем против нее, не кто-либо один, а многие, большинство. Когда физик или биолог, или химик, даже психолог, философ и богослов читают с кафедры одно, пишут в научных докладах другое, а дома, в своей семье, с друзьями, чувствуют, вступая в противоречие с существенными предпосылками своей собственной мысли, то не значит ли это, что личность каждого из них разделилась на несколько исключаящих друг друга? А беря более глубоко, мы легко усмотрим ту же внутреннюю несвязность и в пределах лекций, и в пределах диссертаций, и жизнечувствия. Личность рассыпается, утверждая отвлеченное единство всей своей деятельности. Но это не соборность, не синтез, не творческое объединение, а разложение, механическая смесь — словом, не жизнь, а смерть. И опять — не от злой воли того или другого деятеля культуры, а необходимое последствие самого хода ее.

Уже давно-давно, вероятно, с XVI-го века мы перестали схватывать целое культуры, как свою собственную жизнь; уже давно личность, за исключением очень немногих, не может подняться к высотам культуры, не терпя при этом величайшего ущерба. Да, уже давно попытка обогатиться покупается жертвою цельной личности. Жизнь разошлась в разных направлениях, и идти по ним не дано: необходимо выбирать. А далее, каждое направление жизни расщепилось на специальности отдельных культурных деятельностей, вслед за чем произошло раздробление и их на отдельные дисциплины и узкие отрасли. Но и эти последние, естественно, должны были подвергнуться дальнейшему делению. Отдельные вопросы науки, отдельные понятия в области теоретической вполне соответствуют той же крайней специализации в искусстве, в технике, в общественности. И если нередко слышится негодование на механизацию фабричного труда, где каждому работнику достается лишь ничтожная часть какого-нибудь механизма, конструкции, и может быть назначения которого он не понимает и которым во всяком случае не пользуется, то сравнительно с этой специализацией рук, насколько более вредной и духовно разрушительной должна быть оцениваема специализация ума и вообще душевной деятельности?

Содержание науки чужой специальности давно уже стало недоступным не только просто культурному человеку, но и специалисту-соседу. Однако и специалисту той же науки отдельная дисциплина ее недоступна. Если специалист-математик, беря в руки вновь полученную книжку специального журнала, не находит,

что прочесть в ней, потому что с первого же слова ничего не понимает ни в одной статье, то не есть ли это [сдвиг] самого курса нашей цивилизации? Культура есть среда, растящая и питающая личность, но если личность в этой среде голодает и задыхается, то не свидетельствует ли такое положение вещей о каком-то коренном «не так» культурной жизни? Культура есть язык, объединяющий человечество; но разве не находимся мы в Вавилонском смешении языков, когда никто никого не понимает, и каждая речь служит только чтобы окончательно удостоверить и закрепить взаимное отчуждение? Мало того, что отчуждение закрадывается в самое единство отдельной личности: себя самое личность не понимает, с самою собою утратила возможность общения, раздираясь между взаимоисключающими и самоутверждающимися в своей исключительности «точками зрения». Отвлеченные схемы, они же перспективные единства, перспективы, если допустить такой неологизм, вытеснили из жизни личность, и ей приходится незаконно ютиться где-то на задворках, работая на цивилизацию, ее губящую и ее же порабощающую.

Но человек не может быть порабощаем окончательно. Настанет день, и он свергнет иго возрожденской цивилизации, даже со всеми выгодами ею доставленными. Близок час глубочайшего переворота в самых основах культурного строительства. Подземные удары землетрясения слышались уже не раз на протяжении последнего столетия: Гете, Рескин, Толстой, Ницше, сейчас Шпенглер, да и многие другие уже предостерегали о катастрофических силах, и не изданием «полного собрания сочинений» и продажей открыток-портретов обезвредить грозный смысл их обличений и предвещаний. Здание культуры духовно опустело. Можно продолжать строить его, и оно еще будет строиться. История претерпевает величайшие сдвиги не под ударами многопудовых зарядов, а от иронической улыбки. И не по бенгальским огням и [fortissimo] оркестра узнается конец исторического эона, а по обращенности глаз более зорких в противоположную от наличной культуры сторону горизонта. Споры, борьба и гонения указывают на какую-то историческую нужность оспариваемого. Но наступает час, когда не спорят, тогда может быть даже оценивают тонкость разработки выдохшейся цивилизации. Но сказано короткое слово «не надо», и им все решается. Дальнейшее же есть естественное разрушение оставленного дома. Схоластика пала не тогда, когда восставали против нее и спорили с нею, напротив, эта борьба была залогом жизненности. Но в известный момент, без спора,

без упреков, без гнева, Декарт попросту махнул на нее рукой и пошел своим путем. Это-то небрежное мановение и было роковым: схоластика кончилась, и началось новое философское мировоззрение. Так вот, я здесь хочу сказать, что мы-то еще спорим против возрождения, мы-то еще критикуем его предпосылки и сложившуюся из них культуру. И, вероятно, это — последние споры. А потом те, кто будут за ними, ничего не отрицая, нисколько не возражая против тонкости научных дистинкций и разработанности художественных приемов и т. д. и т. д., скажут роковое «не надо», и вся сложная система обездушенной цивилизации пойдет разваливаться, как развалилась схоластика империи. Это не значит, чтобы разваливающееся в своем роде было несовершенно и не решало той или другой поставленной ему задачи. Трудно себе представить, чтобы большое историческое явление, складывавшееся веками, не было по-своему целесообразным, когда культура есть существенно деятельность по целям. Но самая задача, решению которой служит данное явление, может оказаться как ненужная или во всяком случае не окупающая усилий, которые тратятся на ее решение. И тогда человечество отказывается от поставленной задачи и средств к ее разрешению. Так домохозяин бросает изветшавший дом, ремонт которого поглощает все доходы и который своим обитателям предоставляет взамен много, но уютных и почти нежилых комнат. Семья предпочитает выселиться в небольшой, но приспособленный к жизни домик, а большой дом разрушается ускоренным ходом, пока его не повалит какое-нибудь стихийное бедствие. Цивилизация нашего нового времени есть именно такой дом, поглощающий все силы и заставляющий жить для себя, вместо того, чтобы облегчать жизнь. Человек надсаживается над работой для культуры, не получая взамен ничего, кроме горького сознания своего одиночества, обеднения и раздробления. И наконец, он примет решение и, собрав свои пожитки, переселится на сторону, чтобы зажить с меньшими притязаниями на блеск, но сообразно настоящим потребностям семьи. Может быть и нужный когда-то, когда наука льстила себя надеждой быть метафизикой мира, — известный уклад мысли впоследствии потерял свой смысл, коль скоро пришлось сознаться, что дело ограничивается лишь построением схем. Между тем этот уклад мысли, всегда не соответствовавший внутренним потребностям человека, все более проявлял свою неуютность по мере своего роста; и все несоизмеримее делалось научное миропонимание с человеческим духом, не только качественно, по содержанию своих высказыва-

ний, но и количественно, по нехватимости их индивидуальными силами. Наука хотела заменить собою то, в чем ищет себе удовлетворения личность; а в итоге стараний была сооружена огромная машина, к которой не знаешь как подступиться. Тут не может быть и речи об удовлетворении: это как если бы построили дом в десятки квадратных верст длиной, верстами меряющий высоту комнат и соответственно обставленный. Едва ли была нам польза от стаканов в сотни ведер емкостью, ручек с корабельную мачту, стульев высотой с колокольню, и дверей, которые мы сумели открывать только при помощи колоссальных инженерных сооружений в течение, может быть, годов. Так и научное мировоззрение и качественно и количественно утратило тот основной масштаб, которым определяются все прочие наши масштабы: самого человека. Конечно, в нетрудовом миропонимании можно отвлекаться от чего угодно и воображать себе все, что угодно, приписывая к любой характеристике любое число нулей. Но ведь эта возможность опирается на жизненную безответственность такого мыслителя, он заранее уверен, что его построения не придется проверять жизнью, и потому фантастичность их не будет изобличена подлинными потребностями живого человека. Такому мыслителю нет дела до мира; выхватив облюбованный кусочек жизни, он ведет себе свою линию куда-то в сторону от жизни и, естественно, не получает окрика в той пустоте субъективности, куда он устремился. Он сам по себе. Но, став только таким, мысленно уйдя от человечества, он становится и вне себя, вне себя самого: ибо как человек не может же он уйти от человеческой природы, а следовательно от связи с человечеством. Но эта бесчеловечная субъективность, по какому-то странному недоразумению себя объявляющая объективностью (себя!), вносит в мыслителя раздвоенность сознания и, как мыслитель, он думает и говорит как человек. С кафедры он отрицает тот масштаб, которым одним только он измеряет жизнь на самом деле и который дает ему жизненные силы также и для деятельности на той же кафедре.

Современный человек ведет двойную бухгалтерию. Она имела еще некоторый смысл, пока подразумевалось позднее-средневековое учение о двойной истине, и людям верилось в науку как в истину. Но именно последнее разрушено до основания кантианством, позитивизмом, феноменологием, эмпирио-монизмом, прагматизмом и прочими самооценками научной мысли. Она не есть истина и не притязает быть таковой, она хочет быть удобством и пользой. Если бы истина, хотя бы самая суровая, уничтожающая меня

и мои масштабы — то я человек, вынужден смириться и смиряюсь. Но мне возвещают, чтобы на истину я не смел и надеяться. Так польза и удобство? ... — ну, тогда уж позвольте мне, человеку, судить самому, что мне полезно и что мне удобно. И, пожалуйста, не благодетельствуйте меня удобствами насильно. Может быть, ваш сказочный дом для великанов и был бы удобен им, это их дело. Но в действительной жизни мне и моим близким, — а близкие мне по человечеству все люди, — это жилище совсем не подходит, и кому же знать о том, удобно мне что-либо или неудобно, как не мне самому. Наука, изгнанная своими сторонниками с трона истинности и все продолжающая придворный этикет истинности, либо смешна, либо вредна. Я же, человек, со своей стороны решительно не вижу оснований мучить себя китайскими церемониями, которые и объявляются-то условными и по существу познавательно ничего не дающими; даже изучить их нет у меня ни времени, ни сил, тем более, что жизнь ведь не ждет и требует к себе внимания и усилия. А жизнь пережить — ведь не поле перейти. И вот, в итоге, я, человек, скажем 40-х годов двадцатого века, не беру на себя обузы входить в ваши нетрудовые контроверзы, делать какие-то выборы и усовершенствования. Может быть, ваши построения по своему великолепны, как был великолепен в свое время и этикет при дворе Короля-Солнца. Но что мне до того — и до ваших тонкостей, и до версальских. Мое дело маленькое, моя короткая жизнь и мой человеческий масштаб; и я без раздражения и гнева, силою вещей, силою запросов жизни, сознав жизненную ответственность, просто отхожу от жизни — от жизни-забавы, и живу по-своему. Кое-что, разумеется, остается в моем хозяйстве, может быть, даже будет усвоено им; но большая часть этой цивилизации, коль скоро разрушена система, само собою в небольшое число поколений забудется или останется в виде пережитков, может быть, ритуального характера, но ни к чему не обязывающих — как какой-нибудь брудершафт, пережиток причащения кровью друг друга. Но основное русло жизни пойдет помимо того, что считалось еще так недавно заветным сокровищем цивилизации. Была же когда-то сложнейшая и пышно разработанная система магического миропонимания, и тонкостью отделки своей она не уступила бы ни схоластике, ни сциентизму, и была действительно великолепная система китайских церемоний, как и не менее великолепный талмудизм. Люди учились и мучились целую жизнь, сдавали экзамены, получали ученые степени, прославлялись и кичились... а потом обломки древне-вавилонской магии ютятся в гру-

бой избе у полунормальной знахарки и т. д. Даже большие знатоки древности лишь смутно-смутно нащупывают некоторые отдельные линии этих великих построений, но уже не сознавая их внутреннего смысла и ценности, хотя не исключена и возможность, что где-нибудь и когда-нибудь эти построения восстановятся.

Но ныне светом и молвой
Они забыты...

Таково же и будущее возрожденской науки, но более суровое, более беспощадное, поскольку и сама она была беспощадна к человеку.

.....

**РЕЧЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЕ КЛИШЕ»
СОЮЗА ИТАЛЬЯНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ**

31 мая 1974 г.

Ознакомясь с принципами, согласно которым Ваша премия присуждается Союзом итальянских журналистов уже 11-й год и вот сегодня мне, я, разумеется, не только выражаю Вам благодарность, но не свободен и от чувства гордости, видя столь достойных и мужественных людей в числе моих предшественников, в том числе — совокупно всю пражскую молодежь 1968 года.

Те, кто передают сегодня эту премию, и тот, кто ее сегодня получает, прожили свою жизнь как будто в разных половинах планеты, разных мирах, разных системах, о которых говорят, что они разделены пропастью, во всем противоположны и исключают друг друга. Однако, если бы это было так, то не нашлось бы между нами единых ценностей, которые подали бы вам мысль присудить мне эту премию. А если такие ценности нашлись, то, быть может, мы можем выработать и общий взгляд на происходящее в сегодняшнем мире и даже открыть друг во друге сходное направление наших чаяний и усилий.

Примитивное разделение мира на две системы является суждением политическим, а значит весьма посредственного уровня. Все вообще политические приёмы есть операции с готовыми нравственными (или безнравственными) данностями, лежат на невысоком уровне человеческого сознания и бытия, обрываются и меняются за короткие периоды, при каждой смене ситуации. Страстными политическими ярлыками мы больше вводимся в заблуждение, чем внимаем в состояние сегодняшнего мира. Если же мы хотим охватить истинную суть положения человечества сегодня, степень безнадежности его и степень надежды, — а пресса в своих высших задачах тоже не может не иметь в виду этой цели, — нам не избежать подняться много выше, чем политические характеристики, формулировки и рецепты.

И тогда мы увидим, быть может, хотя это не окажется более отраднo, что главная опасность не в том, что мир расколот на две альтернативные социальные системы, а в том, что обе системы поражены пороком и даже о б щ и м, и потому ни одна из систем при ее нынешнем миропонимании не обещает здорового выхода. Черезo все случайности конкретного развития отдельных стран и за несколько веков этот порок органически пророс в современное человечество, и на большой дистанции мы можем его проследить.

Мы, — все мы, всё цивилизованное человечество, посаженные на одну и ту же жёстко связанную карусель, совершили долгий орбитальный путь. Как детишки на карусельных конях, он казался нам нескончаемым — и всё вперед, всё вперед, нисколько ни вбок, ни вкривь. Этот орбитальный путь был: Возрождение — Реформация — Просвещение — физические кровопролитные революции — демократические общества — социалистические попытки. Этот путь не мог не совершиться, коль скоро Средние Века когда-то исчерпали себя, стали невыносимы оттого, что построение Царства Божьего на Земле внедрялось неограниченно-насильственно, с деспотическим подавлением личности, отобранием ее существенных прав в пользу Целого. Нас тянули, гнали в Дух — насилием, и мы естественно отринулись, рванули, нырнули в Материю. Так началась долгая эпоха гуманистического индивидуализма, так начала строиться цивилизация на принципе: человек — мера всех вещей и человек превыше всего.

Весь этот неизбежный путь весьма обогатил опыт человечества, но вот на наших глазах и он подошел к исчерпанию: ошибки в основных положениях, не оцененные в начале пути, ныне мстят за себя. Поставив человека высшею мерой всех вещей — несовершенного человека, никогда не свободного от корыстолюбия, самолюбия, зависти, тщеславия, и отдавшись Материи неумеренно, несдержанно, — мы пришли к засорению, к избытию мусора, мы тонем в земном мусоре, этот мусор заполняет, забивает все сферы нашего бытия. В сфере м а т е р и а л ь н о й этот мусор уже всем слишком заметен, он отравил воздух, воду, освоенную часть земной поверхности, уже захламляет и неосвоенную; он так же безобразно награбил наши могучие производственные усилия, как в жизни отдельных людей повседневно самые заманчивые рекламы, упаковки и пластмассы обращаются в избыточный мусор городской. Но и в сфере так называемой д у х о в н о й этот мусор забивает нас, давит нас — тяжелыми объемами, не

могущими вместиться в наши глаза, уши, груди, втолакиванием звонких всеобщих как будто всем ясных, а на деле беспомощных плоских идей, ложной наукой, жеманным искусством, — всем, что не знает над собою ответственности выше, чем Человек, то есть ты, я и люди по нашей склонности. Гремливая цивилизация совершенно лишила нас сосредоточенной внутренней жизни, вытасила наши души на базар — партийный или коммерческий. В сфере с о ц и а л ь н о й наш многовековой путь привел нас в одних случаях на край анархии, в других — к стабильной деспотии. Между этими двумя грозными исходами на наших глазах становятся немощными, бесправными одно за другим демократические правительства — оттого, что малые и большие соединения людей не желают самоограничиться в пользу Целого. Это понимание, что д о л ж н о ж е б ы т ь нечто Целое, Высшее, где-то разроненное нами, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности, — это понимание чутко сторожится современными жестокими тираниями и вовремя выставляется под названием Социализма. Но — обман вывески, неисследованность термина: полстолетия достаточно показали, что и т а м мы массами унавоживаем благоденствие малых групп людей — и притом самых ничтожных, мусорных.

Оттого и орбитален оказался путь, что из власти насилия вырвались мы и во власть насилия вернулись — еще не все пока, но скоро грозит и всем, при общей болезни ослабнувшей воли и потерянной перспективы.

А если сохраняем мы волю не дать так унижительно замкнуть эту орбиту, то должны мы найти в себе силу теперь пересмотреть фундаментальные определения жизни человека и человеческого общества: действительно ли превыше всего человек и нет над ним Высшего Духа? верно ли, что жизнь человека и деятельность общества должны более всего определяться материальной экспансией? допустимо ли развивать ее в ущерб нашей целостной внутренней жизни?

Как нам видится, цивилизованное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания) по значению такому же, как от Средних Веков к Новому Времени, — если только по беспечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота. Именно Ваша страна, Италия, была некогда первой страной мира, приоткрывшей нам прежний исторический поворот. Быть может теперь Вы из первых же и ощущаете бездны нашего нынешнего положения и, по Вашей чуткости, поможете

нам найти те формы, которые облегчили бы нам перейти на орбиту более высокого уровня, на которой не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее Время, растоптана наша духовная.

По угрожающим темпам нынешней жизни — времени на осмысление и осуществление этого поворота у нас остаётся несравненно меньше, чем отпускалось его в неторопливом теченье XIV или XVI веков. А при всём кровавом опыте минувших столетий — и самый выбор ф о р м преобразования должен быть тоньше и выше: мы научились уже, что физическим сотрясением государств, что насильственными переворотами открывается путь не в светлое будущее, а в худшую гибель, в худшее насилие. Что если и суждены нам впереди революции спасительные, то они должны быть революциями н р а в с т в е н н ы м и, то есть неким новым феноменом, который нам предстоит еще открыть, разглядеть и осуществить.

А. Солженицын

Литература и жизнь

Начиная с этого номера, в Вестнике РСХД будет печататься по одному неизданному отрывку из романов Солженицына.

Из текста полной редакции (96 глав) романа

«В Круге первом».

А. СОЛЖЕНИЦЫН

44.

НА ПРОСТОРЕ

До прошлого года Нара со своим Иннокентием были для семьи Макарыгиных какими-то заморскими нереальными родственниками. В год недельку они мелькали в Москве да к праздникам присылали подарки. Старшего зятя, знаменитого Галахова, Клара привычно называла Колей и на „ты“, а Иннокентия стеснялась, сбивалась.

Прошлым летом они приехали надолго, стала часто Нара бывать у родных и жаловаться приёмной матери на мужа, на порчу и затмение их семейной жизни, до тех пор такой счастливой. С Алевтиной Никаноровной они долгие вели об этом разговоры, Клара не всегда была дома, но если была, то открыто или притаённо слушала, не могла и не хотела уклониться. Ведь самая главная загадка жизни эта и была: отчего любят и отчего не любят?

Сестра рассказывала о многих мелких случаях их жизни, разногласиях, столкновениях, подозрениях, также о служебных просчётах Иннокентия, что он переменялся, стал пренебрегать мнением важных лиц, а это сказывается и на их материальном положении, Нара должна себя ограничивать. По рассказам сестры она оказывалась во всем права, и во всем неправ муж. Но Клара сделала для себя противоположный вывод: что Нара не умела ценить своего

счастья; что пожалуй она сейчас Иннокентия не любила, а любила себя; она любила не работу его, а свое положение в связи с его работой; не взгляды и пристрастия его, пусть изменившиеся, а свое владение им, утвержденное в глазах всех. Клару удивляло, что главные обиды ее были не на подозреваемые измены мужа, а на то, что он в обществе других дам недостаточно подчеркивал ее особое значение и важность для себя.

Неволею младшей незамужней сестры мысленно примеряя себя к положению старшей, Клара уверилась, что она бы себя так ни за что не вела. Как же можно удовлетворяться чем-то, отдельным от его счастья?... Тут еще запутывалось и обострялось, что не было у них детей.

После того радостного откровения на лестнице стало так просто между ними, что хотелось видиться еще, обязательно. И, главное, много вопросов набралось у Клары, на которые вот Иннокентий мог бы и ответить!

Однако присутствие Нары или другого кого-нибудь из семьи почему-то мешало бы этому.

И когда в тех же днях Иннокентий вдруг предложил ей съездить на денек за город, она толчком сердца сразу же согласилась, еще и подумать, еще и понять не успев.

— Только не хочется никаких усадеб, музеев, знаменитых развалин, — слабо улыбался Иннокентий.

— Я тоже не люблю! — определенно отвела Клара.

Оттого что Клара знала теперь его невзгоды, его вялая улыбка сжимала ее сочувствием.

— Обалдеешь от этих Франций, — извинялся он, — хоть по России простенькой побродить. Найдем такую, а?

— Попробуем! — энергично кивнула Клара. — Найдем!

Всё-таки прямо не договорились — втроем или вдвоем они едут.

Но назначил ей Иннокентий будний день и Киевский вокзал, без звонка домой, без заезда сюда, на Калужскую. И из этого ясно стало не только, что — вдвоем, но и родителям, пожалуй знать не нужно.

По отношению к сестре Клара чувствовала себя вполне вправе на эту поездку. Даже если бы они прекрасно жили — это был законный родственный налог. А так, как жили они — была виновата Нара.

Может, самый замечательный день жизни предстоял сегодня Кларе — но и самые мучительные приготовления: как же одеться?! Если верить подругам, ей не шел ни один цвет — но какой-то цвет надо же выбрать! Она надела коричневое платье, плащ взяла голубой. А больше всего промучилась с вуалеткой — два часа накануне примеряла и снимала, примеряла и снимала... Ведь есть же счастливицы, кто сразу могут решить. Кларе отчаянно нравились вуалетки, особенно в кино: они делают женщину загадочной, поднимают ее выше критического разглядывания. Но всё ж она отказалась: Иннокентию надоели всякие французские выдумки, да и будет солнечный день. А черные сетчатые перчатки всё же надела, сетчатые перчатки очень красиво.

Им сразу попался дальний малоярославецкий поезд, паровичок, вот и хорошо, они билеты взяли до конца на всякий случай, плана у них не было и станций они не знали.

До того не знали, что оба вздрогнули, когда соседи назвали станцию *Н а р а*! Иннокентий, если бы знал, может выбрал бы другой вокзал? А Клара совсем забыла.

И еще много раз в пути повторяли эту *Нару*. Так и висела над ними...

Августовское утро было прохладное. Они встретились оба бодрые, веселые. Сразу установился разговор несвязный, оживленный, только несколько раз ошибались оба на „вы“, и тут же смеялись, и от этого еще проще становилось.

Иннокентий был весь во французском, полуспортивном, что ли, а таскал и мял с такой небрежностью, как костюм из „рабочей одежды“.

Хотя целый день был впереди, но Клара кинулась его расспрашивать, сбивчиво — то о Европе, то — как понимать нашу жизнь. Она сама точно не знала, чего хотела, что именно нужно ей понять. Но что-то нужно было! Ей искренне хотелось поумнеть! Ей так необходимо было разобраться!

Иннокентий шутливо крутил головой:

— Вы думаете... ты думаешь, я сам что-нибудь понимаю?

— Но вы же дипломаты, вы нас всех ведете — и вдруг ничего не понимаете?

— Да нет, все мои коллеги понимают, это только я ничего не понимаю. И даже я всё понимал примерно до прошлого, до позавчерашнего года.

— Что же случилось?

— И вот этого — тоже не понимаю, — смеялся Иннокентий. — И потом, Кларочка, всякое объяснение неизвестно откуда начинать, оно же тянется от дальних-дальних азов. Вот сейчас из-под лавки вылезет пещерный человек и попросит объяснить ему за пять минут, как электричеством ходят поезда. Ну, как ему объяснишь? Сперва вообще пойдешь научиться грамоте. Потом — арифметике, алгебре, черчению, электротехнике... Чему там еще?

— Ну, не знаю... магнетизму...

— Вот, и ты не знаешь, а на последнем курсе! А потом, мол, приходи, через пятнадцать лет, я тебе всё за пять минут и объясню, да ты и сам уже будешь знать.

— Ну, хорошо, я готова учиться, но где учиться? С чего начинать?

— Ну... хоть с наших газет.

По вагону шел с кожаной сумкой и продавал газеты, журналы. Иннокентий купил у него „Правду“.

Еще при посадке, понимая, что разговор у них может быть особенный, Клара направила спутника занять неудобную двухместную скамью у двери: Иннокентий не понимал, но только здесь можно было говорить посвободней.

— Ну, давай учиться читать, — развернул газету Иннокентий. — Вот заголовок: „Женщины полны трудового энтузиазма и перевыполняют нормы“. Подумай: а зачем им эти нормы? Что у них, дома дела нет? Это значит: соединённой зарплаты мужа и жены не хватает на семью. А должно хватать — одной мужской.

— Во Франции так?

— Везде так. Вот дальше, смотри: „во всех капиталистических странах, вместе взятых, нет столько детских садов, сколько у нас“. Правда? Да, наверно, правда. Только не объяснена самая малость: во всех странах матери свободны, воспитывают детей сами, и детские сады им не нужны.

Дребезжали. Ехали. Останавливались.

Иннокентий без труда находил, пальцем ей показывал, а при грохоте объяснял к уху:

— Бери дальше, самые ничтожные заметки: „Член французского парламента имя рек заявил...“ и дальше о ненависти французского народа к американцам. Сказал так? Да, наверно, сказал, мы правду пишем! Только пропущено: от какой партии член парламента? Если он не коммунист, так об этом бы непременно написали, тем ценней его высказывание! Значит, коммунист. Но — не написано! И так всё, Клярэт. Напишут о небывалых снежных заносах, тысячи автомашин под снегом, вот народное бедствие! А хитрость в том, что автомобили такие дешевые, что для них даже гаражей не строят... Всё это — свобода ОТ информации. Это проходит и в спорт, пожалуйста: „встреча принесла заслуженную победу...“, дальше не читай, ясно: нашему. „Судейская коллегия неожиданно для зрителей признала победителем...“ — ясно: не нашего.

Иннокентий оглянулся, куда выбросить газету. И этого не понимал, какой это заграничный жест! И так уж на них оглядывались. Клара отняла газету и держала.

— Вообще, спорт — опиум для народа, — заключил Иннокентий.

Это было неожиданно и очень обидно. И совсем неубедительно звучало у такого некрепкого человека.

— Я — в теннис много играю и очень его люблю! — трянула головой Клара.

— Играть — ничего, — сразу исправился Иннокентий. — Страшно — на зрелища кидаться. Спортивными зрелищами, футболом да хоккеем из нас и делают дураков.

Дребезжали. Ехали. Смотрели в окно.

— Значит, у н и х — хорошо? — спросила Клара. — Лучше?

— Лучше, — кивнул Иннокентий. — Но не хорошо. Это разные вещи.

— Чего ж не хватает?

Иннокентий серьёзно на нее посмотрел. Того первого оживления не стало в нем, очень спокойно смотрел.

— Не знаю. Сам удивляюсь. Чего-то нет.

А Кларе так с ним было хорошо, по-человечески хорошо, не от какой-нибудь игры прикосновений, пожатий или тона, их не было, — и хотелось отблагодарить, чтоб ему тоже было хорошо, крепче.

— У вас... у тебя такая интересная работа, — утешала она.

— У меня? — поразился Иннокентий, и притом, что он был худ, еще впали его щеки, он показался замученным, будто недоедающим. — Служить нашим дипломатом, Клэрочка, это иметь две стенки в груди. Два лба в голове. Две разных памяти.

Больше не пояснял. Вздохнул, смотрел в окно.

А понимала ли это его жена? А чем она его укрепила, утешила?

Клара всматривалась и обнаружила такую особенность его лица: отдельно верх его лица выглядел довольно жестко, отдельно низ — мягко. От лба, свободно развернутого от уха к уху, лицо косыми линиями сужалось и смягчалось к небольшому нежному рту. Около рта было много мягкости, даже беспомощности.

Разгорался день, весело мелькали леса, много лесу было по дороге.

Чем дальше шел поезд, тем проще оставалась публика в вагоне и тем заметнее среди всех — они оба, будто разряженные для сцены. Клара сняла перчатки.

На лесном полустанке они выскочили. Кроме них еще несколько баб с городскими продуктами в сумках вышли из соседнего выгона, больше никого не осталось на перроне.

Молодые люди собирались в лес. И по ту и по другую сторону тут был лес, правда густой, темный, некрасивый. Но как только поезд убрал хвост, бабы дружной кучкой все вместе уверенно подались деревянным переходом через рельсы и куда-то правее леса. И Клара с Иннокентием тоже пошли за ними.

Травы и цветы сразу за линией стояли по плечо. Потом тропка ныряла сквозь несколько рядов березовой посадки. Там дальше было выкошено, стожок, а на подросте травы паслась и не паслась задумчивая коза, привязанная длинной веревкой к колышку. Теперь налево лес распахивался, но бабы бойко сыпали правей, прямо на солнце, где еще за рядами кустов открывался обширный простор.

И молодые люди согласно решили, что в лес — успеется, а вот в этот сияющий простор непременно им надо сейчас же идти.

Туда выводила полевая дорога — плотная, травяная.

От нее ближе к линии золотилось хлебное поле — тяжелые колосья на коротких крепких стеблях, а что за хлеб — они не знали, но на красоту поля это не влияло. По другую же сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла голая запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, другие суше — и на таком большом пространстве ничего не росло.

Их полустанок был в углу, теперь только они выходили на этот простор — такой объемный, что никак его нельзя было в два глаза убрать, не повернув несколько раз головы. И далеко вокруг и тут за линией сразу, всё обмыкалось лесом сплошным с мелко зазубристым издали верхом.

Вот кажется этого они и хотели, не зная, не задавшись! Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долготой простора, куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности темнокирпичная церковь с колокольной. И еще бабы удалялись впереди, а больше на всем просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни брошенной косилки, никого, ничего — теплое гульбище ветра и солнца да пространство рыскающих птиц.

В две минуты ничего не осталось от их делового тона и забот.

— Так это — Россия? Вот это и есть — Россия? — счастливо спрашивал Иннокентий и жмурился, разглядывая простор, останавливался, смотрел на Клару. — Слушай, я ведь представляю Россию, но я ведь её не-пред-став-ляю! — каламбурил он. — Я никогда по ней вот так просто не ходил, только самолеты, поезда, столицы...

Он взял ее вытянутой рукой, пальцы за пальцы, как берутся дети или очень близкие люди. И так они побрели, меньше всего глядя под ноги. В крайних, свободных, руках помахивались у него шляпа, у нее сумочка.

— Слушай, сестра! — говорил он. — Как хорошо, что мы пошли сюда, а не в лес. Вот именно этого мне в жизни не хватает: чтоб во все стороны было видно. И чтоб дышалось легко!

— А тебе — неужели не видно? — Его жалоба так тронула ее — свои бы глаза она предложила, если б это могло помочь.

— Нет, — начал он, — нет. Было когда-то видно, а сейчас всё запуталось.

Что запуталось? Если уж так запуталось, то это не в убеждениях только, это обязательно и в семье. И если б он еще немножко добавил, Клара посмела бы тогда вмешаться, и открыла бы, как она за него, и как он прав, и не надо отчаиваться!

— Так надо бывает поговорить! — отзывалась она.

Но он на том и кончил. Он уже смолк.

Жарчело. Сняли плащи.

Никто больше не появлялся во всем окоёме, не встречался, не обгонял. За посадкой изредка протягивались поезда, шумели — а будто беззвучно, только дымок в движении.

Удалявшиеся бабы давно свернули с этой дороги и теперь уже были в центре простора, плохо видны против солнца. Дошли до того поворота и Иннокентий с Кларой: по мягкому полю шла утоптанная (на солнце светлей) тропочка, чуть ныряя на тракторных бороздах. Вкось больших плановых полей протаптывали людишки свои мелюзговые потребности.

Тропа шла к той деревне с церковью, но еще раньше в середине простора она подходила к удивительно тесной, особой кучке деревьев. Куча стояла посреди полей, далеко отступя от всякого леса, и от деревни изрядно — странная бодрая свежая куча крутых высоких деревьев. Она узкая была, но украшала собой весь простор, она была его центр. Что ж это могло быть? Отчего и зачем среди полей?

Свернули туда и они.

Руки их разъединились. Тропа была на одного. Теперь он шел позади Клары.

О н... Идет позади и смотрит тебе в спину. Рассматривает тебя. То ли муж твоей сестры. То ли брат тебе. То ли...

Теперь, чтобы говорить, Кларе надо было останавливаться и оглядываться:

— А как ты будешь меня звать? Не зови „Клярэт“.

— Не буду. Да я ж тебя не знал. Вообще на Западе так сокращают, чтоб два-три звука, не больше.

— Я буду тебя „Инк“ звать, ладно?

— Ладно. Очень хорошо.

— Тебя так никто не зовет?

Нет, простор был не совсем ровный, он незаметно спадал налево, куда они шли. Местность полого разваливалась, а к той куче деревьев поднималась опять.

Теперь уже видно было, что это — березы, и старые, большие, посаженные обводным прямоугольником ровно, а в середине еще. Как удивительно стояла эта куча, ни к чему не относясь, сама по себе.

— А у тебя когда это всё началось? — спрашивала Клара.

Что — э т о? Тут много вкладывалось.

Но он не затруднился:

— Наверно, знаешь когда? Когда я стал разбирать машины шкафы. Нет, может быть и раньше, может и за целый год раньше, а всё-таки, когда я стал разбирать шкафы.

— Это уже после смерти?

— Намного после смерти, намного. Да не так давно. Я ведь... Вот и этого никому не расскажешь, Дотти этого не принимает или не понимает...

(А я пойму!.. Больше, больше о Дотти, мы так разговоримся сейчас! Тебе будет легко!..)

— ...Я ведь очень плохой был сын, Кларонька. Я ведь при жизни маму по-настоящему никогда не любил. Я ведь во время войны из Сирии даже на ее похороны... Слушай, а это не кладбище?

Остановились. И вздрогнули, хотя было жарко. Сразу поняли: да, кладбище! И как же они раньше...? Ничем другим и быть не могла эта отдельная среди рабочих полей неприкосновенная сеня.

Хотя еще не было видно крестов, ни могил. Они еще переходили дно разлога, перескакивали через мокредь (Иннокентий прыгнул хуже Клары, угодил одним ботинком в грязное, но она не подавала ему руки на перепрыг, чтобы не обидеть.) Еще поднимались, и неожиданно круто.

Ни оградой, ни заборными столбами, ни канавой, ни валом, — ничем не было кладбище обведено, только стояли по ровну эти старые березы, соединяясь в верхах, а земля поля ровно и открыто, как воздух в воздух, переходила в густую славную мураву, без сорняков и почему-то невысокую, хотя не топтанную и не стриженную. Мурава росла такая, какая нужна и приятна на кладбище.

Как здесь было тенисто, тихо! Это было самое чистое и живое убежище во всем охвате распланированной местности!

Вокруг иных могилок были ограды. А то — просто безымянные пирамидальные травяные холмики. И даже свежие.

— Как просторно! — удивлялся Иннокентий. — Тут сто могил, не больше, и можно еще пятьдесят разместить свободно. И, наверно, приходи, копай, никого не спрашивай. А в Москве, где мама лежит, там разрешение хлопотали в Моссовете, и директору кладбища что-то совали, и между двух могил негде ногу поставить, и еще перекапывают старые под новые.

Вот эти старые березы и отстояли кладбищенское раздолье от тракторов.

Сами плащи на землю бросились, само как-то селось — лицом к Простору. Отсюда, из тени и за солнцем, он хорошо смотрелся. Чуть белела, уже далекая, будка полустанка. И поверх линейной посадки переползал дымок.

Смотрели, дышали, молчали. Очень хорошо сиделось. На восставленные столбиками колени Инк положил голову, сидел так. И Кларе открылся его затылок: как у мальчика слабый затылок, но обработанный терпеливым умелым парикмахером.

— Какое чистое кладбище! — удивлялась Клара. — Скотом не загажено, мазута не налито.

— Да, — с наслаждением выдохнул Иннокентий. — Вот бы где похорониться! Ведь потом не удастся, пропустишь. Будут гроб свинцовый в самолет совать, потом на грузовике куда-нибудь...

— Рано об этом думать, Инк!

— Когда, Кларонька, всё ложь — очень утомляешься рано. Очень рано, вдвое быстрее. — Он и говорил слабым усталым голосом.

Это могло быть о его работе. А может — обо всей жизни. А может — только о жене.

Доспрашивать Клара не могла.

— И что же, — в шкафу?

— В шкафу? — сосредоточил Иннокентий свой всегда не беспечный, всегда озабоченный взгляд. — В шкафу вот что... — Но, кажется, только представив этот подробный

рассказ, он уже устал от него. — Да нет, это долго... Я как-нибудь потом...

Если уж сейчас — долго, то когда ж и рассказывать?.. Или такая его черта, что интересно ему только то, что ново, что первый раз?

На каком же тогда лету у него всё перехватывать?

— Значит, у тебя никого родных не осталось?

— Представь себе — дядя, мамин брат! Причем, я о нем тоже ничего не знал до прошлого года.

— Никогда не видел?

— То есть, видел маленьким, но совершенно не запомнил.

— Где же он?

— В Твери.

— Где?

— В Калинин. Два часа езды — а никак не соберусь. Да когда мне, если я и в России не бываю?.. Написал ему, старик обрадовался.

— Слушай, Инк, надо поехать! Ведь потом тоже будешь жалеть!

— Да я и думаю поехать, думаю! Да просто вот на днях поеду. Вот слово даю.

Уже отошел Иннокентий в тени от разморчивого солнца и выглядел бодрей.

Куда ж было им теперь идти? Во все стороны до леса далеко, да и дорог нет, за одним краем кладбища — подсолнухи, за другим — свёкла. Только и оставалась им тропка — та самая, за бабами, к деревне. А там где-нибудь и лес будет. Пошли так.

Иннокентий снял и куртку, остался в легкой белой рубашке. Островато выпирали лопатки из его некруглой, негладкой спины. А шляпу снова надел от солнца.

— Ты знаешь, на кого похож? — смеялась Клара. — Есенин, воротясь в родную деревню после Европы.

Иннокентий усмехнулся, стал вспоминать:

— Ах, родина, и что ж я тут нашел?.. Какой я стал чужой... Косить разучился, пахать разучился...

Они входили в безлюдную улицу. Между порядками домов было всего метров десять, но дорога так непоправимо, так до конца веков была изрыта, искромсана гусеницами и скатами, местами засохла кочками по колено, мес-

тами налита жидкой свинцовой грязью, на высыхание которой не могло хватить никакого лета, — что двум сторонам улицы сноситься было как через реку. Торные тропинки шли только у домов, и надо было сразу выбирать сторону.

По их стороне показалась и быстро шла навстречу девочка с плетеной кошелкой.

— Дево... — начал Иннокентий, тут разглядел, что она постарше, — девушка! Но она быстро приближалась, и оказалась женщиной лет под сорок, странно маленького роста и с бельмами на обоих глазах. Получилась насмешка, но уже не знал Иннокентий, как лучше обратиться. — Эта деревня — как называется?

— Рождество, — мелькнула она на них нездоровыми глазами и так же спешно шла.

— Рождество? — удивились между собой молодые люди. — Необычное какое название. — Вдогонку крикнули: — А почему?

— Назвали. Откуда я знаю? — отозвалась та через плечо. И спешила дальше.

И куда растекались все те проворные бабы с поезда? Не было жизни ни на улице, ни во дворах. И покосившиеся хилые двери, как в курятниках, а не домах, и безоткрывные, без форточек, навеки вставленные двойные рамы маленьких оконек тоже по видимости не могли скрывать за собой человеческой жизни. Ни классических свиней не было видно или слышно, ни домашней птицы. Лишь убогие тряпки да одеяла, развешенные в одном дворе на веревках доказывали, что кто-то здесь утром был.

Солнце полно наливало собой тишину.

В глубине одного двора они заметили движение. Загребая по суху калошами, шла крупная старуха и разглядывала у себя в руке.

— Мамаша!

Не слышала.

— Мамаша!

— Слышу плохо, — высохим плоским голосом предупредила она. Глаза ее совсем как будто ничему не удивились в разряженных прохожих.

— Нельзя ли молока у вас купить? — спросила Клара.

Молоко им не нужно было, а — лучший способ разговориться, как она знала по поездкам в колхоз.

— Коров — нету, — с достоинством ответила старуха.

В руке у нее был покойный желто-белый цыпленочек, он не выбивался и не дергался.

— Мамаша, эта церковь как называлась? — спросил Иннокентий.

— Что это — н а з ы в а л а с ь? — посмотрела она на него, как через пленку. В обвисшем лице ее была самистая важность.

— Ну, у каждой церкви... название же есть?

— Только что звание, — сказала старуха. — А закрыли уж не за памятью, двадцать годов. Автобусом час ехать, ближе церкви нету. А летняя рядом была — пленные разобрали.

— Какие пленные?

— Немцы.

— А зачем?

— Кирпичи в Нару отправляли. Вот цыплята у менядохнут. Четвертый уже. Отчего это?

Клара и Иннокентий сочувственно пожали плечами.

— Или приминает она их? — размышляла старуха, шаркая в избу, к низкой двери.

И так до конца улицы ни движенья и ни души они не видели больше, не показалась и не залаяла собака. Только две-три курицы копались тихо. Потом охотничьим шагом вышла из чертополоха — кошка, как будто уже и не домашний зверь, на людей и головы не повела, понюхала землю во все стороны и пошла вперед, на главную улицу, такую же мертвую, куда упиралась эта.

На их пересечении и расширении как раз и стояла та церковь: приземистый прочный храм фигурной кладки с накладными крестами из кирпичей и выше его — колокольня с двумя этажами колокольных сплошных прорезов. Там заросло мхами и травой, и множество ласточек или еще даже меньших птичек в непрерывном беззвучном кружении суетились на высоте прорезов, влетая, вылетая и обращаясь. Труднодоступный купол колокольни был цел, а на храме ободран от жести, оставлены только ребра каркаса. Пережили два десятилетия и оба креста, стояли на местах. Нараспашку была нижняя дверь колокольни, там

во тьме горела керосиновая лампа, стояли молочные бидоны и не было никого. Открыта была и дверь в подвал храма, там мешки стояли на ступеньках — и тоже не было никого.

Ни ограды, ни двора вокруг церкви не сохранилось — а с той стороны, и с этой, и вокруг, и между храмом и колокольней всё было изрыто тракторами и машинами в их тряске-жажде не застрячь, как-нибудь в этот раз, в этот последний бы раз выбраться, дойти и уйти от склада — и израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных стружьях комков и свинцовых загноинах жидкой грязи.

Церковь была — вот она, но молодые люди долго искали, где ж бы им посуху перебраться через улицу. Далеко в бок пришлось отойти и там еще повилать и попрыгать.

В дорогу были вмешены большие колотые куски плит, облипшие грязью. А у стен храма лежали чистые мелкие куски и крошки — белого, розового и желтого мрамора.

Иннокентий разогрелся от солнца, но не раздумячился, а чуть побледнел. Под краем шляпы у него взмокли волосы.

Подошли к церкви. Тяжелой вонью разило откуда-то в неподвижном жарком воздухе — от застойной ли воды, или от скотских трупов, или от нечистот? Они уж сами не рады были, что сюда зашли, и не до осмотра храма было им, да и нечего тут осматривать. Дальше, за церковью был спуск, а внизу — много шаровых огромных ив, целое царство ивяное, и туда, в зелень, был их единственный уход, убеги.

Но их окликнули:

— Закурить не будет, граждане?

Небольшой мужичок с головой, сильно втянутой в плечи, как бы от постоянного озноба или страха, а между тем разбитной, появился откуда-то и ширял по ним глазами.

Иннокентий с сожалением похлопал по карманам, будто всё же имел надежду найти там пачку:

— Не курю, товарищ.

— Жа-ль, — огорчился втянутоголовый, но не уходил, а быстрыми глазами рассматривал диковинных приезжих. Он не видел, на какой они машине подъехали, но понимал в них особый сорт начальства.

— Эта церковь — как называлась?

— Рождества, — уже без почтения ответил мужичок, разгадав их по одному слову и так же быстро ушел за угол, как и появился.

Но там, куда идти им, ниже, они заметили еще и одного, с открытой деревяшкой. В синей ситцевой рубаше с белыми бязевыми латками он отдыхал на камне под липой.

— Откуда мрамор? — спросил Иннокентий.

— Чего? — отозвался латаный мужик.

— Ну вон, камень цветной.

А-а-а... Алтарь разбили. — Думал. — Иконостас.

— А зачем?

Думал.

— Дорогу гатить.

— Отчего это у вас так... пахнет? — спросила Клара.

— Чего? — удивился одноногий. Думал. — А-а, это вам, наверно, от скотного. Скотный вон у нас, рядом.

Он показал рукой, но они уже не смотрели, они спешили вырваться — туда, к ивам, вниз.

— А что там? — спросили они.

— Там? Ничего нет. — Думал. — А, речка.

Спускалась битая тропка туда. Клара хотела сбегать, но с тревогой глянула на бледность Иннокентия и пошла с ним медленно.

— После такой деревни действительно на то кладбище потянет, — крутила она головой. — А ты — хромаешь?

— Да что-то трёт.

В раскидистой тени огромной первой ивы они остановились и оглянулись. Теперь, когда не воняло, а зеленая влажная свежесть достигла их, когда церковь оказалась на холме, не видно было страшной изувеченности земли, только птичьи точки метались и плавали вокруг колокольни — смотреть отсюда было приятно.

— Ты очень устал! — тревожилась Клара. — Тебе надо отдохнуть. И ногу посмотреть.

Он бросил плащи и сел на землю, прислонился к наклонному стволу. Закрыв глаза. Откинутый, смотрел вверх, на церковь.

— Вот тебе, Кларочка, два Рождества...

— Почему — два?

— Наше и западное. Наше ты сейчас видела. А западное — всё небо в рекламах, все улицы — в заторе машин, душатся в магазинах, подарки — каждый каждому. И на какой-нибудь захудалой затертой витринке — ясли и Иосиф с ослом.

— А какой Иосиф с ослом?

Тут они различили на обрыве у церкви, там, где сохранился рядок лип — пропущенную ими могилу с обелиском.

— Жалко, не посмотрели.

— Давай я сбегаяю! — взялась Клара и наискосок, без дороги, побежала. Она бежала как веселая, но совсем не весело было ей.

Постояла, прочла и так же легко спустилась, сильными ногами тормозя на ямках.

— Ну, кто ты думаешь?

— Священник?

— „Вечная слава воинам Четвертой дивизии народного ополчения, павшим смертью храбрых за честь, независимость и так далее... от министерства финансов.“...

— Финансов? — поразился он, и шевельнулись его удлинённые уши в изломчатых крупных хрящах. — Даже и финансов! Бедные клерки... Сколько ж их тут легло?.. И на сколько человек была одна винтовка? Четвертая дивизия ополчения?

— Да.

— Дивизия безоружных! — и четвертая... Вот дикость этой войны — народное ополчение...

— А почему — дикость? — онедоумела Клара.

Иннокентий вздохнул и свесил голову.

— Тебе плохо?.. Инк, может вернемся? Не надо дальше?

Он еще вздохнул.

— Да нет, ничего. Жару я плохо переносю. И обуюся неудачно, не сообразил.

— Я тоже разношенных зря не надела. А где тебе трёт? Давай газеты под пятку подложим, будет свободней.

Мастерили.

А на небе там и здесь появились перекатные облака. Иногда они прикрывали и смягчали солнце.

— Ну что ж, Инк, пойдем дальше или нет? Надо было в лес, да? Хочешь, пойдем вдоль реки, там тоже тень будет.

Он уже отошел и улыбался:

— Вотдохлый, да? Всю жизнь в автомобилях... А ты молодец. Пойдем, пойдем. По какому берегу?

Ниже их через речку был переброшен трап, на обоих берегах толстой проволокой прикрученный от наводнения к низам ив.

Перейти? Не перейти? На том и на этом по-разному ляжет дорога, и от этого разговоры будут разные, и вся прогулка. Перейти?.. Не перейти?..

Перешли. Опять какое-то правильное насаждение было тут на медленном привольном подъеме от реки. Кроме водолубивых ив, которые сами выбрали речку, еще были посажены березы рядком и ели. И заглохший пруд был здесь с лягушками и палыми листьями — наверно вырытый, такой правильный. Что это было всё? Заброшенное ли именье? Не у кого спросить.

Отсюда, между шарами ив, еще красивее казалась церковь, почти на горе — и туда-то хаживали под колокольный звон из другой соседней деревни, начинавшейся неподалеку.

Но довольно было с них деревень, они шли вдоль реки.

Тут очень бы приятно идти, своя тенистая влажная замкнутая жизнь. На мелких местах слышное журчание и видимая рябь, на глубоких редкие необъяснимые вздрагивания неподвижной будто бы воды, и всюду — беготня водопеших стрекоз, а наверно есть и рыба и раки. Тут надо бы разуться по колено и идти просто речкою, как мальчишки бродят по раков. А по берегу мешала им то непроходимая крапива, то ольховый прутняк.

Толстенная причудливая ива выросла на их берегу, а гнутым стволом перекидывалась на тот берег — как мост, и с поручнями таких же крученых изогнутых ветвей.

— Баобаб! — всплеснула Клара. — Вот красавец! А давай по нему на тот берег! Там, кажется, лучше идти.

Иннокентий недоверчиво покачал головой. Но Клара уже вскочила уверенно на косою ствол и протянула ему сильную руку:

— Пойдем!

Ей казалось, что это обязательно будет хорошо. Вот на том берегу что-то встретится или скажется, для чего была вся эта прогулка.

Иннокентий в сомнении протянул свою мягкую кисть.

Ствол ивы, умеренно поднимаясь, уводил, однако, высоко. Иннокентий следовал небольшими переступами и, кажется, избегал смотреть вниз. А тут еще ветка, за которую он держался, пересекала их путь, надо было через нее же и перелезть. Всё это делал он с лицом сосредоточенного думанья, совсем замолчал. Не оцарапавшись, они спрыгнули. Но видно было, что удовольствия от перехода Инк не получил.

И ничто не стало лучше на новом берегу. Малозначное они говорили друг другу. Слышалось тарахтение трактора где-то выше. Очень скоро и тут не стало пути близ воды. И пришлось им покинуть тень и подняться от реки единственной возможной дорогой. Иннокентий всё явнее хромал.

И вышли они — на разбросанный бригадный двор с одним домиком и одним малым сараем. Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледнорозовый флаг оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что в одну строчку умещался лозунг: “Вперед, к победе коммунизма!”, всё же множество кирпично-ржавых, облезло-голубых и облупленно-зеленых машин неизвестного назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистернами, и полевая кухня, и прицепы с подпертыми или опущенными дышлами — всё было разбросано и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где и ногой почти пройти было нельзя. И только один человек в чумазой робе постоянно бродил от машины к машине, наклонялся, поднимался, что-то смотрел. Больше не было никого.

Да на холме работал один трактор.

И другого пути не было. Кое-кто по колдобинам пересекли они бригадный двор. Иннокентий хромал. Снова было жарко. Они спустились к реке опять.

А она текла под бетонный мост. Уравнивал скучный прочный мост оба берега, оба жребия. Кажется, это было шоссе.

— Подловим попутную? — сказал Иннокентий. — Не возвращаться же на станцию опять.

День был в середине, а прогулка при конце.

Отчего натягивается между людьми вот эта препонка? Почти видно и почти слышно, как можно помочь друг другу.

Но не дано было этому быть. Этому быть не могло.

Под мостом они обнаружили родничок. Сели, стали пить, придумали и ноги помыть.

Но тут послышался сильный гул наверху. Они вышли и из-под откоса стали смотреть на дорогу.

По шоссе катилась вереница одинаковых новеньких грузовиков под новеньким брезентом. До горы не было видно им конца, и на другую гору ушла голова колонны. Были машины с антеннами, техобслуживания, с бочками „огнеопасно“ или с прицепными кухнями. Расстояния между машинами точно выдерживались метров по двадцать — и не менялись, так аккуратно они шли, не давая бетонному мосту умолкнуть. В каждой кабине с военным шофером еще сидел сержант или офицер. И под брезентами сидели многие военные: в откидные окошки и сзади виднелись их лица, равнодушные к покинутому месту и к мимобежному, и к тому, куда гнали их, застылые в сроке службы.

От того, как Клара с Иннокентием поднялись, они насчитали сотню машин, пока стихло.

И опять под мостом шуршала вода у торчащих надпиленных опор прежнего деревянного.

Иннокентий опустил на камень у родничка и сказал потерянно:

— Жизнь — распалась.

— Но в чём? но в чём распалась, Инк? — с отчаянием вырвалось у Клары. — Но ты же всё обещал мне объяснить — и ничего не объясняешь!

Он посмотрел на нее большими глазами. Взял обломанную палочку как карандаш. И на сырой земле начертил круг.

— Вот видишь — круг? Это — отечество. Это — первый круг. А вот — второй. — Он захватил шире. — Это — человечество. И кажется, что первый входит во второй? Ничего подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колючая проволока с пулемётами. Тут ни телом, ни сердцем почти нельзя прорваться. И выходит, что никакого

человечества — нет. А только отечества, отечества, и разные у всех...

Чуть ли не в те самые дни спецчасть предложила Кларе анкеты. Она с легкостью заполнила их: происхождение ее было безупречно, жизнь — не протяженна, освещена ровным светом благополучия и свободна от поступков, порочащих гражданина.

Сколько-то месяцев анкеты ходили, были все одобрены. Тем временем Клара окончила институт и переступила порог вахты таинственной зоны Маврина.

Михаил ГЕЛЛЕР

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАМЯТИ

«Архипелаг ГУЛаг» не похож на другие книги Александра Солженицына с точки зрения формы: писатель всегда стремился ограничить место и время действия. Один день и лагерная зона в «Иване Денисовиче», три с половиной дня и территория шарашки в «В круге первом», одиннадцать дней и ограниченное пространство Восточной Пруссии для главных сцен «Августа 14»...

На этот раз место действия — необъятная страна ГУЛаг, которая «начинается совсем рядом, в двух метрах от нас», время действия, как точно указано в подзаголовке — 1918-1956. Но еще и по другой причине непохож «Архипелаг ГУЛаг» на все то, что было написано А. Солженицыным раньше. «Один день Ивана Денисовича» писатель назвал «первым, еще куцом и приглушенным рассказом о лагере», предупреждая, что шум, вызванный повестью, ничто по сравнению с тем, что «будет, когда грянет правда вся».

«Архипелаг ГУЛаг» — это правда вся. Об Архипелаге и его обитателях, но также о стране, родившей эти чудовищные острова.

Писатель определяет жанр своей книги: «Опыт художественного исследования». Он предупреждает: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не довелось читать документов». Но — это история Архипелага. И жанр книги можно было бы определить, как опыт художественного исследования истории. Солженицын «не дерзает» писать историю Архипелага, ибо не читал документов, но тут же сам добавляет, что вряд ли кому придется прочесть документы: «у не желающих вспоминать, довольно уже было (и еще будет) времени уничтожить все документы дочиства». Можно задать вопрос: является ли изучение документов (к тому же очень часто подчищенных, сфабрикованных, лживых) обязательным условием писания истории? Смог же написать Фукидид «Историю Пелопонесской войны» без документов и работы в архивах. Солженицын, работая над историей Архипелага в «бесписьменные годы», как он выражается, в «догутенберговскую эпоху», как назвала свое время Анна Ахматова, вернулся к технике Фукидида: он использует собственный опыт и свидетельства современников. Одновременно это

как нельзя более современная техника социологического опроса: материал для книги дали ему «в рассказах, воспоминаниях и письмах» 227 человек. Их показания, отражающие опыт представителей всех слоев общества, дополняют все то, что «шкурой своей, памятью, ухом и глазом» вынес с Архипелага великий писатель.

Александр Солженицын пишет историю Архипелага, историю его обитателей, историю одного из ее обитателей — свою собственную. Но история Архипелага становится историей государства, ощутившего необходимость в создании лагерной империи, в массовом терроре; история его обитателей становится историей граждан государства, превратившихся в безропотных жертв; наконец, судьба автора становится историей рождения бунтаря, человека, сказавшего «нет», историей рождения писателя, принявшего на себя миссию возвращения народу памяти. Три истории — три главных сюжета книги — идут параллельно, пересекаются, переплетаются, создавая небывалый документ XX века.

В первом томе своего монументального труда, состоящего из семи частей (опубликовано две части), Александр Солженицын намечает абрис Архипелага на карте страны и рассказывает о том, как попадают на его острова. В советской печати, не прекращающей ожесточеннейших нападков на Солженицына, его книге предъясняются обычно два взаимоисключающих обвинения: в некоторых статьях утверждается, что «Архипелаг ГУЛаг» не содержит ничего, кроме лжи, в других — что книга не содержит ничего нового, все факты давно известны и «осуждены партией». Нет нужды останавливаться на первом утверждении. Во втором утверждении есть несомненно доля истины. Немало фактов об отдельных островах Архипелага известно — на Западе — уже давно. В 1924 г. в Париже выходит книга русского историка П. Мельгунова «Красный террор в России 1917-1923», в которой собран материал о первом пятилетии советской власти, во второй половине 20-х годов появляются воспоминания редких счастливых, сумевших чудом покинуть Архипелаг. Можно назвать здесь, например, книгу финского гражданина Бориса Цедерхольма «В стране НЭПа и ЧЕКа», арестованного в Петрограде в 1924 г. и до 1926 г. сидевшего на Соловках, — одно из первых свидетельств о Соловецком концентрационном лагере. В 30-е годы стали известны некоторые новые острова Архипелага, (прежде всего Беломорканал), хотя его подлинный размер остается тайной. Первое представление о гигантской лагерной империи дают поляки, оказавшиеся во время войны на территории Советского Союза, брошенные в тюрьмы

и лагеря, но выжившие и свидетельствовавшие на Западе о пережитом и увиденном в книге «Темная сторона луны». После войны появляется все больше и больше свидетельств: книги Густава Херлинга-Грудзинского, Александра Вайсберга-Цыбульского, А. Чилиги, Маргарет Бубер-Нейман, Элионор Липперт, Юлия Марголина и многих, многих других... Александр Далин и Борис Николаевский делают первую попытку систематизировать имеющийся на Западе материал о лагерях. И тем не менее, еще в 1950 г., главный редактор парижского коммунистического журнала «Леттр-Франсез» благодарил Советский Союз за «это великолепное предприятие», как он называл лагеря, ибо «в советских лагерях перевоспитанием достигнута полная ликвидация эксплуатации человека человеком».

Т. С. Эллиот в предисловии к «Темной стороне луны» писал: «Это не просто рассказ о том, что случилось с Польшей и бесчисленными поляками между 1939 и 1945 годами... Это также книга об СССР, о Европе, в которой мы сегодня живем, о мире, в котором мы сегодня живем». Эта Европа, этот мир — не верили в существование советских концентрационных лагерей, бывших неотъемлемой частью СССР, Европы и всего мира. Не верили, ибо правда о них казалась слишком чудовишной, размеры лагерей, число заключенных — невероятным.

Не верили, ибо правда о лагерной империи казалась несовместимой с идеалами, провозглашенными «первым в мире социалистическим государством». Не верили первым свидетельствам — начала 20-х годов — ибо это были свидетельства врагов революции, эмигрантов. Не верили свидетельствам 30-х годов — ибо в это время появились и гитлеровские концлагеря, а защитники Советского Союза упорно твердили: тот, кто говорит о Соловках, тем самым одобряет Бухенвальд, только тот имеет право говорить правду о нацистских зверствах, кто молчит о сталинских преступлениях. После окончания второй мировой войны разоблачение советских лагерей истребления отождествлялось с клеветой на доблестного союзника, на победителя Гитлера, на спасителя Европы. В этот период разоблачение советских лагерей объявлялось призывом к новой войне.

Публикация повести «Один день Ивана Денисовича» — отчаянный маневр в сложной политической игре, которую вел Хрущев, — была первым официальным признанием существования в Советском Союзе лагерей. За 6 лет до появления в печати повести Солженицына Хрущев официально признал — на XX съезде в секретном докладе — «имевшие место в 1937-38 гг. нарушения

социалистической законности», обвинив в них Сталина, подчеркнув, что жертвами были «партийные и государственные кадры». Солженицын не только рассказал о лагере, он рассказал, что жертвами террора были простые советские граждане, такие как Иван Денисович Шухов — рядовой колхозник, рядовой солдат, рядовой зек. Противовесом повести Солженицына должны были стать мемуары Б. Дьякова и Григория Шелеста, повесть Андрея Алдан-Семенова «Барельеф на скале», которые подтверждали, что лагеря в Советском Союзе были, приводили факты, удостоверявшие все, что ранее об этих лагерях писалось, но одновременно старались доказать, что лагеря были случайностью в жизни СССР, плодом фантазии Сталина. Эти книги старались доказать, что подлинными коммунистами, даже после многих лет, проведенных в лагерях, не теряют веры в партию. Главным их пафосом было утверждение: все это позади. Аркадий Васильев, сотрудник НКВД, перешедший в литературу, пишет роман с красноречивым заглавием: «Вопросов больше нет». Разговор был задушен, едва начавшись.

Знаменательно, что разговор о лагерях, право раскрытия тайны лагерей было предоставлено литературе. Историческая наука молчала. Советские историки не написали ни одного исследования о лагерях, о волнах репрессий, не прекращавших потрясать государство, они писали апологии деятельности ВЧК. Попытка восполнить этот пробел, сделанная Роем Медведевым, официально одобрения не получила и его труд был издан только на Западе.

Осмыслением истории занялась литература. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака был первой книгой советского писателя, заданного — на 35-ом году революции — вопрос о смысле революции, о ее необходимости, о несходстве образа революции, который виделся русской интеллигенции до катаклизма, с действительностью. Герой романа — врач — дает диагноз болезни века: «революционное помешательство». Он упрекает революцию в том, что она убивает душу человека: «Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно.» Глубокий анализ гипнотического воздействия слова «революция» на русскую интеллигенцию дала в своих книгах Надежда Мандельштам. «Это слово, — пишет она, — обладало такой грандиозной властью, что в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни». Воспоминания Надежды Мандельштам — история русской интеллигенции в послереволюционную эпоху, история падения, капитулянтства и гибели интеллигенции, поддавшейся соблазну «це-

лостного мировоззрения» и соблазну Великого инквизитора. «Все течет» Василия Гроссмана — размышления об истории России, облеченные в форму романа. Первым из советских писателей анализирует В. Гроссман роль Ленина в судьбе революции и послереволюционного государства, рисуя сложный, порой трагичный портрет: «Бешеное политическое властолюбие, соединенное со стареньким пиджаком, со стаканом жиденького чая, со студенческой мансардой... Неумолимая жестокость, презрение к высшей святыне русской революции — свободе, и тут же рядом, в груди того же человека, чистый юношеский восторг перед прекрасной музыкой, книгой» (1). В Сталине писатель видит продолжателя дела Ленина, продолжателя того, что было в Ленине главным: «Государство без свободы... заложил Ленин. Его построил Сталин».

В поисках причин возникновения «государства несвободы» В. Гроссман отправляется еще дальше, в глубь российской истории. Там он находит истоки нового государства: «Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало тысячелетней истории русских... В то время как развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, развитие России оплодотворялось ростом рабства».

Роман Пастернака, воспоминания Надежды Мандельштам, исторические размышления Гроссмана, никогда, само собой разумеется, не издававшиеся в Советском Союзе, несмотря на всю их значительность, не давали полного образа послереволюционного общества хотя бы потому, что главным объектом их внимания была интеллигенция.

«Архипелаг ГУЛаг» вбирает в себя все сказанное до него, расширяет, дополняет, углубляет, отвергает или принимает. Выбрав в качестве главной темы, в качестве точки отсчета — лагерь, важнейший симптом смертельной болезни государства и общества, А. Солженицын анализирует поведение больного. Упоминания о лагерях есть в «Докторе Живаго», пишет о них Надежда Мандельштам, жена великого поэта, умершего в лагере, герой книги Гроссмана 19 лет провел в лагере. Но у этих писателей лагерь лишь место страданий, мученической смерти. У Солженицына — он порождение системы и основа системы, выражение политической,

(1) В романе Евгения Замятина, написанном в 1920 г., глава Единого государства — Благодетель, утверждающий, что «истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременно бесчеловечна, и непременно признак истины — ее жестокость» — «лысый, сократовски-лысый человек», как две капли воды похожий на основателя советского государства.

экономической и общественной невозможности удержать власть без террора и лагерей.

Исторический подход к феномену позволил писателю собрать в единую картину множество разбросанных фактов, сведений, свидетельств. Описав историю Архипелага, Солженицын создал энциклопедию советского общества. Одновременно его книга как нельзя лучше показывает причины фальсификации истории в советском государстве, одним из этапов которой был арест крупнейших русских историков, в том числе Платонова, Бахрушина, Тарле в 1929 г. В романе Евгения Замятина «Мы» граждан Единого государства, чтобы окончательно и навсегда убить в них желание свободы, подвергают операции выжигания в мозгу узелка, рождающего фантазию. В советском Едином государстве выжиганию подверглась память. «Мы все забываем, — пишет Солженицын. — Мы помним не быль, не историю, — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить неустанным долблением. Обидное это свойство... Оно отдаст нас добычею лжецам.» В 1962 г. на совещании советских историков в первый и последний раз было признано самими историками, что они профессиональные лгуны. А. Снегов, член партии с 1917 г., прошедший многие годы в лагере, предложил даже установить для историков нечто вроде клятвы Гиппократова для медиков, потребовать от докторов истории обещание писать честно (1).

Солженицын не претендует на написание истории советского государства, он пишет историю советского закона, посвящая ей три главы: «Закон-ребенок», «Закон мужает», «Закон созрел». В начале — как давно известно — было слово. Солженицын ведет начало со слов Ленина, провозгласившего в январе 1918 г. общую единую цель: очистить «землю российскую от всяких вредных насекомых». Упоминания о жестокости революционных средств и мер, можно найти сегодня и у советских историков. В исследовании С. Федюкина «Октябрь и интеллигенция» (Москва, 1972) приводится письмо управляющего делами Совнаркома В. Бонч-Бруевича наркомпросу А. Луначарскому: «Препровождаю при сем заявленные гр. Давыдовых по поводу их отца, который был взят в качест-

(1) А. Снегов, видимо, не знал, что советские врачи дают не клятву Гиппократова, а «торжественно клянутся продолжать великие традиции медицины, руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании врача перед советским государством». Такую клятву советские историки могут, конечно, дать.

ве заложника. Давыдов — известный геодезист: он был расстрелян в числе 900 человек после смерти Урицкого. Никакого обвинения ему предъявлено не было. За две недели до своего ареста он был вызван в Петроград на службу. Дети его просят рассмотреть их прошение и дать им возможность и их больной матери как-нибудь прожить». Советский исследователь считает расстрел 900 заложников «несоответствием меры вины и меры наказания», хотя непонятно о какой вине геодезиста Давыдова можно в данном случае говорить. Он считает эти «несоответствия» оправданными революционной необходимостью, гражданской войной, враждебным окружением и т. д. Солженицын видит в этой жестокости, в этом бесчеловечном терроре, начавшемся с первых дней революции, свидетельством антинародности революции, ее внутренней слабости, ее ненужности. «Еще и до всякой гражданской войны, — пишет Солженицын — увиделось, что Россия в таком составе населения, как она есть, ни в какой социализм, конечно, не годится, что она вся загажена». Следовательно, необходимо было «очистить» Россию, чтобы сделать ее достойной социализма, в который намеревались идти — пусть даже против воли большинства — победители. Но если против воли большинства, если вся страна «загажена», если необходимо очищать Россию «от насекомых», то естественно приходится прибегать к массовому, всеохватывающему террору. Писатель часто прибегает к сравнению условий жизни в дореволюционном и послереволюционном государствах. И как правило сравнения эти выпадают не в пользу государства послереволюционного. Но отнюдь не потому, что А. Солженицын — апологет царской России. Он отлично видит пороки русского дореволюционного государства. Но он показывает, что все эти пороки многократно увеличились в послереволюционном государстве, а ужасная царская каторга вызывает улыбкунисходятельного недоумения у тех, кто побывал на советской каторге. На Колыме читают о каторжных нормах декабристов, как рассказы о райской жизни, во владимирском центре мечтают об условиях жизни шлиссельбургских узников. Солженицын настаивает на сравнениях с дореволюционной Россией и по другой причине: при каждом удобном случае он подчеркивает, что советские граждане не знают правды о своем прошлом. «Первое, что мы изумленно узнаем, — пишет Солженицын об обвиняемых по делу «Промпартии» инженерах, — что эти киты буржуазной интеллигенции все восемь — из бедных семей... (Как же так? А нам говорили, что при царизме... только дети помещиков и капиталистов?.. Календари же не могут врать?..)».

Могут — утверждает Солженицын. «Все врут календари» — может повторить он вслед за героем «Горя от ума».

Александр Солженицын представляет историю советского государства как историю советского закона, показывая как этот закон с первых же дней революции стремился стать беззаконием. В начале 1918 г., когда приговорен был к расстрелу адмирал Алексей Щастный, суду намекнули, что есть декрет об отмене смертной казни, прокурор Крыленко разъяснил: «Отменена — смертная казнь. А Щастного мы не казним — расстреливаем».

Анализируя историю «мужания» закона, который становится все более жестоким, коварным, бесстыдным и хитрым, все более беззаконным, писатель использует стенограммы некоторых открытых процессов, опускаясь, как по ступенькам, от процесса к процессу — вниз, от еще по-детски наивных по юридической беспомощности первых процессов, к более зрелым опытам начала 30-х годов, до мрачно-торжественных театральные зрелищ 37-38 годов. Солженицын очень точно понял значение судебных процессов, как важнейшего измерительного прибора, регистрирующего уровень напряженности террора в стране. Подтверждает это ставшее известным лишь десять лет назад письмо Ленина. 20 февраля 1922 г. Ленин требует: «Усиление репрессии против политических врагов Соввласти и агентов буржуазии (в особенности меньшевиков и эсеров)... обязательная постановка ряда образцовых (по быстроте и силе репрессий; по разъяснению народным массам, через суд и печать значении их) процессов в Москве, Питере, Харькове и нескольких других важнейших центрах... Отсюда... применять не *Corpus juris romani* к «гражданским правоотношениям», а наше революционное правосознание; показывать систематически, упорно, настойчиво на ряде образцовых процессов, как это надо делать с умом и энергией...» (Полное собр. соч., т. 44, стр. 396-400). Ленин настаивает на превращении «образцовых» процессов в школу страха, в инструмент воспитания народа, в способ его «очищения». Видимо не совсем уверен Владимир Ильич Ленин, юрист по образованию, что его концепция замены римского права «рев. правосознанием» достойна широкого распространения, ибо в двух постскриптах к письму он настаивает на сохранении в тайне и само письмо и имя его автора. Солженицын показывает как организируются эти «образцовые» процессы, как с каждым годом все лучше и лучше обрабатываются обвиняемые, как растет умение следователей и прокуроров составлять заведомо ложные обвине-

ния, как воспитывается автоматическое одобрение любых приговоров.

Основным источником для анализа процессов служат Солженицыну речи прокурора Крыленко и прокурора Вышинского. Стоит отметить великолепное мастерство, с каким писатель использует этот односторонний материал, находя в нем детали времени, портреты обвиняемых, судей и — прежде всего — главную политическую линию, направленную на превращение закона в дубинку государственной власти. «Несколько веков, — пишет Солженицын, — была у нас поговорка: не бойся закона — бойся судьи... Пора эту поговорку вывернуть: не бойся судьи — бойся закона». Когда воцаряется беззаконие, когда беззаконие становится законом — островки ГУЛага сливаются в Архипелаг.

История этого процесса — первая сюжетная линия книги Александра Солженицына. Вторая — «перевоспитание» человека, превращение жителей страны в обитателей и потенциальных обитателей Архипелага. Писатель внимательно прослеживает метаморфозу, происходящую с людьми, и средства, используемые для ускорения процесса. Он констатирует результат: мы — кролики, мы — овцы, «мы утратили меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается». Он говорит о «нашей привычке к покорности, нашей согнутой (или сломленной) спине»... И мечтает: ведь могло бы быть иначе. «Если бы во времени массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди не сидели бы по своим норам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах по лестнице, — а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, с чем придется?.. И несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина.» Если бы каждый арестованный, которого вели по улице, кричал бы, что «переодетые злодеи ловят людей! Что хватают по ложным доносам! Что идет глухая расправа над миллионами! И слыша такие выкрики, много раз в день ошетинились бы? может аресты не стали бы так легки!?» «Если бы в каждой камере смертники дружно душили проходящих палачей... Уж на ребре могилы — почему бы не сопротивляться?»

Но сопротивления не было. Ибо было уже поздно. Писатель намечает этапы превращения общества в покорное стадо, ожидающее уничтожения. «Упущено время, господа, товарищи и братцы!» — горестно констатирует Солженицын. Его вывод: всеобщая невинность порождает и всеобщее бездействие. «Раз ты неви-

новен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка!.. Других сажают повально, это тоже нелепо, но там еще в каждом случае остаются потемки: «а может быть этот как раз?..» «Очищение» России — показывает Солженицын — проходило постепенно: один вид «насекомых» за другим, один поток за другим гнали «по сточным трубам тюремной канализации». Но пока уничтожали одних — другие молчали убежденные, что их это не коснется. Происходила атомизация общества в значительной мере облегчавшая дело властей. Страх становится главным стимулом поведения человека. Но мало было напугать людей, оставить их в одиночку с государственным чудовищем, вынудить их согласиться с арестом всех вокруг. Следующим этапом на пути к созданию «нового человека» было, по выражению Солженицына, пассивное «всемирное участие в канализации». На этом этапе согласие на террор оказалось уже недостаточным, потребовалось активное его одобрение: «те, кто своими телами еще не грохнулись в канализационные люки, кого еще не понесли трубы на Архипелаг — те должны ходить поверху со знаменами, славить суды и радоваться судебным расправам». Солженицын отмечает важнейший феномен советского общества: связь между палачом и жертвой, в некоторых случаях свободную взаимозаменяемость местами. Сегодняшний палач становится завтрашней жертвой, а вчерашняя жертва готова была по первому же слову превратиться в палача. Всеобщая невинность и всеобщая неуверенность способствовали возникновению этой взаимосвязи, которая усиленно культивируется властью, ибо способствует растлению душ — будущих палачей и будущих жертв. В 1922 г. на процессе эсеров прокурор Крыленко «находит ту сердечно-согратательную, обвинительно-дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать все увереннее и гуще, и которая в 37-м году даст ошеломляющий успех. Нота эта — найти единство между судьящими и судимыми — и против всего остального мира... С обвинительной кафедры эсерам говорят: ведь мы же с вами — революционеры! (Мы! Вы и Мы — это мы!)» А Борису Савинкову будут говорить: «Ведь мы же с вами — русские!.. вы и мы — это мы!» А оппозиционерам опять тоже самое, но в ином варианте: «ведь мы же с вами — коммунисты!.. Ведь вы и мы вместе — это мы!»

Именно в этом постепенном растлении будущих жертв путем привлечения их к участию или — всего лишь! — одобрению преступлений видит Солженицын разгадку «тайны» процессов старых большевиков (он прибавляет при этом, что согласен с догадкой

Артура Кестлера). Великолепно написанные портреты двух звезд двух громких политических процессов иллюстрируют мысль писателя. Михаил Якубович — один из главных обвиняемых на процессе т. н. Союзного бюро меньшевиков, чудом выживший после многих лет лагерного заключения, раскрыл Солженицыну механизм организации «дела»: «редчайший случай получить как бы «по-смертно» объяснение участника такого процесса. И я нахожу, — добавляет Солженицын, — что это все равно, как если бы причину своей загадочной судебной покорности объяснили нам Бухарин или Рыков». Честный, искренний, бескорыстно преданный революции, верно служивший советской власти М. Якубович был арестован в 1930 г. и, вызванный на допрос к своему хорошему знакомому прокурору Крыленко, услышал от него: «Я не сомневаюсь в вашей невинности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс... Прошу вас всячески помогать, идя навстречу следствию». И Якубович «сам спешит сунуть голову в хомут», он рьяно, усердно помогает «провести процесс». Второй портрет — Бухарина, того, «кто представляется из дали времен самым высоким и самым светлым умом из опозоренных и расстрелянных вождей». С замечательной пронизательностью показывает Солженицын, как перебрасывая от надежды к отчаянию и обратно, «из ледка в жарок», Сталин доканчивает разрушение души Бухарина, который в свое время добивался казни инженеров, осужденных по Шахтинскому делу, который допускал возможность вины Зиновьева и Каменева.

Была еще одна причина признаний, согласия сотрудничать с палачами — пытки. Глава, посвященная пыткам, описанию 52 видов «физического давления с целью получения признания», кажется переписанной из «Руководства инквизитора», написанного в XIV веке Николау Эймерихом: та же бесчеловечность и жестокость, то же отсутствие технических средств. Пытки доламывали уже готовых сознаться. Но будучи неким ритуальным актом они применялись и к готовым на сотрудничество, например, к Якубовичу.

Но есть и третья причина того, что сознаются невинные люди в несовершенных преступлениях: отсутствие у них «нравственной опоры». Анализируя причины слабости и отступничества, согласия на сотрудничество с палачами, Александр Солженицын замечает, что подобные случаи русская история уже знает. «Русская история, — пишет он, — не дала нам лучшие примеры твердости... В коротком двухнедельном следствии Радищев, этот выдающийся человек, отрекся от убеждений своих, от книги — и просил по-

щады... Даже Рылеев «отвечал пространно, откровенно, ничего не утаивая... «Даже Пестель раскололся и назвал своих товарищей (еще вольных)... Бакунин в «Исповеди» униженно самооплевался перед Николаем I и тем избежал смертной казни». Писатель спрашивает: что это — «ничтожность духа? Или революционная хитрость?» Одно из объяснений Солженицына: русских революционеров XIX в. — Радищева, декабристов, Бакунина — «допрашивают сословные братья. И естественно их желание все объяснить». Это отчасти ситуация Бухарина. Но главное для Солженицына не в этом. Он хочет дать объяснение «высокое, психологическое». И объяснение это входит как важный элемент в философию и историософию писателя. Революция, — считает он, — не дает человеку достаточной нравственной опоры, не дает ему необходимой веры для сопротивления злу, не дает сил, нужных для того, чтобы в нужную минуту отказаться от жизни, но остаться человеком.

«Архипелаг ГУЛаг» — история поисков Человека, ответ на вопрос: можно ли было остаться Человеком на Архипелаге и в обществе, его породившем? Множество людей населяет книгу Солженицына: одних он только упоминает, других рисует двумя, тремя мазками мастерской кисти, третьих описывает подробно: с отвращением, любопытством или любовью. Но каждого проверяет писатель прежде всего на сопротивляемость души силам Зла. Немногие выдерживают эту проверку. Моральный кодекс Солженицына элементарно прост, но для его соблюдения на Архипелаге нужны силы, какие находят в себе лишь одиночки. Вот они-то и составляют ту категорию праведников, о которых, в заключение «Матрениного двора», писал Солженицын, что без них «не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

Моральный кодекс Солженицына прост: считать справедливость, правду дороже имущества, дороже жизни. Когда человек перестает дорожить земными вещами и жизнью — он обретает внутреннюю свободу, а вместе с ней силу, побеждающую Зло.

В галерее победителей — патриарх Тихон, восхищающий писателя своими мужественными ответами суду. «Законы, существующие в государстве, вы считаете для себя обязательными или нет? — спрашивает председатель суда. И патриарх отвечает: — Да, признаю, поскольку они не противоречат правилам благочестия». Писатель комментирует: «Все бы так отвечали! Другая была бы наша история!» В галерее победителей — русские инженеры Петр Пальчинский, Н. фон-Мекк, А. Величко, отказавшиеся под-

писать ложные обвинения. «В пытках ли они погибли или расстреляны — этого мы пока не знаем, но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять»... Александр Солженицын — верующий христианин, поэтому понятно, что его поиски праведников направлены в сторону духовенства. Александр Солженицын — убежден, что инженерам предстоит сыграть провиденциальную роль в будущем России, поэтому он обращается к судьбам инженеров. Но самое большое восхищение писателя вызывает жизнь провинциального кооператора, члена партии Василия Власова, «человека со случайным клочным образованием, но тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских, красноречивый, находчивый в диспутах, запалющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным...» Его поведение до ареста и после ареста противопоставляет Солженицын трусливому, жалкому поведению партийных вождей. Василий Власов — член партии, был убежден, что она служит народу. Во время открытого процесса он, быть может, единственный в Советском Союзе в 1937 г., заявил: — «Я не считаю вас за суд, а за артистов, играющих водевиль суда по написанным ролям. Вы — исполнители гнусной провокации НКВД». Приговоренный к расстрелу, он отказался просить помилования, а когда после 42 дней содержания в камере смертников, ему объявили о замене расстрела 20 годами заключения в лагере, он ответил: «Странно. Меня осудили за неверие в победу социализма в одной стране. Но разве Калинин — верит, если думает, что еще и через двадцать лет понадобятся в нашей стране лагеря?..» Солженицын помещает в своей книге шесть портретов жертв Архипелага — и один портрет выжившего, выстоявшего — фотографию Василия Власова. Рассказ о его судьбе заканчивается коротеньким примечанием о восьмилетней дочери Власова — Зое, «взахлеб, любившей отца... Она прожила после суда всего один год... Умерла от воспаления мозговой оболочки, и при смерти все кричала: «Где мой папа? Дайте мне папу!» Эти строки Солженицына неудержимо приводят на память самый важный в русской литературе вопрос: «Представь, что ты возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей..., но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, ребеночка... и на неотмщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором?» Как бы отвечая на этот вопрос Достоевского, Солженицын рассказывает историю Зои Власовой, добавляя: «Когда мы

подсчитываем миллионы погибших в лагерях, мы забываем умножить на два, на три...»

Невелик круг праведников, людей, сумевших выстоять, защитить свое человеческое достоинство. Невелик — ибо чудовищны мучения, которым подвергается человек на Архипелаге. Но в этих мучениях, в страданиях Александр Солженицын видит — испытание человеческого духа, необходимое для его очищения и укрепления. Пожалуй, нигде не проявляется с такой силой христианство Солженицына, как в этой проповеди испытания духа страданием. Как всегда, в «Архипелаге ГУЛага» он соединяет судьбу человека с судьбой народа, историю с индивидуумом: «Простая истина, но и ее надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы — и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно».

Вывод Солженицына можно было бы сформулировать так: в принципиально неморальном обществе, возникшем в результате нарушения нормального хода истории, породившим Архипелаг ГУЛаг — только страдание позволяет возвыситься духовно, понять необходимость морали.

Третий сюжет «Архипелага ГУЛага» — судьба его автора, путь, пройденный Солженицыным. С откровенностью, присущей быть может только героям Достоевского, рассказывает писатель о себе. Он тоже сын своей страны — и он вырос в атмосфере «всенародного одобрения судебных расправ над «врагами», и он вдыхал воздух революционных лозунгов и мифов, в армии, когда вручили ему золотые офицерские погоны, он почувствовал себя выше и лучше рядовых солдат, отравила его «золотая пыль погон». Лишь непонятное ему самому таинственное движение души заставило юного Александра Солженицына отказаться от предложения пойти в школу НКВД, куда направлял его комсомол. Упрекая миллионы арестованных в молчании, он не оправдывает и себя. И он «много раз имел возможность кричать», но молчал. И в тюрьме еще, уже после ареста, продолжает Солженицын пламенно защищать марксизм, убежденный, что Сталин «искажил» Ленина. Постепенно — через страдания и будучи свидетелем чужих страданий — приходит он к своим новым убеждениям, к правде об обществе, в котором он живет, к вере, что на него возложена миссия сказать эту правду, крикнуть ее на весь мир.

Оригинальность Солженицына, как историка — в его мучительно-страстном отношении к объекту книги. Это не удивительно, если помнить, что объект этот — жизнь его народа и его собственная жизнь. О всех бесчисленных «потоках» арестованных, сброшенных в канализацию ГУЛага, писатель говорит с нескрываемой болью и горечью — это жизнь народа, это смерть народа. Сдержанность историка оставляет Солженицына при фактах жестокости, которые выделяются даже на Архипелаге, и он пишет, например, приводя случай расстрела шести колхозников за то, что они — после колхозного покоса — прошли по лугу еще раз, чтобы накосить чуть сена для своих коров: «Если бы Сталин никогда и никого больше не убил, — то только за этих шестерых царско-сельских мужиков я бы считал его достойным четвертования». И тут же напоминает себе: «однако вернемся к бесстрастию и беспристрастию». Бесстрастие покидает его, когда говорит он о «потоке» русских военнопленных: «История нескольких миллионов русских пленников пришивает меня навсегда, как булавка таракана». Это — жизнь писателя, с этими военнопленными он встретился в тюрьмах и лагерях, с некоторыми из них — он воевал вместе. Если нужно было бы выделить одну — лучшую — главу книги, написанную с особой страстью, с особым волнением и состраданием — следовало бы, мне думается, выбрать главу «Та весна». Это глава — о победной весне 45 года, которая была «в наших тюрьмах» весной русских пленников. Лился по камерам «поток всех, побывавших в Европе: и эмигранты гражданской войны; и остовцы новой германской; и офицеры Красной армии, слишком резкие и далекие в выводах, так что опасаться мог Сталин, чтоб они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали за сто двадцать лет до них. Но все-таки больше всех было моих ровесников, не моих даже, а ровесников Октября — тех, кто вместе с Октябрем родился».

Эти «ровесники Октября» и ровесники писателя (Солженицын родился в 1918 г.) — были ему особенно близки и понятны. Но не только этим пронзила его навсегда их история. В судьбе русских пленников раскрылась Солженицыну до конца бесчеловечность, неблагодарность и жестокость советского государства. Миллионы советских солдат оказались в плену у немцев — все они были объявлены изменниками родины, после возвращения домой — все они были посланы в советские лагеря. «Иногда мы хотим солгать, а Язык нам не дает... Их хотели объявить изменниками Родины, но никто не говорил и не писал даже в судебных материалах иначе,

как «изменники Родины.» Солженицын пишет: «Не они, несчастные, изменили Родине, но расчетливая Родина изменила им...» Писатель обращается к истории своей страны: «Сколько войн вела Россия... и много ли мы изменников знали во всех тех войнах?... Но вот при справедливейшем в мире строе наступила справедливейшая война — и вдруг миллионы изменников из самого народа. Как это понять? Чем объяснить?» И объясняет: «Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену родине, ибо и дураку было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этим всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем и не бредишь...» Солженицын делает вывод, что Сталин посадил миллионы бывших пленных в целях превентивных, дабы сохранить существовавший до войны «занавес», отделявший страну советов от остального мира. Он приходит к выводу: «А может быть дело все-таки в государственном строе?..»

И этот вывод — один из важнейших в книге: Родину и государственный строй нельзя отождествлять — он доказывает еще раз, говоря о судьбе тех, кого, как он признает, «можно судить за измену», — о судьбе власовцев.

Солженицын знает, что рассказ о власовцах будет самым взрывным в книге, что он вызовет особую злобу у противников писателя: «Слово «власовец» у нас звучит подобно слову «нечистоты»... Но так не пишется история. Сейчас, четверть века спустя, когда большинство их погибло в лагерях... я хотел страницами этими напомнить, что для мировой истории это явление довольно небывалое: чтобы несколько сот тысяч молодых людей в возрасте от двадцати до тридцати лет подняли оружие на свое Отечество в союзе со злейшим его врагом». Кто больше виноват: эта молодежь или седое Отечество? Вопрос, который ставит Солженицын можно сформулировать и по-другому: имеет ли государство только права по отношению к своим гражданам, есть ли у государства обязанности?

Писатель не оправдывает «власовцев», он с беспристрастием историка склоняется над причинами, побудившими их одеть немецкий мундир. Одни — записывались в антисоветские формирования «чтоб только вырваться из смертного лагеря. Другие — в расчете перейти к партизанам (и переходили! и воевали потом за партизан — но по сталинской мерке это нисколько не смягчало их приговора)». Но была и третья категория: «В ком-то же и заныл позорный сорок первый год, ошеломляющее поражение после многолетнего хвастовства; и кто-то же счёл первым виновником вот

этих нечеловеческих лагерей Сталина. И вот они тоже потянулись заявить о себе, о своем грозном опыте: что они тоже частицы России и хотят влиять на ее будущее, а не быть игрушкой чужих ошибок».

Писатель делает вывод: государство, отнявшее у человека всякую возможность влиять на судьбу страны, всякую возможность выбора, сделавшее его «игрушкой чужих ошибок», несет главную вину за то, что сотни тысяч молодых людей подняли оружие против своей родины, за то, что они сделали единственный открывшийся им — страшный, смертельный — выбор.

«Где начинается родина?» — спрашивает популярная советская песня. Александр Солженицын как бы спрашивает: — где кончается родина? Он приводит слова старого русского художника, сидящего в немецком лагере и раздумывающего о родине, отказавшейся от своих: «Как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже — бросила собакам? — Разве она остается нам матерью? Если жена пошла по притонам — разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам — разве это Родина?»

Как бы замыкается круг, начатый в январе 1918 г. словами Ленина о необходимости очистки России от насекомых, продолженный десятилетиями непрерывной чистки, созданием Архипелага, ставшего фундаментом государства. Отказ Родины от своих солдат, измена Родины им — логическое завершение процесса, первым этапом которого было отождествление Родины с революцией, а следующими — ее отождествление с государством, с единоличной властью тирана, с насилием.

Александр Солженицын нарушает самое запретное из табу, сковывающее сознание советских граждан. Но именно это дает ему внутреннее духовное освобождение. «Я межзвездный скиталец, — говорит он о себе, вспоминая узника из романа Джека Лондона. — Тело мое спеленали, но душа — не подвластна им». В тюрьме находит он освобождение: «Не здесь ли в тюремных камерах и обретает великая истина? Тесна камера, но не еще ли теснее воля?» В неволе приходит он к «великой истине»: истина познается в страданиях. Он приходит к подлинному соединению с народом; «Не народ ли наш, измученный и обманутый, лежит с нами рядом под нарами и в проходе?» И на последних страницах первого тома «Архипелага ГУЛага» находит Солженицын героя, которого он искал. Он находит его — неожиданно для себя — в стихах Пастернака, которого раньше не любил, «считал манер-

ным, заумным, очень уж далеким от простых человеческих путей». Услышав последнюю речь Шмидта на суде (поэма Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт»), был Солженицын «пронят», ибо она как нельзя лучше отвечала его чувствам и мыслям. Лейтенант Шмидт — организатор восстания моряков крейсера «Очаков» в ноябре 1905 г. — произносит перед смертью слова, к которым хочет присоединиться Солженицын: Я тридцать лет вынашивал / Любовь к родному краю, / И снисхожденья вашего / Не жду и не теряю!

Лейтенант Шмидт, выступивший против правительства, которое он считал антинародным, представляется Солженицыну образом патриота: Не встать со всею родиной / Мне было б тяжелее, / И о дороге пройденной / Теперь не сожалею.

Можно думать, что еще больше двух процитированных в книге строф из «Лейтенанта Шмидта», поразила писателя строфа, в которой мятежник говорит о своем предназначении:

Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Александр Солженицын принял свое предназначение, свою миссию: вернуть народу память, сказать правду о прошлом, стать свидетелем и историком эпохи хаоса. «Следует верить только тем свидетелям, которые дают себе перерезать горло», — писал Паскаль. Солженицын был готов к этому.

Елена ВЛАДИМИРОВА

Как передать суровость этих мест!
Простор воды, сереющей окрест,
Немую тяжесть сопок за спиною,
Рыбацкого поселка нищету,
Сиротство чувств и мыслей пустоту,
Размытых океанскою водою.

Встает рассвет, прозрачен и суров.
Чернеет челн у дальних неводов.
Вода, уснув, под ним не шевелится.
До боли зубы сжав, натянутой струны,
Я отражаю натиск тишины,
Той, что во мне, и что в меня струится.

Как дать отпор огромности чужой?
Как овладеть скользящею душой,
Теряющей привычные границы?
Укрытья лишена, опоры лишена,
На берегу чужом, как старая сосна,
Стою и не хочу, и не могу склониться.

Какая тишь. И как неравен бой!
Как трудно жить, как трудно быть собой,
И как еще труднее — измениться.
И где слова, чтоб передать другим,
Как, — жизни тень, — плывущий мимо дым
Один скользит над водною границей.

Колыма

*) Стихи, сочиненные в лагерях, переданы освободившимся ээком, запомнившим их по памяти.

«ДОН КИХОТ»

1.

Какая-то тень легла на костер...
Поднял глаза, посмотрел в упор
На злую, как смерть, старуху.
Костер от страха задрожал и потух.

Во весь свой рост спокойно встал.
Поклонился низко, как кланялся даме.
«Синьора Смерть, я Вас узнал.
Идемте, я готов следовать за вами».

Старуха рассмеялась, как рассыпала костяшки.
Сухим языком губы облизывает.
«Вы ошиблись, Синьор, я — Жизнь».
И в первый раз рыцарю стало страшно...

2.

Люди за счастьем карабкаются
И попадают в беду.
Большие и маленькие страсти
Спихивают, как в бреду.

Я не люблю вас, крохотные,
Мне смешны ваши вопли во тьме.
А вот Сервантес, — Дон Кихота
Взял и написал в тюрьме.

Воркута

Жизнь — всюду жизнь. В ней дня сверканье
И лунной ночи серебро.
Долг — всюду долг. Всегда — сознание
Того, что — зло и что — добро.

Среди природы злой и скудной
В огне сомнений и тревог,
Проходим мы дорогой трудной,
Труднейшей из земных дорог.

И вспоминаем, где-то, шелест
Тенистых рощ, морской простор,
Веселых нив живую прелесть
И аромат цветущих гор.

И мы проходим круг за кругом,
Спускаясь шаг за шагом в ад,
То с возмущеньем, то с испугом
И нет нигде путей назад.

Но ты всегда и где-б ты ни был
Сумей остаться сам собой.
Над головой повсюду небо,
Земля повсюду под тобой.

Ты столько лет жил приготовясь
Чтоб говорить свободно, вслух.
Что чистую встревожит совесть?
Кто гордый поколеблет дух?

Долг — всюду долг. Его сознание
Превыше всех земных удач.
Жизнь — всюду жизнь. В ее сверканье
Разгадка вековых задач.

Спасск (Казахстан) — 1950-1956 г.г.

Евгений БАРАБАНОВ

ПУТЬ СОВЕСТИ

— Этого Солженицына судить надо, — сказал мне знакомый, показывая газету.

— За что?

— Там все написано. Предателей все презирают. И нечего меня переубеждать — в наших газетах неправды не напишут...

И я прочел эту правду: «Предательство», «циничная фальсификация», «злонамеренная выдумка», «провокатор и подстрекатель», «матерый деляга», «юродствующий во Христе», «мерзость и ничтожество»... Подобных выражений я насчитал больше семидесяти на шести коротеньких столбцах. Между ними попадались какие-то невнятные фразы о том, что Солженицын восхваляет гитлеровцев, воспекает власовцев, глумится над героическими жертвами нашего народа, понесенными им в войне, и утверждалось, что всем этим Солженицын хотел понравиться западному читателю. Что же это за книга — «Архипелаг ГУЛаг» — о чем она? О войне? Написана ли она стихами или прозой, каков ее план, есть ли какая-то последовательность мысли в ней? (Кто понял, что — о тюрьмах и лагерях?) Где-то вскользь промелькнуло, что книга эта «замаскирована под документальность». Тут бы, кажется, автору «Правды» и документы в руки. Но нет. Опять все то же: «состряпанная в угоду...» и т. д.

Как же произошло, что мой знакомый, человек, я знаю, незлобивый, — так вот сразу решил, что надо судить. И не показалось ему странным, что в той же статье толкуется о «Пире победителей», пьесе Солженицына, которая, как тут же сказано, автором не публиковалась. Как же она стала известна в «Правде»? Выкрали ее, что ли, из авторского стола?

Почему Солженицын — предатель? Кого он предал? Какие выдал секреты? Чьи секреты? От кого? Почему умалчивание о эле совпадает с нашим нравственным долгом? Говорят, что он предал дело социализма. Но означает ли это, что преступления, о которых он заговорил — неотъемлемая часть социализма? И

кто взял с нас обязательство молчать о фальшивых и нелепых обвинениях, стоивших людям жизни, о вымогаемых признаниях в несовершенных преступлениях, о пытках, о смертях сотен, тысяч, десятков тысяч от голода, холода и нечеловеческих условий? Или об этом уже все сказано и нечего беречь прошлое? Пусть укажут хоть одно исследование, хоть одну книгу, в которых обо всем этом было полно рассказано.

Такая книга должна была давно появиться, и вот она появилась. Большой русский писатель сделал то, что неоплатным долгом лежало на всей нашей литературе и истории. Он стал голосом народной совести. Услышим ли мы его сегодня? Захотим ли услышать? Отрава прошлых насилий, судебных инсценировок, доносов, страха и молчания продолжает разъедать и нашу теперешнюю жизнь. Разве вой глушилок, бдительная цензура и травля вольного слова — не продолжение того же? Не тем же ли ядом пропитаны сегодня закрытые судебные процессы, упрятывание здоровых людей в сумасшедшие дома? Не тем же ли страхом правды подстегивалась охота за «Хроникой текущих событий» и только за то, что она свидетельствовала о новых обысках, новых арестах и новых заключенных?

«Архипелаг» — великое свидетельство, но не только. Это путь к искуплению и очищению. Теперь уже ясно: правда, дозированная сотыми долями, чтобы помягче, побезопаснее и безболезненнее, — не излечивает, а консервирует жестокость и равнодушные. Теперь, когда правда сказана в полный голос — от нас, от всех, от каждого зависит наш **н р а в с т в е н н ы й** **в ы б о р**: будем ли мы продолжать лгать, когда ложь уже очевидна, или найдем в себе мужество принять всю правду и жить по ней. Этот выбор не означает ни гражданского неповиновения, ни политических выступлений. Речь идет о восстановлении нравственных основ, без которых немисливо никакое человеческое общежитие. Солженицын не призывает мстить. Его книга, книга христианина, подводит нас к подлинному пониманию и к конечному прощению. На наших плечах лежит бремя исторической ответственности. Нельзя более уклоняться и ждать: история может не предоставить нам другого подобного случая.

Люди едины в правде. Насилие везде остается насилием. Приклеивать политические ярлыки к свидетельствам о жертвах — нравственное преступление во всех концах земли. Поэтому проявление человечности, солидарности, сострадания никогда не смо-

жет стать помехой для подлинного мира и сотрудничества народов.

Нет, не Солженицына нужно сейчас судить, а самих себя — судом совести.

Евгений Барабанов

28 января 1974 г.

Москва, Ярославское шоссе, д. 111, кор. 2, кв. 283.



С. АГУРСКИЙ

ОБРАЩЕНИЕ К АМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Я не собирался писать это письмо. Но произошло событие, сделавшее это для меня нравственной необходимостью. В газете «Советская культура» за 25 января была помещена исключительная по своей лживости и лицемерию статья вашего соотечественника А. Кана против Солженицына. Редакция газеты назвала А. Кана «известным американским писателем и публицистом». Я стал напряженно припоминать это имя. Оно пробуждало во мне очень неприятные, но неопределенные ассоциации. Я обратился за справкой в советскую «Литературную энциклопедию» и нашел там это имя. Там сказано, что Альберт Юджин Кан (р. 1912) — американский публицист, автор многих книг, в т. ч. «Заговор против мира», где он изобличил гитлеровскую военщину; «Тайная война против Америки», где он вскрыл подрывной характер немецкой «пятой колонны» в США; «Измена родине», где он осудил преследование прогрессивных деятелей в США; «Время решений», где он призывает к миру и, наконец, «Дни с Улановой». Все эти книги немедленно переводились на русский язык, начиная с 1945 года.

Но эта справка не рассеяла все же странного ощущения недосказанного. Что-то неясное и очень неприятное оставалось в моем сознании. И вдруг я вспомнил... Да не тот ли это самый Кан, который вместе с неким М. Сейерсом был автором одного из главных бестселлеров послевоенной России, носившим название «Тайная война против Советской России»? Я вспоминал, как будучи подростком, я с отвращением держал эту книгу, где передавались все чудовищные измышления, почерпнутые авторами из официаль-

ных советских отчетов о публичных процессах в период кровавых чисток, начиная с 20-х гг.

Я, сын американского социалиста и одного из организаторов компартии США, приехавшего в Россию в 1917 г. и занявшего тут высокий пост, а затем арестованного в 38 г., знал правду о массовом терроре с детства. Я знал о том, что миллионы людей были арестованы, расстреляны, сосланы, оклеветаны. Я прожил несколько лет с отцом в ссылке и сам видел страдания тысяч людей.

Я понимал страх своих соотечественников перед террором, когда все вынуждены были повторять лживые утверждения пропаганды, но в моей голове не могло тогда уложиться, как люди, живущие в свободной стране и никем не принуждаемые, повторяют эту чудовищную ложь. И тогда без всяких юридических улик я решил про себя, что Сейерс и Кан — люди заведомо нечестные и подкупленные сталинским режимом. Их книги, решил я, громадными тиражами издаются в СССР, им платят здесь огромные деньги только для того, чтобы убедить советских людей, что чудовищная ложь, измышленная режимом, разделяется всем миром.

Таково было мое первое впечатление от книги Сейерса и Кана. Меня не очень удивило, что она не упомянута в «Литературной энциклопедии». Я решил, что она и вовсе изъята из советских библиотек, как это слишком часто бывает в СССР со ставшей нежелательной литературой, подобно тому как это делалось в известном романе Орвелла. Все же я отправился в библиотеку и к некоторому удивлению обнаружил книгу Сейерса и Кана на месте, и вскоре держал в руках как ее русский, так и английский экземпляры.

Такого апофеоза сталинизма я уже давно не видывал. Трудно придумать худшее надругательство над десятками миллионов людей, погибших в огромной тюрьме, которую представлял СССР. Авторы в предисловии сообщают, что они почерпнули их из официальных документов. Это верно, но они не только заимствовали их без всякой критики, но и добавили туда собственную оценку, связав весь материал так, чтобы тот был более выгодным для СССР в пропагандистском отношении. Более того, они явно приспособляли свой материал для советского читателя послевоенного времени, удаляя из него все, что стало неудобным для СССР, как, например, имя наркома внутренних дел Ежова, имя которого до конца 38 г. не сходило с советской печати, как главного помощника Сталина в чистках.

Смотрите, как лихо они писали о положении в СССР в 1934 г., чтобы оправдать в глазах читателя массовый террор 36-38 гг. Таких слов нельзя было, пожалуй, найти ни в одном советском документе: «К осени 1934 г. троцкистские и правые террористические группы действовали по всему Советскому Союзу. В состав этих террористических групп входили бывшие эсеры, меньшевики, профессиональные убийцы и бывшие агенты царской охранки. На Украине и в Белоруссии, в Грузии и Армении, в Узбекистане, Азербайджане и в Приморской области на Дальнем Востоке в террористический аппарат вербовались фашисты и антисоветски настроенные националисты. Во многих местах операциями этих групп непосредственно руководили нацистские и японские агенты. Был составлен список вождей, которых намечалось убить. Во главе списка стояло имя И. Сталина. Далее следовали имена К. Ворошилова, В. Молотова, С. Кирова, Л. Кагановича, А. Жданова...» (стр. 276-277).

Перечитав это, я пришел к выводу, что мои юношеские впечатления о Кане и Сейерсе были вполне справедливыми, но быть может чересчур мягкими.

Неудивительно поэтому, что тот же самый животный страх перед разоблачением Солженицына, охвативший многих высокопоставленных лиц в СССР, охватил и отвратительного лгуна Кана. В бешенстве и вновь не бесплатно он принялся обвинять во лжи Солженицына, снова кощунствуя над памятью десятков миллионов жертв террора.

Полемизировать с Каном бессмысленно. Я хотел бы обратить внимание только на одно место из его статьи, касающееся положения евреев. Кан отрицает утверждения Солженицына о готовившемся массовом погроме евреев. Будучи сам евреем, я слишком хорошо помню события начала 1953 г., последовавшие вслед за арестом врачей. Я хочу заявить, что все, о чем говорит Солженицын, есть чистая правда, и только смерть Сталина спасла евреев от грозившей беды. Солженицын не первый сказал об этом. Среди многих говорила об этом и дочь Сталина — Аллилуева.

Непонятно лишь, почему погром против евреев и государственный антисемитизм в СССР кажутся столь невероятными событиями после того, как в 1943-44 гг. был произведен массовый погром крымских татар, чеченцев, калмыков, балкар и др. национальностей. Их судьбу мог разделить любой народ страны.

Разумеется, Альберты Каны или же Гэсы Холы, делающие отличный бизнес на страданиях советского народа — это край-

ности среди американского народа. Но я бы не обращался к американской интеллигенции, если бы не знал, что в ее среде продолжают жить еще различные иллюзии по отношению к тому, что происходило и происходит в СССР. Во многом это является следствием лживой информации, распространявшейся за пределами СССР с помощью подставных лиц вроде Кана. Но во многом это следствие политической наивности американской интеллигенции, которой трудно представить себе размеры этой лжи. Жертвой этой наивности оказывались и видные государственные деятели. Летом 1941 г. посол США в СССР Д. Дэвис писал (цитируя по книге Сейерса и Кана) о массовом терроре в СССР в предвоенное время:

«Теперь совершенно ясно, что все эти процессы, чистки и ликвидации, которые в свое время казались такими суровыми и так шокировали весь мир, были частью решительного и энергичного усилия сталинского правительства предохранить себя не только от переворота изнутри, но и от нападения извне. Оно основательно взялось за работу по очистке и освобождению страны от изменнических элементов. Все сомнения разрешились в пользу правительства». В России в 1941 г. не оказалось представителей «пятой колонны» — они были расстреляны. Чистки навели порядок в стране и освободили ее от измены» (стр. 351).

Что может быть ошибочнее и кощунственнее этих слов? Массовый террор не был направлен против мнимых шпионов и террористов. Он был направлен против всего народа.

Советская пропаганда, а по ее указке и Кан, называют Солженицына контрреволюционером. Да, если считать массовый террор, унесший десятки миллионы жизней, революцией, то он действительно «контрреволюционер».

Я не разделяю убеждений своего отца. Я знаю, что он, способствуя нелегальной организации компартии, нарушал законы США, куда тайно ездил по поручению Ленина. Но я знаю, что мой отец был честным человеком и то, что американские коммунисты и некоторые им сочувствующие из среды американской интеллигенции улюлюкают над могилами десятков миллионов жертв террора: коммунистов и некоммунистов; интеллигентов, рабочих и крестьян; атеистов и верующих; русских, евреев, украинцев, грузин, литовцев, узбеков привело бы его, испытавшего на себе советские тюрьмы, в гнев. Ему было бы особенно стыдно за то, что он подготовил почву для таких людей, как Гэс Холл или Альберт Кан, имя которых в России без отвращения не может произнести ни один честный человек.

Во имя памяти десятков миллионов невинно замученных людей я призываю американскую интеллигенцию отказаться от своих иллюзий по отношению к тому, что происходило на великом Архипелаге.

Ищите своих путей достижения социальной справедливости и свободы, но знайте, что отождествляя свои идеалы хоть в какой-то степени с государственным строем, царящим на Востоке, вы тем самым можете оказаться на краю катастрофы. Я, однако, уверен, что этого с вами не произойдет, если вы поймете, что Воркута, Колыма, Лубянка, Соловки не лучше Освенцима и Майданека.

30 января 1974 г.



Борис ШРАГИН

С О В Е С Т Н О

Сквозь вой и писк глушителей слушаю по радио новую книгу Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛаг». Читаю всякий невнятный вздор о ней в газетах. И мне совестно. Совестно не за тех, кто по каким-то своим корыстным соображениям взялся кричать руганью ужасную правду: в конце-концов, что ж еще им делать? И не за тех, кто своим молчанием невольно попустительствует травле писателя и внутренне смирился с любой расправой над ним, на какую решится начальство: они либо дурно информированы, либо напуганы, либо повязаны страхом потерять работу, положение — все, что имеют.

Мне совестно, — как это только и может быть, — перед самим собой, за себя, в тишине собственной души. Кажется, нельзя жить по-прежнему, услышав эти прожигающие слова, нельзя воспользоваться ими для обличения прямых виновников и только. Но мы это делаем. И вот от этого совестно.

Близоруко, если не подло, придавать этой книге узко политический смысл. «Архипелаг ГУЛаг» потрясает читателя обилием и концентрацией разоблачающих свидетельств, но это только первый и еще слишком поверхностный эффект. Пройдет немного времени, и все рассказанное там станет достоянием всеобщей осведомленности. С этим хочешь-нехочешь, но придется жить. И вот тогда выступит непреходящее значение этой книги — ее очистительная сила.

«Архипелаг ГУЛаг» — книга жесткая, гневная, но добрая. Солженицын не нагнетает слепую ненависть, готовую лишь карать

и казнить. Нет, он побуждает нас оборотиться на самих себя, будит в нас задремавшую совесть, напоминает о нашей ответственности за зло, творимое вокруг. Он вернул нам великую нравственную силу русской литературы, ею высветил равнодушие и жестокость, в которых мы погрязли.

«Есть, есть Божий суд» — сказано в стихах Лермонтова, знакомых каждому из нас с детства. Но нас уверили, будто это всего лишь поэтический троп, вышедшее из моды словоупотребление. Солженицын утвердил своей книгой, что Божий суд действительно есть.

Со школы мы знали, что слова Достоевского о «слезе ребенка», которая так же дорога, как все счастье мира, имеют цену только для обвинения помещиков и капиталистов. Мы смотрели с чувством снисходительного превосходства на мораль Толстого, твердо, кажется, зная, что убийство и насилие не всегда и не безусловно скверны, что хорошо, будто бы, когда мы убиваем, но плохо, когда убивают *н а с и н а ш и х*. Мы так заблудились в этих ухищрениях своей партийной морали, что в конце-концов принялись без разбору истязать и наших, и не наших, и своих, и чужих, — всех, кто подвернется под горячую руку. Мы потеряли всякое представление об абсолютной ценности человеческой жизни и свободы. И вот Солженицын показал последствия утраты людьми самых первичных, самых изначальных нравственных опор и тормозов. «Каин, где твой брат Авель?» — таков вопрос, вставший сегодня перед всеми нами.

И поэтому глупо спорить, было ли прежде рассказано то, что обнажилось перед миром талантом Солженицына. И не могло быть рассказано теми, кто и сейчас еще заходится от ярости перед правдой «Архипелага ГУЛага». И не могло быть рассказано потому, что не испытывали те рассказчики трагического потрясения. Если бы все всегда смотрели на вещи глазами Солженицына, то и не натворили бы ужасов и мерзостей, и не было бы нужды их разоблачать.

Тайна и авторитет, — как в «Великом Инквизиторе» Достоевского, — заместили совесть. Показалось, что достаточно скрывать свои деяния от постороннего взгляда, чтобы спокойно жить, чтобы комфортабельно обставлять свои квартиры, ласкать женщин и производить потомство, чтобы и глазом не сморгнув сыпать фразами про гуманизм и счастье всего человечества. Одни скрывали, а другие потворствовали этому сокрытию, так как правда лишала покоя. И приносились, и приносятся все новые жертвы,

чтобы убрать неугомонных свидетелей. Но вот силой духа, силой таланта зазвучали придушенные крики истязаемых, выступила кровь из-под розового подмалева, и коснулся нашего обоняния запах трупов, едва заброшенных землей.

Простоте и весомости слова противостоит грубая и неповоротливая машина насилия. «Архипелаг ГУЛаг» — это безраздельная победа слова. Она возвращает нам, разуверившимся, веру в добро и надежду.

Поэтому не шумихой, не скандалом, не препирательствами хотелось бы ее встретить, а сосредоточенностью и молчанием. Надо бы смиренно склонить головы перед этим монументом, увековечившим, наконец, память о жертвах разнуздавшегося произвола.

Борис Шрагин, кандидат
философских наук (*)

Москва. 3 февраля 1974 г.



Лев КОПЕЛЕВ

ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С АРЕСТОМ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Москва. 13 февраля 1974 г. Утро.

Александра Солженицына — великого писателя и борца за справедливость знают десятки миллионов людей доброй воли во всем мире.

Александра Солженицына — человека мне выпало счастье узнать двадцать семь лет тому назад; я был вместе с ним — заключенным, переписывался с ним — ссылкой, тяжело больным, когда ему грозила смерть от рака, встречался с ним — школьным учителем, видел его писателем, который стремительно обрел всемирную и всенародную известность, когда им восхищались лучшие мастера нашей литературы — Ахматова, Твардовский, Чуковский, Паустовский, когда его восхваляли в газетах и журналах, с почетом принимали в Кремле, Союз писателей выдвигал на Ленинскую премию и перед ним заискивали именитые коллеги и сановники; я наблюдал его прославленным Нобелевским лауреатом и тогда уже вновь гонимым, преследуемым клеветой, руганью, угрозами, но вместе с тем счастливым мужем и отцом, верным другом,

*) Б. Шрагин — философ и кинокритик, член КПСС с 40-х годов до марта 1968. Эмигрировал на Запад в 1974 г.

неутомимым работником Слова... И всегда, везде, в горе и в радости, он оставался непоколебимо целеустремленным, одержимый одной страстью — сознанием своего писательского гражданского долга, сознанием, что он должен высказать то, чего не сказали миллионы умолкших: казненных, убитых, замученных пытками, голодом, каторжным трудом, то, чего не говорят миллионы безмолвных: обманутых, запуганных или скованных вязкой рутинной.

Александр Солженицын — прямой наследник благородных традиций русской литературы — традиций Герцена, Льва Толстого, Достоевского, Короленко, молодого Горького; наследство их действенного человеколюбия он развивает в беспрецедентном единоборстве с оглушительной ложью и всевластным насилием.

Арест Солженицына — тяжелый удар для него, для его семьи, друзей, читателей, однако в то же время это и его новая нравственная победа, подтверждающая истинность и злободневность его последней книги. Этот арест — действие саморазоблачительно безрассудного произвола. Но пока Солженицын в заключении никто в нашей стране, да и во всем нашем неделимом мире, не может чувствовать себя в безопасности.

Лев Копелев (*), литератор, член междунар. ПЕН-кл.
(Подпись)



Илья ПРИВОРОЦКИЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ВЫСЫЛКОЙ А. СОЛЖЕНИЦЫНА ИЗ СССР

Итак, злобная кампания лжи и клеветы завершилась изгнанием лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына из СССР. Советские власти не решились вновь подвергнуть писателя тюремному заключению. Карательная машина, описанная Солженицыным в его последней книге «Архипелаг ГУЛАГ», на этот раз сработала не в полную силу. Поддержка международной общественности спасла Солженицына и в настоящее время его безопасности ничто не угрожает. Однако, насильственное лишение граж-

(*) Лев Зиновьевич Копелев, р. 1912, критик, лит-вед, германист (биограф. см. КЛЭ, т. 3), канд. филол. наук. отсидел 10 лет в сталинских лагерях, реабилитирован и восстановлен в КПСС, исключен из партии в 1968, солагерник и друг А. Солженицына, послужил прототипом для Рубина в Круге первом.

данства величайшего из ныне живущих русских писателей, патриота своей страны, единственного, кто осмелился сказать всю правду о происходивших в ней трагических событиях, еще раз показало всему миру, что в Советском Союзе нет места для инакомыслящих и нет возможности для публичного выражения мнений, отличных от официального.

Изгнание из России русского писателя есть кара, которая для Солженицына, может быть хуже того, что он уже испытал в сталинском концлагере. Демократические страны Запада должны заявить советским властям, что подобные действия ставят под угрозу разрядку международной напряженности. Они должны потребовать, чтобы Советский Союз выполнял Всеобщую декларацию прав человека, в которой, в частности, сказано: «Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство» (ст. 15, п. 2). В этой связи уместно напомнить также советским властям, что «пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества» и что «создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха... провозглашено как высокое стремление людей». (Всеобщая декларация прав человека, Преамбула).

Сейчас демократическое движение в СССР практически разгромлено. Лишь немногие осмеливаются продолжать борьбу за гражданские права. Среди них — академик Сахаров, который, возможно, тоже будет выслан из СССР. Наиболее массовым в настоящее время является еврейское движение — борьба за право на эмиграцию. Евреи, лишённые советскими властями возможности выехать из СССР в Израиль, который они считают своей Родиной, немцы, которых не выпускают в ФРГ, а также граждане других национальностей, насильственно задерживаемые в СССР, возможно лучше других могут понять трагедию Солженицына, горячо любящего свою страну и лишённого права в ней жить. Демократическая общественность Запада должна помнить, что тех, кто добивается разрешения на выезд из СССР, возможно, ожидает судьба «героев» книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Многие из них уже находятся в тюрьмах и лагерях и число заключённых беспрерывно растёт. Предоставление гражданам СССР хотя бы элементарных гражданских прав и, в частности, права на эмиграцию, должно быть непременным условием для улучшения отношений между странами Запада и СССР.

Илья Привороцкий,
14. 2. 74. доктор физико-математических наук, Москва.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР
ПО ПОВОДУ ИЗГНАНИЯ СОЛЖЕНИЦЫНА (*)

Безответственные правители великой страны!

К длинному ряду ваших преступлений добавилось еще одно. Человека, который в глазах всего мира стал выразителем народной совести России, вы насильственно оторвали от родной земли; человека, который всю свою творческую жизнь посвятил непримиримой борьбе с ложью, вы оболгали с такой силой ненависти, которой вы уже давно не удостаивали никого в нашем отечестве; человека, с именем которого стали связаны самые светлые надежды на духовное возрождение России, вы объявили изменником Родины.

Изгнав его, вы нарушили свои собственные законы, ибо по вашим законам за то, в чем вы его обвинили, он подлежит не изгнанию, но смерти.

Вы не решились убить его не потому, что вы гуманисты, — вы ими не были никогда; но вы, кажется, начали понемногу понимать ту старую истину, что в духовной борьбе убитый противник намного опаснее живого.

В том, что вы начали это понимать, одна из великих заслуг Солженицына перед вашей собственной душой.

Но вы поняли еще далеко не всё.

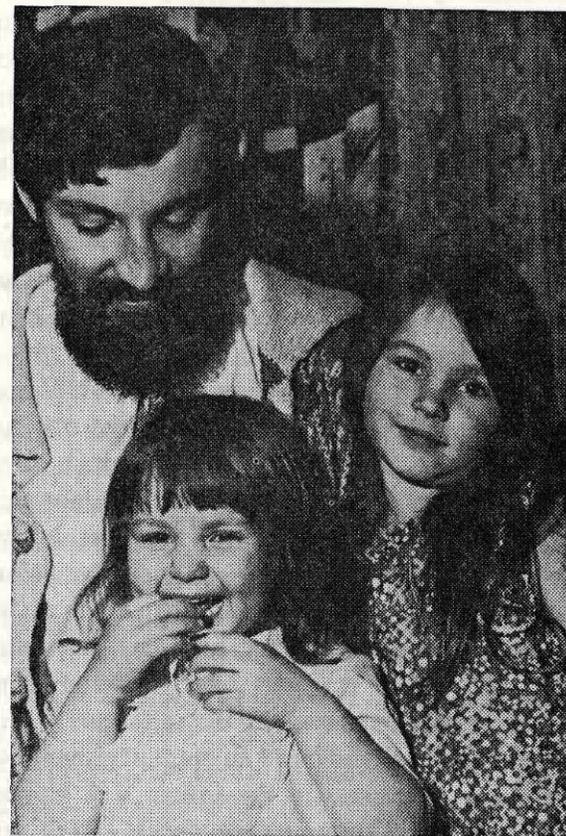
Вы еще не поняли, что с выходом в свет «Архипелага ГУЛага» пробил роковой для вас час истории; что с этого часа началось подведение итогов того эксперимента, которому вы подвергли Россию вместе с покоренными ею народами; эксперимента, грозные уроки которого послужат великим предостережением всему человечеству на все времена.

Вы еще не поняли, что БИРНАМСКИЙ ЛЕС УЖЕ ПОШЕЛ, что вы имеете дело не с маленькой кучкой людей, решивших больше не лгать, но что на вас поднялись десятки миллионов убитых, замученных, опозоренных жертв, на чьей крови ваши архитекторы замешали цемент того здания, в котором мы с вами ныне живем и которое обречено на крушение.

Они давно уже стучатся в нашу жизнь, но некому было открыть им дверь; Солженицын сделал это — и отныне ход истории

(*) Из Самиздатского сборника «Жить не по лжи». © Умса-Press.

становится качественно иным, ибо в их лице в нее вошла новая и неодолимая сила, перед которой вся ваша несостоятельность вскрыется быстро и неизбежно.



Лев Регельсон с двумя дочерьми

Вы напрасно пытаетесь оправдаться тем, что не успели принять личного участия в наиболее грандиозных злодеяниях прошлого; если вы, зная об этих злодеяниях, продолжаете насаждать почти божеские почести Ленину, воспитываете молодежь на примере Дзержинского, вменяете в вину Сталину только репрессии против партийного аппарата, если вы, боясь гнева собственного народа, продолжаете хранить в тайне архивы ЧК-ГПУ-НКВД, если вы даже «Архипелаг ГУЛаг» опубликовать не можете — то вы воистину преемники и наследники палачей, связанные с ними круговой порукой и несущие общую с ними ответственность перед Богом и перед человеческим родом.

Больше того, вы не только наследники, вы сами — палачи.

Генерал Григоренко в сумасшедшем доме, великий русский писатель Солженицын — в изгнании, академику Сахарову вы угрожаете наемными убийцами, а сколько людей за последние годы вы посадили в тюрьму только за то, что они говорили правду!

«Архипелаг ГУЛаг» — это обвинительный акт, которым открывается судебный процесс человеческого рода против вас — от тех, кто замыслил, до тех, кто сейчас завершает великое преступление против человечества, начавшееся 7 ноября 1917 года.

Свидетелям обвинения уже не страшны ваши застенки.

Живых вы можете арестовать, живых вы можете запрятать в сумасшедшие дома, живых вы можете убить — но когда оживают и восстают мертвые, то с ними вы уже не можете сделать ничего.

Преступники, что вы сделали с Россией!

Когда великая страна истекала кровью в борьбе с национальным врагом, когда получив, наконец, свободу, она мучительно и творчески искала новых форм государственного и социального существования, вы, кучка заговорщиков, присвоили себе право решать судьбу народа, предательски захватили власть и начали строить свой новый мир, положив в его основу ложь и насилие.

Вы объявили «мир народам» — и это означало, что вы начинаете войну против собственного народа. Вы считали людей своими врагами не только за то, что они оказывали вам какое-то сопротивление, но за то, что они принадлежали к определенному классу, сословию, национальности или вероисповеданию, будь это женщины или дети, беспомощные инвалиды или старики.

Вы дали землю крестьянам, и это была снова ложь, ибо это означало «хлеб — государству». А вскоре отняли и землю.

Вы объявили: «мир хижинам, война дворцам» и, захватив дворцы для себя, через десять лет начали такую войну против хижин, какой не знало человечество.

Вы объявили «диктатуру пролетариата» и, лишив рабочих всякой возможности бороться за улучшение условий труда, подвергли их такой эксплуатации, какая им и не снилась до революции.

Вы объявили «свободу совести» и сразу же принялись уничтожать и растлевать Церковь — драгоценнейшее достояние России, ее живую душу, ее материнское лоно, ее святое святых.

Ничто человеческое не было для вас священным, кроме ваших бредовых фантазмагорий, ради осуществления которых вы с самого начала были готовы залить мир потоками крови.

Довольно уже называть вас мечтателями-идеалистами, слишком дорого обошлись ваши мечты человечеству. Пора призвать вас к ответственности за ту историческую практику, в которую воплотились ваши мечты.

Вас предупреждали, что вы идете по ложному и опасному пути: вспомните пророческие предупреждения мыслителей, вышедших из вашей же среды — Бердяева и Булгакова — идей, которых вы смертельно боялись; вспомните предупреждения вашего же праотца — Плеханова; вспомните предупреждения наиболее трезвых из ваших же фракционеров.

Вы остались глухи в своем фанатическом упорстве.

Когда вы развернули свои злодеяния в масштабе всей страны, на вас обрушились грозные обличения Патриарха Церкви, в которых соединились голос Божий с голосом народной совести. Весь церковный народ был убежден, что вы коварно УБИЛИ Патриарха, убили его тогда, когда он уже не представлял для вас никакой политической опасности.

Ничто не остановило и не вразумило вас: ни величие духа ваших жертв, ни вымирание огромных областей страны, ни бездонное море сиротских слез, ни засухи, ни моровые язвы.

Наглые богоборцы, вы продолжали громоздить кровь на кровь, преступление на преступление. Вы шли путем Каина, восстав на Бога и отечество и пытаясь построить счастье детей на крови братьев.

И пусть паралич, которым Бог покарал вашего первого вождя, послужит вам пророческим прообразом того духовного паралича, который ныне неминуемо надвигается на вас.

Вы пролили кровь Авеля, расправившись с беззащитными священниками и монахами, вся вина которых была в том, что они, подражая первым русским святым и покровителям Русской Земли — страстотерпцам Борису и Глебу, — предпочли умереть, но ни словом, ни делом не принять участия в кровавой междоусобице, которую вы, братоубийцы, развязали в русской земле.

Вспомните и вашу расправу с сынами Сифа, с десятком миллионов лучших земледельцев России — вспомните сейчас, когда едите американский хлеб.

Вспомните, как с самого начала в ваших недрах зародилось ЧК — эта раковая опухоль, этот черный орден во главе с кровавосентиментальным мистиком, это государство в государстве, неподвластное никакому, даже вашему партийному контролю. Не

содрогнется ли мир, когда раскроются тайны этого ордена, недра которого были поистине адом на земле!

Знайте — нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Вспомните о той страшной угрозе человечеству, которая возникла, когда вы, всегда лживые, корыстные и беспринципные во внешней политике, задумали заключить союз с фашизмом и поделить с ним мир. Сталин и Гитлер, НКВД и ГЕСТАПО, объединенные во одно целое, — этот кошмарный призрак едва не стал исторической реальностью.

Но, несмотря на все ваши старания, Россия была еще недобита — слишком прочными оказались ее душа и тело, созидавшиеся десять веков. Гитлер, видимо, лучше вас понимал, против кого он воюет. Как вы были напуганы тогда! Как дрожал голос вашего вождя! Как он вдруг вспомнил, что те, кого он уничтожал миллионами и презрительно называл «винтиками», — на самом деле «дорогие братья и сестры»!

Вы потерпели поражение в войне с фашизмом, вы оказались несостоятельными в духовном, экономическом и военном отношении. Но на краю гибели проснулась Россия и, хранимая крестным благословением матерей, вдохновляемая проснувшимся народным чувством, еще раз выполнила свою историческую миссию и спасла человечество от той формы социализма, которую ныне называют «коричневой чумой». А как вас назовут, вы не задумывались?

На свое горе, Россия вынесла из огня и вас, своих паразитов, пронизавших всё ее могучее тело и отравивших ее многострадальную душу.

Еще не закончилась война, а вы уже начали расправу с победителями. Тех, кто нес по дорогам Европы знамя освобождения, вы заставили, как египетских рабов в эпоху фараонов, под палками лагерных надсмотрщиков созидать «великие стройки коммунизма».

Недобитых узников немецких концлагерей вы прямым ходом перебросили в концлагеря советские, и в застенках НКВД их ожидали трофейные машины для пыток, с которыми они уже познакомились в Гестапо. Особый и небывалый мир представлял в то время «Архипелаг ГУЛаг», и в этом бурлящем котле, невидимо для вас, слепых вождей, шла напряженная духовная работа, закладывающая подлинные основы грядущего национального и, может быть, всемирного возрождения.

А вам тем временем не давали покоя лавры нацистов. Вы задумали осуществить в подвластной вам части света «окончатель-

ное решение еврейского вопроса». Помните врачей, с которых началась операция разгрома сочиненного вами международного еврейского заговора? Вы хотели внушить русскому народу лживую идею о том, что главную вину за преступления и бедствия прошлого несете не вы и не сам русский народ, а евреи, навязавшие России свою злую волю. Но воздастся каждому по делам его! И если много было евреев в вашей ленинской гвардии, то воздастся им, равно как и всем прочим. Но козлом отпущения для всех они не будут, не надейтесь! Отвечайте сами за свои преступления!

Вспомните, идолопоклонники, какое мрачное исступление охватило вас всех, когда оказалось, что «светоч человечества», единственный человек в коммунистическом лагере, который имел право принимать какие-то решения, обожествленный кумир, которому вы передоверили свою душу и совесть, оказался таким же прахом земным, как и вы все, и, как гласит легенда, придушенный своими верными соратниками, отправился: телом — к своему предшественнику в Мавзолей, душой — на суд Божий.

Вспомните те тысячи раздавленных и растоптанных людей, которые стали посмертной жертвой этому кровавому Молоху. Будто мало ему было при жизни!

Как дальше жить? Как жить без него, — спрашивали вы себя? Но вот — живем.

Прошло несколько лет, и, раздавив с помощью танков и авиации восстания и забастовки в крупнейших лагерях, вы решили, наконец, что рабский труд не эффективен, что не уютно жить в постоянном смертельном страхе друг перед другом, и начали свою куцую реабилитацию, из всего преступного прошлого раскрыв лишь репрессии Сталина против неугодных ему партийных вожаков.

Вы предприняли безнадежную попытку гальванизировать духовный труп, в который уже превратилась ваша секта, впрыснув в нее энергии революции и гражданской войны, попытались вернуться от Сталина — к Ленину, от реакции — к «золотому веку» вашей недолговечной истории.

Замелькали потрепанные фильмы, вспомнили «Интернационал», Государственный гимн стал «песней без слов», снова, как при Ленине, стали закрывать и взрывать церкви, а ваш шутовской король застучал ботинком на Генеральной Ассамблее и замелькал на художественных выставках.

Как-то раз, перерезав весь скот, вы на один сезон чуть было не догнали Америку по производству мяса, а потом, оторвав от

учебы и службы студентов и солдат, бросили их лихорадочно вспахивать те земли, которые пятьдесят лет назад спокойно и уверенно начал осваивать Столыпин, и, если бы не ваша революция, была бы и сейчас Россия житницей мира.

Могли бы Индию кормить, а теперь висим у Америки на шее!

И догнали бы Америку даже в науке и экономике, если бы, опять же, не ваша революция, прервавшая бурное экономическое развитие, истребившая инженерные и научные кадры, создавшая уродливую и бездарную систему хозяйствования.

Культура же русская... вечная память ей!

О том, как вы гуманизировали внешнюю политику, пусть расскажут Венгрия и Чехословакия.

Ну, а для тех, кто всерьез принял разговоры о демократизации, кто всерьез решил, что их считают людьми, несущими ответственность за судьбы своего общества и государства, — для тех открылись сумасшедшие дома. Открыты и теперь.

Вот и вся ваша история.

Семь, а точнее, пять лет — Ленин, 28 — Сталин, год — Маленков, 10 — Хрущев, да вы, нынешние — 10, и все вы друг друга поносите, и остается вам один Ленин, потому что вас-то ваши преемники уж точно, понесут.

И вот эти-то первые пять лет — все, чем вы пытаетесь гордиться в вашей истории, — они-то и есть самые страшные. Хватит рассказывать сказки о пресловутой человечности Ленина. Он был первый лжец и насильник и продолжает быть наставником всех последующих. Ложь и насилие сочатся из каждой строки его писаний, из каждого его декрета, из каждого подписанного им приказа о расстреле и массовом терроре.

Что же теперь?

На чем же вы держитесь?

Во внешней политике — на примитивной демагогии и грубой военной мощи; во внутренней — на традициях страха и лжи, глубоко внедрившихся в душу советского человека.

И на этой основе, в союзе с хитроумными политиками, обманывавшими свой народ и нарушающими принципы демократии, вы хотите созидать «мир и безопасность» для всего Человечества?

Да кто, зная вас, поверит в вашу искренность?

Китайцев боитесь — вот и всё ваше миролюбие!

И правильно делаете, что боитесь, только недостаточно боитесь!

Вырастили у себя под боком, вскормили и вспоили чудовище, готовое пожрать весь мир и в первую очередь — Россию. О чем вы раньше думали?

О чем вы теперь думаете, видя в Китае повторение вашей же кровавой истории и продолжая цепляться за марксистские догмы, в которые и сами толком не верите?

Неужели вы всерьез собираетесь с коммунистическими лозунгами встретить идущий на вас войной коммунистический Китай? С томиками Ленина против томиков Ленина? Скажем откровенно — они куда ближе к реальному Ленину, чем вы.

Ваша идеология, ставшая уже для вас мертвой фразой, ваша бессмысленная верность преступному прошлому, от которого давно пора отречься, разоблачив его полностью и окончательно — всё это связывает вас по рукам и ногам, побуждая совершать одну государственную ошибку за другой.

Ваша экономика в тупике, научно-техническое творчество задыхается под прессом государственно-партийной бюрократии, армия лишена того сознания высокой цели, без которой нельзя побеждать, вся страна окружена атмосферой страха и ненависти.

Кто только не постарается всадить нож в спину России, если начнется война с Китаем? Кто добровольно протянет руку помощи?

В критическую минуту истории вы стоите на высоком и ответственном посту.

Найдите в себе силы одуматься и, не обольщаясь фальшивыми, вами же созданными мифами, взглянуть правде в глаза!

Не губите Россию!

Не навлекайте на нее гнев народов!

И уж если война с Китаем неизбежна, то, пока еще есть время, дайте народной душе очиститься перед великим и страшным испытанием!

Верните Солженицына!

Опубликуйте «Архипелаг ГУЛag»!

Прекратите травлю людей, говорящих правду!

Предоставьте народу гражданские свободы и хозяйственную инициативу с целью возрождения общественного сознания и здоровой экономики!

И вот что еще мы должны вам сказать — ибо кто скажет вам об этом?

Знайте, что душа любого из вас, каким бы тяжким грехом она ни обременялась, есть драгоценность для Бога, большая, чем все сокровища мира.

Вспомните благословение матерей, вспомните благословение родной земли, вспомните, как коротки оставшиеся дни вашей жизни.

Может быть, задумается кто-то из вас: а всё же нет ли над всеми нами Того, Который спросит за всё?

Не сомневайтесь — есть.

И спросит, и ответите.

Еще не поздно.

Отнимите Россию у Каина и отдайте ее Богу, ибо кровь Авеля вопиет от земли...

17 февраля 1974

Москва

Л. Л. Регельсон

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ «МОСКОВСКОГО ОБРАЩЕНИЯ»

Присоединяя свои подписи к МОСКОВСКОМУ ОБРАЩЕНИЮ А. Сахарова, Е. Боннэр, В. Максимова, М. Агурского, Б. Шрагина, П. Литвинова, Ю. Орлова, свящ. С. Желудкова, А. Марченко, Л. Богораз, мы снова просим мировую общественность, интеллигенцию, честных людей разных стран не оставить его без внимания.

Мы поддерживаем требования:

1. Опубликовать «Архипелаг ГУЛаг» в СССР и сделать его доступным каждому соотечественнику;
2. Опубликовать архивные и иные материалы, которые дали бы полную картину деятельности ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ;
3. Оградить Солженицына от преследований и дать ему возможность работать на родине.

В сегодняшних советских газетах опубликована подборка ТАСС, смысл которой в «Комсомольской Правде» резюмируется так: «В зарубежной печати появился ряд комментариев, в которых выдворение за пределы Советского Союза Солженицына рассматривается как законный акт Советского государства, предпринятый против отщепенца, ставшего на путь служения междуна-

родной реакции, ее идеологическим целям — антисоветизму, борьбе против идей мира и социализма».

Одобряющих Указ Президиума, советские газеты относят к разряду честных и прогрессивных людей — не иначе. Готовы ли мы принять такое деление, этот вызов всем, считающим себя честными, оставить безответными?

Неужели свободный мир смирится с очередной фальсификацией мнения перед обманутым и запутанным народом? Неужели проф. Моргентау, Генеральный секретарь ООН Вальдхайм согласятся выступать перед советским читателем сторонниками преследований Солженицына? Ведь именно так они представлены советской прессой.

Возмущение, вызванное беспрецедентным похищением и высылкой Солженицына, не должно кончиться скоропреходящей газетной шумихой. Мы видим в нем действенную поддержку тем, кто готов жертвовать собой ради осуществления демократических и правовых свобод в нашей стране. Сейчас, после высылки Солженицына, эта поддержка незаменима. Мы задыхаемся в паутине лжи. Любое выступление протеста, любая человеческая реакция на обман и жестокость день ото дня становятся затруднительней, вызывая все более крутые и систематические репрессии. Круг сужается. Если вы не хотите, чтобы наш голос был заглушен окончательно, помогите нам.

Существенная помощь сейчас — поддержать МОСКОВСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ.

Помните: в том, о чем рассказано в книге Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», есть также и доля вины людей Запада. Многие на Западе равнодушны, а ныне с благожелательным сочувствием смотрели на осуществление в Советском Союзе жестокости, не давая себе труда осознать их смысл и масштаб.

Помните: у вас есть ОБЩЕСТВЕННОЕ мнение, а у нас только мнение ЦЕНЗУРЫ, у вас есть свобода слова, а у нас — только СЕРИЯ НАКАЗАНИЙ за попытки воспользоваться ею.

Не пора ли попытаться покончить с этим? Не пора ли осознать со всей ответственностью, что пользуясь нашей неосведомленностью, вас превращают в соучастников.

Международное общественное расследование преступлений против человечности, совершенных в Советском Союзе, необходимо для того, чтобы не только вскрыть, но и подтвердить известные факты. Не пора ли миру узнать, наконец, сколько же человеческих

жизней было загублено в советских тюрьмах и концентрационных лагерях — десятки тысяч? Миллионы? Десятки миллионов? — Сколько? Это нужно знать не ради мести за прошлое, но ради предотвращения ужасного будущего, ради спасения тех, кто сейчас страдает в беззащитности и бесправии.

Международный сбор подписей под **МОСКОВСКИМ ОБРАЩЕНИЕМ** необходим для того, чтобы выявить, наконец, мировое общественное мнение относительно книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» и того, о чем она, в такой форме, которая не допускала бы двусмысленных истолкований.

Поэтому мы снова просим всеми средствами массовой информации распространять **МОСКОВСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ**. Мы снова просим все культурные, общественные, религиозные организации создать Национальные комитеты для сбора подписей под ним.

Солидарность людей не может ограничиться словами. Она — действенна. В этом — наша надежда.

Москва, 17 февраля 1974 г.

Е. Барабанов
Т. Великанова
С. Ковалев
Т. Ходорович
В. Борисов



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СЕРАФИМУ, МИТРОПОЛИТУ КРУТИЦКОМУ И КОЛОМЕНСКОМУ

Ваше преосвященство!

Не только с недоумением, но и с большой скорбью прочитали православные христиане напечатанное в «Правде» заявление Ваше об изгнании из Советского Союза Александра Исаевича Солженицына. И не только потому, что один из иерархов Православной Церкви выступает с осуждением своего брата во Христе на страницах атеистической газеты, ежемесячно помещающей статьи против веры Христовой. Но даже не это обстоятельство прежде всего уязвляет большое сердце верующих.

Больно слышать голос митрополита Православной Церкви в хоре помраченных душ, трепещущих правды и истины! Вы, Владыко, бросаете камень в изгнанника, большого русского писате-

ля, своей мученической жизнью свидетельствующего подлинность религиозного делания. Только члены Христовой Церкви не поверят вашим словам о А. И. Солженицыне, твердо зная, что «блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Матфея, 5,10). Не поверят, так как столь страшного осуждения достойно лишь отвержение света Христова, забвение Господа нашего Иисуса Христа. К тому же, никакая правда не влечет за собою зла. Носителем зла является ложь. Но вы не говорите, где и в чем именно А. И. Солженицын искажает истину, Вы лишь обвинили его в «действиях, враждебных нашей родине». Как говорил Господь наш Иисус Христос: «Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Иоанна, 18,23).

Главное же чувство, которое испытываешь, читая Ваше заявление, Владыко — за Вас становится страшно. Митрополит Православной Церкви осудил писателя — христианина, изгнанного «правды ради». Не становитесь ли Вы, Ваше Преосвященство, и сами гонителем? И разве не почувствует любой христианин, читая Ваши жестокосердные строки, что Вас оставил Христос, потому, что и Вы его оставили? Ваша показная забота о «установлении прочного мира» разоблачила себя как дипломатия с собственной совестью, как лакейство.

Евгений Терновский, литератор,
Эдуард Штейнберг, художник.

Москва, 17 февраля 1974 года.



ПО ПОВОДУ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТ. В. ШПИЛЛЕРА ПРОТИВ СОЛЖЕНИЦЫНА

Открытое письмо

Наконец, московскому священнику В. Шпиллеру пришлось саморазоблачиться и приоткрыть свою неблаговидную роль в деле Солженицына, которую ему в течение длительного времени удавалось тщательно скрывать от общественности.

Несколько лет назад, как раз в начале официальной антисолженицынской кампании, злоупотребив исповедью и доверием первой жены Солженицына, о. Шпиллер стал систематически подталкивать её на шаги, враждебные Солженицыну, включая пуб-

личные выступления против него и писание мемуаров для АПН, целью которых была дискредитация её бывшего мужа.

В 1972 г. о. Шпиллер передал во влиятельные западные церковные круги письмо против Солженицына, но без права его публикации. Это письмо изобиловало грубейшими нападками на писателя. В частности, объявлялось, что Солженицын — «не от Бога», что, как известно, есть высшая форма осуждения человека.

Подобная форма выступлений исподтишка, очевидно, объяснялась тем, что о. Шпиллер явно опасался, что публичное выступление против Солженицына, который является гордостью всей страны, дезавуирует его упорно создававшуюся репутацию «оппозиционного» церковного деятеля.

Это выступление о. Шпиллера из-за угла вызвало критику одного из виднейших представителей зарубежного Православия прот. А. Шмемана, помещённую в Вестнике РСХД № 106 за 1973 г.

Но всего этого, повидимому, казалось недостаточным организаторам антисолженицынской кампании, по чьим указаниям с самого начала действовал о. Шпиллер. В феврале этого года уже после высылки Солженицына, о. Шпиллер сделал корреспонденту АПН заявление, превзошедшее по степени утонченной лжи и грубейшего ханжества всё, что говорилось против писателя. По-прежнему, справедливо опасаясь осуждения среди людей, всё еще доверявших ему, о. Шпиллер ухитрился и на этот раз постараться сделать свое заявление незамеченным в Москве.

Но на сей раз правду утаить не удалось. Его заявление оказалось напечатанным под его именем, хотя, правда, в очень малодоступном роталитном издании «Информационный бюллетень Отдела Внешних Церковных Сношений Московской Патриархии» (1974, № 4, 4 апреля).

До сих пор были известны различные виды богословия: догматическое, нравственное и т. п. О. Шпиллер становится родоначальником нового вида богословия — «богословия» лжи. Он ухитряется обозвать Солженицына злодеем, пользуясь для этой цели... цитатой из Священного Писания.

Среди многих удивительных высказываний, обсуждение которых выходит за рамки данного письма, о. Шпиллером, например, изложена поразительная теория добра и зла (по-видимому, в форме, доступной для корреспондента АПН), которая могла бы претендовать разве лишь на идеологию темной мистической секты, оправдывающей всяческие преступления. Любопытно, что о. Шпиллер обвиняет Солженицына в одном, с его точки зрения, злодейском

преступлении — а именно, в попытке создать внутри Церкви «опорный пункт действенной «христианской» альтернативы всему советскому обществу».

О. Шпиллер ничтоже сумняшеся объявляет Солженицына изгнанным из Церкви («Солженицын оказался вне нашей Церкви»). Уж, наверное, он имеет на то канонические полномочия... но от кого?

Всё же в заявлении о. Шпиллера имеется одно высказывание, которое без всяких оговорок следует признать правдивым. «Как мы ищем черту, — признается он с редкостным простодушием, — отделяющую подлинное и праведное охранение Церкви от соблазнительного самосохранения, здесь об этом говорить **неуместно**».

Что правда, то правда — совершенно неуместно! Стократно прав о. Шпиллер, признавая, что к **такому** опыту отыскивания пресловутой черты Солженицын и не прикасался. Мы не знаем в точности, когда именно о. Шпиллер приступил к поискам этой черты, но ясно, что в них он зашел уж слишком далеко, так что к нему вполне приложимы слова, которые он пытается применить к Солженицыну:

«Не повинуйся греху, чтоб не сделал он из тебя предмет отращения».

Остается всё же надежда, что о. Шпиллер поймет глубину своего заблуждения и найдет пути выхода из бесславного тупика, в который он попал.

6 мая 1974 г.

Осипов Владимир, г. Александров, Владимирской обл.

Агурский Михаил, Москва.

Бородин Леонид, г. Обнинск, Московской обл.

Машкова Валентина, г. Александров, Владимирской обл.

Терновский Евгений, Москва.

Ильяков Владислав, Киев.

Серый Станислав, пос. Тлюстенхаодь, Краснодарского края.

Иванов Николай, дер. Брыковы Горы, Владимирской обл.

Дудников Георгий, г. Нальчик.

Штейнберг Эдуард, Москва.

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА

*Это какая улица? — Улица Мандельштама.
Что за фамилия чёртова? —
Как её ни вывёртывай,
Криво звучит, а не прямо!
Мало в нём было линейного,
Права он был не лилейного.
И потому эта улица,
Или верней, эта яма —
Так и зовётся по имени
Этого Мандельштама.*

1.

Всякое творчество, а поэтическое в особенности, предполагает обязательное отвлечение от реальной, сиюминутной обстановки, действие в некотором воображаемом пространстве, в условном, придуманном мире, в конечном итоге — игру.

Критически мыслящему человеку, в высшей степени наделённому чувством юмора, всегда трудно, а чаще всего просто невозможно заставить себя всерьёз заняться игрой. Наличие потенциальных творческих возможностей только усиливает внутренний конфликт, чувство неудовлетворённости и неполноценности. Всякая попытка к творчеству, особенно на первичной, сырьевой, неудобоваримой и непризнанной стадии, вызывает у такого человека ощущение искусственности и нелепости происходящего.

Поэзия, как высшая форма человеческого общения, вовсе не могла бы существовать, если бы не исключения из этого правила. Эти исключения — и только они — определяют содержание, уровень и круг забот поэтического хозяйства.

Одним из таких исключений и представляется мне творчество Осипа Эмильевича Мандельштама...

В стихах Мандельштама, в статьях его о литературе очень рано возникает тема **п р е о д о л е н и я**, которая с годами звучит всё настойчивей и определённой.

«Поэт не есть человек без профессии, ни на что другое не годный, а человек, преодолевший свою профессию, подчинивший её поэзии». Под профессией здесь следует понимать совокупность всех вообще связей с действительностью и бытом, всякую безусловную, реальную, не игровую деятельность. Главное же препятствие, которое приходится преодолевать поэту — это его собственное чувство юмора, критичности, самоконтроля. Отсутствие этих качеств значительно облегчает работу — настолько же, насколько снижает её уровень. Здесь прямая зависимость: высота барьера определяет и высоту полёта. Мне кажется, секрет гениальности Мандельштама — в головокружительной высоте его иронии, которую он постоянно преодолевает и подчиняет целям поэзии. Разумеется, речь идёт не о механическом взятии рубежа, а об органичном усвоении. Барьер перестал быть барьером, потому что материал его израсходовался, впитался в стих, стал неотъемлемой частью поэтической структуры.

Вот автопортрет двадцатидвухлетнего поэта

*В поднятии головы крылатой
Намёк. Но мешковат сюртук.
В закрытии глаз, в покое рук
Тайник движенья непочатый.*

*Так вот кому лететь и петь
И слова пламенная ковкость,
Чтоб прирождённую неловкость
Врождённым ритмом одолеть.*

Вторая строчка начисто снимает внешний пафос стиха, лишает его права на самодовольство и неуязвимость. Вместе с тем, резко возрастает цена всего стихотворения в целом, за ним до конца закрепляется читательское уважение и доверие.

Ведь, говоря по совести, стыдно же писать стихи. Взрослые же люди! Втискивать фразу в прокрустово ложе строк, подбирать слова по созвучию их окончаний (что за блажь?), искажать самый смысл слова, используя его не по прямому назначению — это ли дело для уважающего себя человека?

Несомненно, что Осип Мандельштам, как никто другой, чувствовал постыдность занятия стихосложением, нелепость и нелов-

кость этой нездоровой профессии. Как никто другой, он понимал, на какой фантастической высоте находится отметка, отделяющая поэзию от непоэзии. Поэтому и всё его творчество, особенно стихи последних лет, расположено вне черты поэтической оседлости, далеко за гранью профессионального писательства и сочинительства. «Я один работаю с голоса, а кругом густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель — пошли вон, дураки!»

2.

Последние стихи Мандельштама написаны более тридцати лет назад, но читательская реакция на них проявилась совсем недавно, и хотя ни поэт, ни читатели в этой задержке неповинны, с ней приходится считаться. Ещё нет той «далековатости», которая, по его же словам, необходима для познания явления. Тем не менее, значительность самого явления, его неизбежная чреватость и последствие — очевидны, и не говорить о нём уже нельзя.

Пользуясь терминологией «Разговора о Данте», можно сказать, что стихи Мандельштама встряхнули нас на середине слова «поэзия», заставили совершенно по новому чувствовать и оценить его смысл и функциональную принадлежность.

Что представляло — что представляет собой русское стихотворчество к моменту появления в нём (при втором своём рождении) имени Осипа Мандельштама?

Десять лет назад, со смертью Бориса Пастернака, мы потеряли последний ориентир в бесконечном море стихов. «Август» — это не только прощанье с жизнью большого поэта, но и наше всеобщее прощанье с творчеством и чудотворчеством, со всем тем, что составляет сущность подлинной поэзии. Разумеется, были и есть отдельные всплески, попытки и потуги, и если дать себе труд полистать журналы, можно уловить кое-какую возню, создавшую видимость движения. Саморазоблачения сменяются поучениями, лесенки — ровными строчками, рифмы внутренние — рифмами внешними и т. д. Делаются попытки наметить различные, чуть ли не враждебные друг другу направления, которые по сути дела, великолепно сходятся на полном отсутствии поэтической правды. По чисто формальным признакам все эти ритмизированные проявления могут быть распределены по двум потокам. Первый поток — стихи — размышления и стихи — истории, которые, как правило, без особого труда поддаются пересказу. Второй поток — стихи трюкового, ещё точнее, циркового направления. Категории

эти отнюдь не антагонистические и вполне могут уживаться и сочетаться в работах одного автора.

Первый поток менее опасен, так как несостоятельность «печальных переписчиков готового смысла» легче обнаружить.

Что же касается цирка в поэзии, то с ним дело обстоит сложнее, как, впрочем, и вообще с цирком в обычном смысле этого слова. Цирк, в отличие, например, от театра, — искусство, по сути своей, обывательское, рассчитанное не столько на эстетическое наслаждение, сколько на чистое удивление. Цель представления — поразить, оглушить, задавить зрителя каскадом необыкновенности, труднодоступности, сверхчеловечности. Видишь, как я умею? Тебе так не сделать, хоть ты лопни!... Ну, и, конечно же — кровавый интерес к возможному печальному исходу, интерес который культивируется и лелеется цирком. Бой гладиаторов и коррида — из того же семейства. Отсюда и вся, сохранившаяся неизменной, страшная антично-средневековая атрибутика цирка: дети, карлики, уроды; напряжённые, с видом на хлыст, пляски животных; униженно-пискающие голоса клоунов...

Такой же пример унылого самоутверждения являет нам и «цирковая» поэзия. То же назойливое желание удивить, тот же выкрик: «а ты так умеешь?», то же царство силовых, ловкостных, скоростных и прочих спортивно-зрелищных критериев.

В промежутках между представлениями люди цирка любят говорить о той изнурительной ежедневной работе, которая стоит за каждым номером. Разумеется, ни одно дело не дается легко, без явной или скрытой черновой работы. Но ни от одного вида искусства так не пахнет потом поденщины, и нигде так не стараются замаскировать этот пот внешней красотой и респектабельностью. Трудно найти что-нибудь более фальшивое, чем кривые улыбки тяжело дышащих наездниц и акробатов.

Точно так тяжело дышат и пахнут потом однообразной физической работы стихи современных «интеллектуалов». После прочтения стиха наступает явное облегчение, мышцы инстинктивно расслабляются, дело сделано, всё обошлось благополучно, можно идти спать...

3.

Ни в коем случае я не хочу сказать, что стихи Мандельштама, которые стали доступны читателю лишь в самое последнее время, выиграли от этого безрадостного фона. Наоборот. Идиотское наше воспитание, отсутствие реальных поэтических критериев,

полная потеря профессионализма в этой области, — безусловно мешали, мешают и теперь, глубокому и неискажённому пониманию его творчества. Тем не менее, уже сегодня, думается мне, исключительность его таланта оценена в достаточной степени.

Л. Пинский в послесловии к «Разговору о Данте» отмечает «изумительную органичность и принципиальность эстетических позиций О. Мандельштама на протяжении более чем двух десятилетий, таких бурных в истории русской и мировой поэзии».

Действительно, хотя между «Камнем» и стихами тридцатых годов существует чёткое качественное различие, тем не менее, на поэтическом пути Мандельштама мы не найдем прозрений и отречений, крутых поворотов и смены платформ. Каждый последующий этап генетически происходит из предыдущего, развивается, внутренне изменяется, деформируется внешней средой — и явным образом воздействует на свои истоки в обратном, чисто поэтическом временном измерении. Ранние стихи поэта уже не могут быть восприняты независимо, они пронизаны жёстким светом последнего восьмилетия, подключены к его мощной энергосистеме.

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И, словно от столетней летаргии
Очнувшийся сосед мой говорит:

— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира,
Уйдём, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Красивые, прекрасные, прекрасно-красивые стихи! Благородный материал, виртуозное исполнение.

Его врождённый скептицизм, его с детства лелеемая еврейская оппозиционность находят выход в полемическом построении стиха, в высоком споре со столпами искусства, с читателем, с мифом, со всяким, кто готов на спор.

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?...

Однако и в этом светлом и чистом течении, в этом нервно-утончённом символистическом раю уже встречаются подводные камни

и шероховатости. Стих парит над землёй то медленней, то быстрее, в полном соответствии с благородной традицией, а вдруг с размаху прочерчивает крылом песок, оставляя глубокую борозду, и этот реальный след, эта вещественная деформация — прочно увязает в нашем сознании, заслоняя всю литературную атрибутику:

В мозгу игла. Брожу, как тень.
Я бы приветствовал кремень
Точильщика, как избавленья...

или ещё

Ладья воздушная и мачта недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Это уже нечто из ряда вон, объяснить эти выпадки пока невозможно; и мы отмахнулись бы от них, как от случайности, если бы не знали будущего. Впрочем, уже тогда существовало странное обещание двадцатилетнего мальчика: «Из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам», — одно из тех необъяснённых и, будем надеяться, необъяснимых пророчеств, какие и создали поэтам их мистическую славу...

Бесконечно длинный и страшный, и, в то же время, вполне закономерный путь прошёл Осип Мандельштам от благородной символики — к конкретности и вещности, от детского наивного высокомерия, от юношеского запальчивого культа одиночества («не говори со мной — что я тебе отвечу?») — к мудрому пониманию своего места в мире людей, к острой и горестной жажде общения и единомыслия.

И до чего хочу я разыгаться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к богу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: Будь ласков, —
Сказать ему, — нам по пути с тобой!

4.

Общение — цель искусства. Интимное, предельно доверительное общение — цель поэзии. Безоговорочное единение, единомыслие, одиночувствие — цель и существо поэзии Мандельштама.

Его читатель неотделим от него самого, разговор Мандельштама с читателем — это разговор с самим собой, как по уров-

ню, так и по степени контакта. Как это ни парадоксально на первый взгляд, такое общение возможно только при полном отсутствии сентиментальности, я бы даже сказал, при некоторой внешней сухости и ироничности. Люди сентиментальные усиленно стремятся к контакту и никогда его не находят, так как отгораживаются от окружающих собственным эгоцентризмом, подменяют свои ощущения переживанием этих ощущений, и даже не переживанием, а желанием переживаний.

Отсюда — дезинформация собеседника, испорченный телефон, чистая видимость общения и понимания.

Мандельштам никогда не опускается до сентимента, его природные качества — абсолютное чувство юмора и безукоризненный скептицизм — хранят его от этого, и в самые трагические моменты он остаётся верен поэтической и жизненной правде.

Расстояние между поэтом и читателем — минимальное, оно предельно сокращено изъятием всего лишнего, очевидного, известного обоим. Разговор ведётся между людьми одного уровня и круга, много лет друг друга знающими. Отсюда — естественные при таком взаимопонимании перескоки мысли, выпадения слов и фраз, намёки и недомолвки. «Ты схватываешь на лету, ты чувствителен к намёкам» — вот любимая похвала Данте («Разговор о Данте»).

Мандельштам стремится к предельной ясности. Его недомолвки ни в коем случае не способ затемнить стих, но естественное избегание банальности и тавтологии в разговоре с понимающим и близким собеседником.

Давай не будем играть в прятки, — говорит он читателю. — Я отлично знаю, что ты ничуть не глупей меня, ничему я не могу и не хочу тебя учить и ничего такого, чего ты не знаешь, не пытаюсь тебе сообщить. Что я могу сделать — так это попытаться удовлетворить твою и свою естественную потребность высказаться, излить душу, найти названия нашим состояниям и ощущениям. Словом, поговорим — авось полегчает...

Вот в качестве примера одно из самых страшных стихотворений Мандельштама, элементарное по формальной конструкции, верней по её полному отсутствию. Несколько сбивчивых фраз, произнесённых доверительным полусшепотом, с поминутной оглядкой, с ладонью у рта

Не говори никому.

Всё, что ты видел, забудь:

Птицу, старуху, тюрьму
Или ещё что-нибудь.

Или охватит тебя,
Только уста разомкнёшь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не собирал.

«Или ещё что-нибудь!» — вот так, перескакивая с одного на другое, пропуская целые периоды, разговаривают с самим собой или с человеком, которого знали всю жизнь, тысячу лет. Только с таким — нереальным, в сущности, собеседником — можно вспомнить не только всё, что было, но и то, чего не было: чернику, которую никогда не собирал...

А чего стоит неточная рифма, рифма-обмолвка «тебя — дня», «тебя», в котором явственно ощущается «меня» — это ли не образец подспудного, постоянно существующего слияния автора и читателя!

Естественно, возникает вопрос об образовательной роли литературы, о том просветительском бремени, которое она, по общему убеждению, должна нести. Тут всё дело в некотором парадоксальном принципе: литература в целом способна выполнять просветительскую функцию только в случае отказа конкретного художника от роли просветителя и образователя.

Как только литературное произведение взваливает на свои хилые плечи (у него всегда хилые плечи) это пресловутое бремя — оно перестаёт быть произведением искусства. В поэзии нет места популяризации, она единственна, у неё не может быть иных ипостасей, кроме самой себя. Разговор с читателем, стоящим на более низкой ступени, чем автор, — попросту невозможен.

Поучительное — поучающее произведение, кроме прочего, всегда легко уязвимо, несмотря на внешнюю респектабельность. Может ведь так случиться, что у читателя больше опыта и знаний в затронутой области; некоторое положение, автором высказанное, может быть оспорено, а тогда всё произведение теряет авторитет и право на поучение. Поневоле выходит, что лучше это право и не заявлять. Что же касается предмета поэзии, то он всег-

да хорошо известен читателю, известен из собственного опыта, минуя всякие учебники и промежуточные инстанции. (*)

Когда вещательная, дидактическая интонация постигает, именно постигает, как болезнь или несчастье, — большого поэта, он рождает на свет мёртвое детище, которое не в силах спасти обаяние личности говорящего. Пример тому — «Быть знаменитым некрасиво» Б. Пастернака. Мысли, которые в этом стихотворении утверждаются и отстаиваются (не надо заводить архива, над рукописями трястись, и т. д.) очевидны и азбучны, как, впрочем, и все на свете общежитийские положения. Прямолинейность этих утверждений, обилие требовательных форм глагола (надо, не надо) могут вызвать разве что досаду у квалифицированного читателя. Что же касается читателя неквалифицированного, то стоит ли к нему обращаться?

Стоит ли обращаться к читателю — накопителю, не понимающему суетности самоутверждения? И вообще — стоит ли обращаться к читателю **н е п о н и м а ю щ е м у**?

Когда тот же Борис Пастернак безо всякой позы и пьедестала говорит о «значеньи двояком жизни, бедной на взгляд, но великой под знаком — понесённых утрат» — это прекрасно не потому, что здесь есть какое-то откровение, какая-то доселе неизвестная нам мысль, совсем наоборот. Это прекрасно потому, что просто, точно, а главное, доверительно. Тонкий и умный читатель избавлен от нудных объяснений, как это жизнь бедна на взгляд, и что это за утраты, которые делают её великой...

Поучающая, образывающая и просветляющая поэзия немислима не только из-за претензии на заведомую авторитарность, не только из-за невозможности читательского сотворчества, но ещё и вследствие обязательной идеи принуждения, необходимости, несвободы, которую несёт в себе всякая дидактика. Прямое поуче-

(*) В статье «О собеседнике»: «Разница между литературой и поэзией следующая: литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи. Даже если он пророчествует, он имеет в виду современника будущего. Содержание литератора переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение — нерв литературы. Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно.» Я полностью принимаю эту мысль Мандельштама, с тем небольшим добавлением, что ни один художник не станет долго раздумывать, выбирая между званием поэта — и литератора.

ние, в какую бы талантливую форму оно ни было облечено, предполагает, пусть где-то в конце, в отдалённом, неопределённом будущем — но обязательно предполагает наличие строгих, вопрошающих глаз, наказаний, поощрений и прочих административных ужасов.

Мы же ценим в искусстве, прежде всего — свободу, свободу творчества, свободу общения, свободу потребления и истолкования.

5.

Свобода обращения Мандельштама со стихом — свобода его обращения в стихе — поистине поразительна. Полное отсутствие каркаса стиха, его несущих конструкций, пренебрежение словами-подпорками, буферным и связующим материалом. Мысль гуляет по стиху, как ветерок по комнате: из окна в дверь, из двери в окно, и только обтекание ею конкретных предметов изобличает её материальную природу.

Уже светает. Шумят сады зелёным телеграфом.
К Рембрандту входит в гости Рафаэль,
Он с Моцартом в Москве души не чаёт
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты...

Всё здесь: и пренебрежение поэтическими канонами (размер, случайно брошенная рифма в белом стихе), и нарушение синтаксических правил (он с Моцартом в Москве души не чаёт за карий глаз) — всё это диктуется не техническим новаторством, а безоговорочным потворством внутреннему ощущению точности. Именно точность, а не литстудийное понятие «сопротивление материала» определяет насыщенность и информативность стиха.

Существует удивительная связь между личной угнетённостью поэта и неограниченной свободой его творчества. Здесь безусловно имеет место некоторая форма компенсации. Мандельштам дорывается до стиха, как жаждущий путник до источника. Он пьёт, сколько хочет, и сверх меры, и ещё немного, и уже не может

больше, но и не в силах оставить прохладную струю и подставляет ей губы, голову, спину...

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,
Утешь меня игрой своей —
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьёзным Брамсом, — нет, постой —
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой.
Вертлявой, в дирижёрских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках,
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.
Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту —
Три чёрта было, ты четвёртый —
Последний, чудный чёрт в цвету!

Так свободен может быть только человек, втоптаный в землю железными сапогами века, «отщепенец в народной семье», обречённый на смерть алхимик, от которого в страхе и недоумении отворачиваются друзья.

Неизменность творческой и человеческой (я бы сказал «гражданской»), не будь это слово так затёрто и испохаблено) позиции Мандельштама — это не слепое упорство фанатика, не упрямство тщеславного гордеца. Он трезв и расчётлив, он всё понимает с полуслова и полувзгляда (недаром он так любит намёки и недоговорённости). Как въедливый цадик, он всегда себе на уме, всякое явление пробует на вкус и на ощупь, испытывает всеми пятью чувствами и даёт ему точную и резкую оценку.

Я говорю с эпохой. Но разве
Душа у ней пеньковая, и разве
Она у вас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверёк в Тибетском храме?
Почешется — и в цинковую ванну.
Изобрази ещё нам, Марь Иванна!...

Нельзя сказать, чтобы ощущение собственной силы было преобладающим в его настроении. Страх заполнял все поры тогдашней жизни, и Осип Мандельштам, человек остро чувствующий, да к тому же преследуемый и гонимый, не мог его не испытывать. Подверженность чувству страха не презренное уродство, а естественное качество, свойственное живым людям, и Мандельштам, который никогда не лгал и не кокетничал с читателем, дал это почувствовать, как никто другой. Но в самые тяжкие — из тяжких тяжкие — времена он прекрасно понимал, что машина подавления имеет перед ним чисто количественное преимущество, и никогда не признавал за ней права решать его судьбу.

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен,
Как «Слово о полку», струна моя туга,
И в голосе моём после удушья
Звучит земля — последнее оружие,
Сухая влажность черноземных га.

Он был максималистом в своих критериях, в требованиях к поэзии и к жизни, и жизнь платила ему таким же максимализмом. Всё его существование — высшая степень, высшая мера («Ещё мы жизнью полны в высшей мере...»). Если изоляция, то уж абсолютная, без одного единомышленника, если нищета, то уж полная, в буквальном смысле слова — не бедность, а жизнь на подаяние; если вражда государства и общества — то уж на измор, до помрачения рассудка и физической гибели.

Почти в каждом стихотворении тех лет ощущается предельное напряжение всех нравственных сил и какая-то багрово-морозная, предгибельная праздничность.

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный дёготь труда.
Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

.....
Лишь бы только любили меня эти мёрзлые плахи!
Как нацелясь на смерть, городки зашибают в саду...
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесах топориче найду.

Откуда столько душевных сил у этого, в общем-то, обычного человека, близкого всем нам по складу ума и характера? Превоз-

сходные степени эпитетов — всего лишь холодные отписки, которые ничего не объясняя, только удаляют нас от сути.

Он жил в постоянной тревоге, в безумном ожидании новых бед и несчастий. В каждом номере газеты, в каждом уличном разговоре таилась угроза, он был обречён и знал это лучше других.

Нет, не спрятаться мне от великой мур
За извозчичью спину Москвы.
Я трамвайная вишенка страшной поры,
Я не знаю, зачем я живу.

Пережив очередное потрясение, в который раз (не в последний ли?) избежав смерти, он вновь испытывал лихорадку болезненного нетерпения, вновь окунался то в горячую, то в холодную воду, надежда — отчаянье, надежда — отчаянье, всё меньше надежды, всё больше отчаянья.

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет: Ничего, отец,
Уж мы сошьем тебе такое...

и всё же — не так просто, не так линейно, не так однозначно. Над всей этой жутью — великое чувство человеческого достоинства, чёткое ощущение масштабов и — неискоренимая ирония.

Ещё меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок.
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.

Он не мог измениться, он был обречён эпохой на то, чтобы стать её непреклонным глашатаем — не в узковедомственном значении этого слова, а в значении гуманистическом, глашатаем в смысле словесного выражения того лучшего и непреходящего, что накапливается в любые, самые страшные периоды существования общества. Ведь если мы почему-либо и относимся терпимо к истории человечества — так единственно из-за этой квинтэссенции духа.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий, и тянущийся весь,
Доколе не сорвусь, — разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

Наши литературные совслужащие, большие поклонники математики в объёме первого класса начальной школы, любят говорить об «архитектонике» стиха, имея в виду скорее примитивно-строительные, нежели художественно-архитектурные принципы. Слова — кирпичи, строки — блоки, стих — здание. Знаменитый тезис о скульптурности Данте, против которого горячо возражал Мандельштам, — это ещё цветочки в сравнении с такой вот кирпичной концепцией. Даже если допустить некоторое взаимодействие между вышеизложенными кирпичиками, всё равно мы останемся бесконечно далекими от истины.

Если уж эксплуатировать естественные науки, то пожалуй лишь современная прикладная физика может дать нам удовлетворительную аналогию. Я имею в виду принцип действия голограммы.

Целый стих, несущий чувственную информацию о каком-либо явлении действительности, так же как голограмма, не может быть разделен на элементы, отражающие отдельные качества этого явления. Каждый элемент есть также отражение всего оригинала в целом, только менее чёткое, нежели весь стих. Между элементами нет и не может быть никакой, даже условной границы, и закона их соединения не существует. Можно лишь утверждать, что здесь работает обратное количественное правило, и по мере приближения к концу стиха мы не только не удаляемся от его первоначальной идеи, но всё точнее фокусируем на ней своё внимание, подобно тому, как параболическое зеркало большой площади лучше фокусирует свет, чем его осколок.

Отдельные строки из утерянных стихов Мандельштама в отличие от сознательных экспериментов литературных скандалистов, воспринимаются как вполне самостоятельные произведения, носящие все черты Мандельштамовского гения.

И маленький Рамо, кузнечик деревянный,
И пламенный поляк, ревнивец фортепьянный...
Чайковского боюсь — он Моцарт на бобах...

Можно предположить — с большой степенью вероятности, — что прочтение всего стиха целиком сузило бы круг ассоциаций, конкретизировало идею, уменьшило неопределённость...

Нет никаких сомнений, что так часто встречающиеся у Мандельштама варианты — это не черновики и беловики и не соперничающие кандидаты на одно вакантное место, а равноправные

стихи, взаимодействие которых выражается в уточнении и конкретизации явления, в концентрации на нём внимания и фокусировании света. Варианты, кроме всего, освещая предмет с несколько смещенных точек, увеличивают ощущение его объемности. Но об этом позднее.

Если же пойти дальше по пути аналогий — а только такой путь нам и доступен («ибо нет бытия вне сравнения, ибо бытие есть сравнение») — необходимо признать, что, строго говоря, стих Мандельштама не изображает действительность и даже не отображает её — он её моделирует. Здесь налицо все основные свойства модели: с одной стороны, высокая степень соответствия при определенной узости и тенденциозности, с другой — наличие свойств и законов существования, отсутствующих у оригинала, т. е. известная самостоятельность и независимость.

Вот одно из его восьмистиший:

О бабочка, о мусульманка,
В разрезанном саване вся, —
Жизняночка и умирашка,
Такая большая, сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О, флагом развёрнутый саван —
Сложи свои крылья — боюсь!

Это ни в коей мере не рассказ о бабочке, но попытка передать ощущение от её разглядывания, трогания, ощупывания, попытка промоделировать реальное чувственное восприятие.

Модель должна быть действующей. Можно сколько угодно рассматривать её, когда она стоит на столе — она ничем не отличается от прочих окружающих предметов. Надо приложить энергию, надо подать входную величину, и лишь в её изменении по мере прохождения через все взаимодействующие элементы проявляются смысл и назначение стиха. Нечто подобное имеет в виду О. Мандельштам, когда он говорит о невозможности существования поэзии вне исполнительства, вне изменения «орудийных средств поэтической речи».

На протяжении стиха — строфы — строки поэтическая материя испытывает непрерывные метаморфозы, и ломаная линия её траектории — только одна, наиболее доступная из многих характеристик её движения.

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор —
Комочки влажные моей земли и воли! —

Если и можно здесь говорить об изображении, о портрете, то о портрете объёмном и непрерывно меняющемся. Излюбленный приём Мандельштама — нечто вроде динамического пуантилизма. Мазки, живые клетки, образующие портрет, наносятся на некоторый многомерный холст в кажущемся беспорядке, но дойдя до конца, мы вдруг обнаруживаем поразительное сходство с оригиналом. Всё дело тут во взаимодействии клеток между собой, а также в положении каждой относительно целого.

На тебя надевали тиару — юрода колпак —
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк:
Непонятен, понятен, невнятен, запутан, легок...

Вслушайтесь, как начинает играть это самое «дурак» по мере насыщения строки другими словами! (это происходит задним числом, но в поэзии, как во сне, — временные зависимости иные, нежели в быту). А куда делся привычный, обиходный смысл слова «властитель», зажатого между «учитель, мучитель» и «дурак» и облитого зыбким бирюзовым светом! А последняя строчка? Она водит нас за нос и петляет, петляет и крутит, крутит, — намного дольше по времени и дальше по расстоянию, чем её собственная протяжённость...

Грамматически каждый элемент может производить впечатление бессмыслицы, но в образной системе, в определённой последовательности — он оказывается точным и единственно необходимым. Здесь мы имеем дело с последовательным приближением, а ещё точнее, с последовательным окружением, т. к. последнее по порядку определение ничуть не ближе к истине, чем первое, но вместе они — ближе.

Абсолютно точного определения нет, вернее нет никакой человеческой возможности его достичь. Известны только его до смешного расплывчатые координаты: где-то в центре пространства образов. А вокруг этого центра, никогда с ним не совпадая, но бесконечно к нему приближаясь, движутся слова-клетки пуантилистского портрета.

Самое замечательное то, что при этом мы являемся свидетелями и соучастниками возникновения образа, видим его генезис и развитие. У Мандельштама мы никогда не найдём готовых формулировок, существовавших до стиха. Всякая неожиданность для читателя есть неожиданность и для поэта, всякая закономерность восприятия есть закономерность творчества. Отсюда дальше — всякий стих Мандельштама — это открытие, а точнее, вечное, никогда не прекращающееся открывание.

В конечном счёте, цель поэтического произведения — дать явлению название. Но в отличие от науки, речь здесь идёт не о понимании, а об ощущении, поэтому полученная формула должна быть чувственной, а не терминологической.

Вся энергия мандельштамовского стиха направлена на то, чтобы найти имя предмету, и даже не найти, а восстановить объективно существующее. («Я слово позабыл, что я хотел сказать»...) Стихи его скорее назывательные, нежели сравнивающие.

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах
Офицеры последней выточки
На равнины зияющий пах.

Было слышно гудение низкое
Самолётов, сгоревших до тла
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щёки скребла.

Чуть позже момента произнесения, когда проходит первый шок от кажущейся неуместности, называемое качество напрочь срастается с предметом, становится его лихорадящим и электризующим органом.

Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка — ау
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Конечно же, Мандельштам пользуется и сравнением, но его сравнения не вспомогательное средство, не ещё один способ осветить предмет боковым светом. Сравнение всегда полноправный член предложения, оно борется с предметом и претендует на место подлежащего.

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души.

Но как в колхоз идёт единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.

Или ещё.

...где арестованный медведь гуляет —
Самой природой вечный меньшевик...

Великое испытание — цитировать Мандельштама. Невозможно остановиться на середине стиха, нет сил перерезать его живую ткань. Здесь, как в концертах Баха, ритмические спады несут в себе не меньший чувственный заряд, нежели подъёмы, каждый целый период чреват ещё одним, а самый стих обрывается не оттого, что исчерпана тема, а потому, что кончилось дыхание. Если «Божественная комедия» — одна развёрнутая строфа, то стих Мандельштама — одно развёрнутое определение.

Лазурь да глина, глина да лазурь.
Чего ж тебе ещё? Скорей глаза сошурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землёй,
Над гнойной книгою, над книгой дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

Весь этот стих — мучительное формирование определения, реставрация точного имени того, что номинально, в официальном реестре обозначено как глина и лазурь. (Впрочем, вот сюрпризы поэзии: простое сближение этих двух далёких друг от друга обозначений обеспечивает тугое наполнение всей первой строчки и бросает резкий отсвет на все остальные).

Несколько слов об использованном здесь прямом сравнении. Ведь вот можно было назойливо и долго жаловаться на то, как это трудно — писать стихи и сочинять музыку («Изводишь единого слова ради» и т. д. и т. п.). Но речь сейчас не о трудностях ремесла, а о книге звонких глин, и только мука этой книгой сравнивается с той, другой, очевидной и не раз обсужденной мукой. Как бы не выдержав растущего напряжения стиха, мы облегчаем душу простым упоминанием до интимности близких и понятных нам вещей и при этом мимолетном упоминании мы оба — и поэт и читатель — испытываем сладкую тоску единения и узнавания...

Пресловутая магия слова — есть не что иное, как обострённое чувство меры. «В поэзии всё есть мера и всё исходит от меры и вращается вокруг неё и ради неё». Мера и точность, скрупулёзность «писца, испуганно косящегося на иллюминированный подлинник», точность, доведённая до болезненной остроты — вот и весь секрет. Но в чём секрет точности?

По-видимому, Марсель Пруст впервые сформулировал метод творчества, состоящий в воссоздании далёких воспоминаний, более или менее совпадающих с непосредственным ощущением момента. Такое совпадение всегда несколько неточное, подобно совпадению смещённых изображений в стереоскопе, даёт нам ощущение объёмности, но — по Прусту — уже не в пространстве, а во времени.

Нет никаких сомнений, что принцип стереоскопичности имеет гораздо более широкую сферу действия, нежели та, о которой говорит Пруст. Во всяком случае, он может быть с успехом применён к рассмотрению особенностей поэтического образа, в частности, — взаимоотношений определения и определяемого.

Всякий предмет, всякий объект стиха имеет две формы существования, два портрета, два изображения. Первое — это тривиальный «пучок ассоциаций» («Разговор»), тот ожидаемый круг ощущений, который возникает в нашем сознании при произнесении привычного имени предмета — собственно предмет. Второе изображение — неведомая нам и без помощи поэта недоступная душа вещи — её поэтическое определение со своим собственным пучком ассоциаций. «Вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела». Вся тонкость в том, чтобы найти расстояние между «душой» и «телом», соответствующее межцентровому расстоянию глаз человека. Только при этом условии возникает стереоскопический эффект, только тогда появляется объёмный образ предмета или явления.

Отсюда ясно, почему чрезмерное сближение этих двух изображений, определения и определяемого, приводит к плоскому буквализму, к заземлённости и банальности. Назвать обиходное качество предмета — значит повесить на него инвентаризационный номерок, не дав ему, в сущности, никакого имени.

В то же время слишком большое удаление эпитета и предмета вызывает разбегание глаз, головокружение и, в конечном счёте, потерю всякого реального ощущения.

Из этой необходимости точного выбора межцентрового расстояния вполне закономерно следует **единственность поэтического определения.**

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое Армянское небо,
И уже не взгляну, прищурясь,
На дорожный шатёр Арарата,

И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

Если вы забудете один из этих эпитетов — из одного ли слова состоящий или из целой фразы — то будь вы хоть семи пядей во лбу, вам никогда не придумать ничего взамен. Остаётся только вспомнить или заглянуть в текст.

Отчего всё же «близорукое небо» лучше, чем, например, «голубое»? Во все не оттого, что «голубое» — не оригинально и, следовательно, лишает автора лавров первооткрывателя. Дело в том, что между словами «голубое» и «небо» не остаётся не только межцентрового, но вообще какого бы то ни было расстояния, они практически совмещены друг с другом, и значит, не дают объёма, не образуют пространства, в котором могли бы уместиться хоть какие заваливающие ассоциации. Короче говоря — не получается образа.

Неограниченная свобода действий в обращении с поэтической материей — и, в то же время, рабское подчинение жесточайшим требованиям точности — именно это сочетание создаёт эффект говорения стихом — высшее проявление поэтической культуры.

Никому из современников Мандельштама не удавалось достичь такой раскованности и естественности, такой шопеновской непринуждённости разговора. Особенно показательны в этом смысле его белые стихи, ниспадающие широкими элегическими волнами, то здесь, то там, как точечной сваркой, прошитые случайно разбросанными рифмами, исполненные прекрасного юмора и мудрой печали.

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,

Да целлулоид фильмы воровской.
Я, как щенок, бросаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское «Дзенькуе, пане!»
Иногородний ласковый упрёк
Иль неисполненное обещанье.

Трудно себе представить, что и у этого стиха был черновик, что и эта исповедь знала «муку музыкой и словом». Кажется, что каждое слово так и родилось в своей строчке, по счастливой случайности, как в сорочке.

Стихи Мандельштама просты и мужественны, но не плакатно-мундирным, а гражданским — штатским, партикулярным, то есть самым трудным и высоким мужеством.

Чур, не просить, не жаловаться!
Цыц! Не плакать!
Для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги,
Чтоб я их предал?
Мы умрём, как пехотинцы,
Но не прославим
Ни пиши, ни подёнщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру...

«Разночинцы» — это ведь тоже не случайно. Звание разночинца, безродного интеллигента, не приспособленного к обыденной жизни и то и дело натякающегося на различные препятствия — от предметов обихода до собственных мучителей — очень импонировало Мандельштаму. И если что и держало его на поверхности страшного водоворота событий, так это ощущение кровной связи с русской интеллигенцией и русской поэзией XIX века, от которой он и происходит по прямой линии.

Линия Блока, блестяще продолженная Борисом Пастернаком, мало что дала Мандельштаму, по сути дела, прошла мимо него. Пушкин, Баратынский, Тютчев — вот главные истоки его точности и простоты.

Мне кажется чрезвычайно показательным тот факт, что наиболее трагичные стихи Мандельштама всегда предельно просты. В конечном счёте это всё то же стремление к максимально воз-

можному сокращению расстояния между поэтом и потенциальным читателем, и простота стиха (не упрощенность) — главная мера их близости.

Петербург, я ещё не хочу умирать,
У меня телефонов твоих номера.

Петербург, у меня ещё есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса...

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.

И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

10.

В связи с последней цитатой я хотел бы ещё раз подчеркнуть всеобщий характер мандельштамовской иронии, которая не только не снижает уровень разговора, но, наоборот, подчёркивает трагизм ситуации, повышает цену слов, усиливает накал.

Я уже не говорю об откровенных юморесках и эпиграммах, об этих блестящих и острых безделушках, оказывающихся на поверку не менее глубокими и значительными, чем серьёзные стихи.

Недалёкие пуритане, ревнители «сурьёзности» (выражение А. Р. Кугеля) придумали рождественский миф об иронической маске, которой тонкая и легко уязвимая душа поэта якобы прикрывается от укулов и ударов судьбы. Всё это сушая чепуха. И не только потому, что поэт — чувствительнейший датчик и рецептор общества, и грош ему цена, если он будет чем-либо прикрываться от укулов и ударов. Это чепуха, главным образом, потому, что ирония — не маска, а естественная реакция всякого умного и серьёзного человека, и тем в большей степени, чем выше он организован.

Разумеется, это не означает, что каждая строка или каждая строфа, или хотя бы каждое стихотворение Мандельштама непременно ироничны. Тем не менее, чувство юмора есть важнейшая черта его поэтической системы, того воздуха, которым дышит стих, того объёма, в котором он движется.

Чтобы Пушкина чудный товар не пошёл по рукам дармоедов,
Грамотеев в шинелях с наганами племя пушкиноведов.

Молодые любители белозубых стихов...

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!..

11.

Нет смысла говорить о техническом совершенстве стихов Мандельштама. Техника — понятие ученическое и к большим поэтам неприложимое. Где-то у Эйхенбаума есть фраза о том, что Кирсанов — мастер, а Мандельштам — нет. Это верно. Инженер Кирсанов, систематически собирающий и с гордостью демонстрирующий карточки с рифмами и аллитерациями, играющий в стихи, как в детскую игру «конструктор», конечно же в большей степени соответствует этому званию. Кирсанов — мастер, Мандельштам — поэт. В профессиональном творчестве нас интересует **исключительность** техники, **непохожесть** метода, **индивидуальность** языка и стиля.

Мы уже говорили о том, что главный инструмент Мандельштама — это поэтическое определение. Именно определение, взаимодействуя с номинальной кличкой предмета, названной вслух или подразумеваемой, создаёт реальный стереометрический образ, то бесконечно ёмкое пространство, в котором существуют авторские и читательские ассоциации. Такое развернутое определение представляет собой, например, все 12 стихотворений «Армении», кружащиеся и колеблющиеся вокруг одного — единственного, абсолютно точного — реально не существующего названия. В поэзии нет неподложного имени предмета, есть лишь движение к нему, вокруг и около него. «Все именительные падежи следует заменить указующими направлением дательными. Это закон обратимой и обращающейся поэтической материи».

Беспорядочное, на первый взгляд, произнесение слов и фраз, путаное бормотанье с повторами, возвратами, перебивками, дорисовками, создаёт, в конце концов, точный портрет живой Армении — как её увидел и почувствовал поэт.

Из природы и функции поэтического определения следует его естественная метафоричность. Отсутствие у Мандельштама заданных, архитектурно выстроенных образов («Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь») приводит к резкому возрастанию роли метафоры, которая чаще всего проявляется в деформации синтаксиса, в смысловом смещении слова, в переносе подчинения и ломке грамматических связей.

Пример — едкая взрывчатая строка «молодые любители белозубых стихов» вместо спокойной «молодые белозубые любители».

Деформации подвержены и отдельные слова, так значительность и категоричность стиха заставляет сокращаться, сжимаясь и концентрируя свою энергию, несократимые прилагательные и даже причастия: «Их голосом поющ тростник и скважист».

Вот несколько взятых наудачу, с соседних страниц, образцов мандельштамовской метафоры.

Слабогрудая речная волокита...
Разумные густеющие прядки...
День стоял о пяти головах...
Жгучий ельник бежит, молодея в воде...
Как на лемех приятен жирный пласт...

Его наслаждение словом носит исключительно плотский характер, как утоление жажды и голода. Его неологизмы всегда органичны и производят впечатление существовавших ранее и даже знакомых, но не слишком часто употреблявшихся слов. Они не выворачивают язык наизнанку, а лишь плавно проводят его по своим непривычным на вкус изгибам, как по голосам губной гармонике.

Чернопахатная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках...

или

И ты открывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея...

Моделируя, разыгрывая действительность, подражая ей в её привычках и странностях, словарь Мандельштама испытывает подчас удивительные превращения, изменяясь до неузнаваемости, сохраняя лишь отдалённое сходство с человеческой речью.

Когда шегол в воздушной слобе
Вдруг затрясётся, сердцевит,
Учёный плащик перчит злоба,
А чепчик чёрным красовит...

Что это такое, как не мелочный, едкий пыльно-перьевой — птичий словарик?

В стихах Мандельштама обилие всякого рода неправильно-стей, нарушений, сбоя ритма, косноязычия, неточных рифм или

их отсутствия, наоборот, внедряя рифмы в белый стих и т. д. Композиция — также самая произвольная, очень часто — отсутствие всякой композиции. Стих начинается Бог знает откуда, и Бог знает где заканчивается. И это естественно. Поэтический разговор — не фейерверк юбилейного бала. Если всё, что поэт хотел сказать читателю, сказано — нелепо и унижительно для обоих пришивать стихотворению парадный шлейф только из композиционных соображений. Мандельштам не раскланивается и не делает реверанса. Он сказал, повернулся и ушёл.

Никогда он не маскирует приёма, не прячет рук от читателя, не пускает ему в глаза облака пыли и конфетти. Он играет на рояле со снятой крышкой. Можно увидеть не только пальцы, ударяющие по клавишам, но и внутренность деки, и молоточки, и самые струны, можно снять всё это на плёнку и спокойно изучать в тиши просмотрового зала — ощущение чуда от этого не уменьшится, разве что наоборот, утвердится окончательно.

Его звукопись — великолепный пример «нелинейного нрава» поэзии. Даже в стихах стилизованных, подражающих, имитирующих — звук никогда не есть подражание, его функции значительно сложнее. Содружество и сродство звуков гораздо серьёзнее и глубже внешнего проявления, между словами в языке существует неизбежная подводная связь, которая может работать на идею стиха, а может и против.

У Мандельштама мы встречаемся с самым неожиданным использованием таких обыденных технических средств, как созвучия и аллитерации. То, что в большинстве случаев применяется для усиления стиха, для придания ему вящей устойчивости и уверенности, у него сплошь и рядом работает в прямо противоположном направлении.

Вот целый ряд странных, абсурдных, висящих вниз головой созвучий, создающих атмосферу кафковского кошмара:

Глядели внутрь трёх лающих порталов
Недуги — недруги других нескрытых дуг...

А вот томительное нежное, застенчиво-сентиментальное объяснение:

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,
Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградней в их разгородках марлевых...

Здесь мы лавируем в лабиринте переплетающихся согласных, вылезающих из размера и наползающих друг на друга, — как среди лилипутских марлевых разгородок, испытывая реальную боязнь что-нибудь сломать или испортить, неправильно произнеся, и этой трогательной микроскопической Франции принадлежит наша любовь и наше сочувствие.

У Мандельштама существует определенный контингент привилегированных слов, слов-любимчиков, с которыми мы вновь и вновь встречаемся в самых неожиданных местах, как со старыми знакомыми, испытывая при этом такую же радость узнавания и так же удивляясь переменам, происшедшим со времени последнего свидания.

Разумеется, смешно и нелепо было бы в связи с этим говорить о бедности поэтического словаря Мандельштама. Яркое высвечивание определенного круга слов и понятий есть следствие той плодотворной узости устремлений, которая является обязательным условием всякого сколько-нибудь значительного творчества.

Вот несколько узлов, завязанных вокруг одного только слова «виноград»:

Ерзерумская кисть винограду...
Стихов виноградное мясо...
Виноградней в их разгородках марлевых...
Я не хочу твоего замороженного винограда...

Здесь налицо богатейшая самостоятельная жизнь слова, его крамольность и беспаспортность, его снисходительное презрение к анкетным раз и навсегда установленным данным предмета.

«Разве вещь — хозяин слова? — говорит Мандельштам. — Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело».

Не следует забывать, что Мандельштам был на редкость цельным и тенденциозным человеком. Его страх и ненависть к начальствующей заурядности, его презрение к «паучьим правам», вечное нищенство и бродяжничество — «многолетняя жизнь вне закона» — как нельзя лучше отразились в его поэтическом словаре. Словарь Мандельштама живёт такой же затаённой и гордой жизнью, как и его автор.

Для русского языка конец двадцатых, начало тридцатых годов — это яростное внедрение новых понятий, тотальное переименование не только городов и улиц, но и предметов обихода, де-

вальвация собирательных и обобщающих терминов, рост цен на чистый разговорный язык, вкрадчивый шепот, бормотанье под нос...

И в то же время — скрип и дребезг присутственных мест, бюрократический скрежет ножа по сковородке, который был с готовностью воспринят и усвоен «пролетарскими» поэтами. Эта словесная какофония до сих пор именуется языком эпохи и выдаётся за единственно объективное свидетельство событий.

Борису Пастернаку, обладавшему счастливой способностью многого не слышать и от многого отгораживаться, удалось, в основном, отгородиться и от этого татарского нашествия чужеродных понятий и звуков. Его очаровательные канцеляризмы происходят совсем по другой линии, они существуют и развиваются в отдельном, замкнутом пространстве.

Что же касается Мандельштама, то здесь случай особый. Дотошный учёный, острый наблюдатель и естествоиспытатель действительности, «вооруженный зрением узких ос», — он был обречен всё видеть и все слышать, и даже, когда всеми способами сторонился и избегал так называемых «событий» — роковым образом неизменно оказывался в самой их гуще. Он одним из первых попал в гигантскую машину времени, особую машину, которая не интересовалась ни прошлым, ни будущим, а только молола, и молола, и вращала свой фантастический шнек, и людям, в силу врожденной близорукости и несовершенства вестибулярного аппарата, казалось, что они только крутятся и крутятся, в то время, как они неотвратимо приближались к гибели. Одни достигали предела, превращаясь в груды «кровавых костей в колесе», другие в это время ещё выступали с речами, писали докладные записки, романы и диссертации и крутились, крутились...

Осип Мандельштам, один из немногих, постоянно чувствовал неотвратимость гибели, смертельную насыщенность атмосферы.

Можно понять наивность, можно простить глупость, можно посочувствовать близорукости — но эти качества нельзя уважать. Когда говорят о замечательных людях, беззаветно веривших и искренне заблуждавшихся, я не испытываю к ним неприязни — не судите, да не судимы будете, кто из нас может поручиться за себя? — но я всякий раз с неизменной гордостью, с благодарным удивлением вспоминаю Мандельштама — как опорную точку, как залог того, что есть ещё здоровые зёрна в изрядно подпорченной человеческой породе.

Не в пример трамвайным пассажирам нашей литературы, тем, которые извиняются, когда им наступают на ногу, Мандельштам

— злой поэт. Это прекрасная, плодотворная, «молодящая злость», неистребимое проявление индивидуальности, органический порыв завязтого русского демократа.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток!

Глубоко ушедший «в немеющее время», он совершенно свободно, я бы сказал, даже с некоторым разбойничьим, вийоновским шиком, пользуется общепринятым языком профсобраний и соцобязательств.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Кулацкому баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проверенный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель
Такую ухлопает моль.

Весь привычный круг понятий, милых руководящему управдомовскому сердцу, казалось бы остался без изменений. Но каждое слово поставлено на подобающее ему место, насквозь просвечено пронзительным поэтическим светом, так что неожиданно стала видна его внутренность, его подлинная, не декларированная сущность.

В качестве последнего примера я хотел бы привести несколько строк, смонтированных из великолепных вариаций на тему пушкинской «Зимней дороги», где трагизм ситуации выражается через насыщенные иронией задубелые коммунальные термины.

Я очнулся: стой, приятель,
Я вспомнил, чёрт возьми —

Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Трудодень страны знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьёвского райкома
Не забуду никогда!

И вдруг дикий, из сердца идущий вскрик:

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова!
Шутишь — родина шегла...

Наша главная беда — в конечности и линейности нашего мышления, в ограниченности угла зрения. Мы воспитываемся на пятачковой философии, существуем на пятачке и на пятачок и дальше пятачка не видим ни копейки. (Всякое, сколь угодно большое пространство — пятачок, если постоянно ощущается его замкнутость.) Мы научились с удивительной ловкостью игнорировать литературные традиции, мы даже не тратим усилий, чтобы не замечать взаимосвязи культур, и чтим великих предков исключительно как создателей материально-технической базы для нашего бесценного существования и счастливого функционирования. Этот копеечный, вдоль и поперёк зарифмованный рай, был взорван непоправимо свежей и точной мандельштамовской речью, истоки которой лежат в неограниченной свободе передвижений в пространстве и времени, в чувстве современности по отношению ко всей европейской культуре. Его детски трогательная, сыновняя, безоговорочно нежная любовь к русским поэтам не только не опровергает этот тезис, но тысячу раз его подтверждает.

Где больше неба мне — там я бродить готов.
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых ещё воронежских холмов
К всечеловеческим — яснеющим в Тоскане.

12.

Быть может, именно в связи с этой всечеловечностью и возник назойливый вопрос литературного обывателя: не архаичен ли Мандельштам? Чувствуется, что его много мучили обвинениями

в несовременности, и время от времени ему приходилось на них отвечать:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею.
Попробуйте меня от века оторвать —
Ручаюсь вам, себе свернете шею...

Вопрос нелеп, потому что поэт не может быть архаичным. Всякий человек, говоря словами школьных учебников, является типичным продуктом эпохи, и хотим мы того или нет, никуда от неё не деться. Актуальность есть качество, обратно пропорциональное лживости. Поэт всегда современен, потому что он никогда не врёт. Его прямое назначение и решающее достоинство в том, что он говорит правду — остальное с лихвой берёт на себя эпоха. Уж она позаботится о том, чтобы оставить свой автограф — и в стихах, и в умах, и в судьбах. И когда говорят, что Мандельштам — поэт сугубо лирический, что он отразил свой внутренний мир, но никак не реальную обстановку — бессмысленность такого утверждения очевидна.

Правда искусства не эквивалентна правде жизни, но между ними существует однозначное соответствие. Оно выражается в чёткой закономерности: подлинность ощущений читателя необходимо обуславливается подлинностью ощущений автора. Спектр этих ощущений, круг вызываемых ассоциаций могут быть глубоко различными, они зависят от личных качеств, от опыта, окружения, настроения и т. д., но их обоюдная подлинность и точность обязательны.

Осип Мандельштам, аскетически преданный правде искусства, даёт нам несравненно более достоверное представление об эпохе, нежели многие и многие поэты, заявлявшие монопольное право на рассказ «о времени и о себе».

Шарообразная форма нашей планеты диктует нам и некоторые из законов существования. Если долго-долго идти по прямой — вернешься в исходную точку, чрезмерное удаление равносильно сближению. Так неожиданно сближаются крайние политические платформы, так изощренность, перешедшая в снобизм, обращивается безвкусицей, так убежденные логики и рационалисты оказываются сентиментальными до слюнтяйства.

Точно такое же сближение противоположных точек зрения наблюдаем мы и в поэзии.

Я изысканность русской медлительной речи.
Преодо мною другие поэты — предтечи...

С небритой щеки площадей, стекая ненужной слезою,
Я, быть может, последний поэт.

Это написали два враждебных друг другу человека — Бальмонт и Маяковский. Мне кажется, им давно уж пора заключить перемирие. Они могут подать друг другу руки, могут обняться и выпить на брудершафт. Потому что они единомышленники, единая мысль их гложет, единое устремление: самоутверждение во что бы то ни стало. Верят ли они сами в свою избранность и единственность? Я думаю, что и тот и другой, люди, несомненно, талантливые, были не чужды мучительных сомнений. Не оттого ли В. Маяковский так любил большие залы с плохой акустикой, где он мог, как Бармалей Ролана Быкова, кричать: «Я гениальный!» — и слышать, как эхо подтверждает его слова...

И вот на пёстром фоне этих трибун и пьедесталов, всех этих межведомственных перепалок и самовосхвалений —

Смотрите, как на мне топорщится пиджак...

Господи, как просто! И смешно! И страшно...

13.

Б. Пастернак однажды заметил, что нет плохих стихов, а есть плохие поэты. Одна и та же строка может быть и хорошей и плохой одновременно, все зависит от той системы, в которой она существует. Эту простую истину трудно постичь, не выходя за рамки эклектического и формального стихотворчества, образцы которого заполняют страницы наших журналов и поэтических сборников.

Михаил Светлов (со свойственным ему мягким юмором и т. д. и т. п.), говорил о решающем значении первой строчки стиха: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» — если бы мне такую строчку!» Если бы ему такую строчку, ничего особенного бы не произошло. Получилось бы обычное среднесветловское стихотворение — немного лучше, немного хуже. Это заявление — печальное следствие все тех же примитивных представлений о форме,

как о чём-то, облегающем содержание, о форме — сосуде, ящике, упаковке, которую можно было бы выбросить, да жаль, не в чем будет переносить содержание.

Когда Пушкин говорит: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», мы представляем себе именно его фигуру, его лицо, незримый свет, исходящий от всей его неповторимой личности. Это не кто-нибудь иной — это бродит Пушкин!

«Я предаюсь моим мечтам» — Господи, скажи это какой-нибудь заурядный стихоплёт, мы бы над ним посмеялись. Но Пушкин имеет право на такую незамысловатость и прямоту, мечты Пушкина — это уже, без сомнения, нечто подлинное и важное.

«Я говорю...» — и мы затаиваем дыхание. Пушкин будет говорить! Не вождь, не ментор — упаси Бог! — не чугунный памятник на площади, но серьёзный и тонкий наблюдатель, умница, остролов, собеседник и поэт — наш человек.

И что он такого удивительного говорит? Что все мы умрём, что чей-нибудь уж близок час, что после смерти он хотел бы лежать «поближе к милому пределу». Ничего особенного. Всё обаяние стиха — в личности поэта, в ясности и точности субъективного мышления, в неповторимости интонации — в качествах, которые не приколешь к бумаге никакими кнопками техники и мастерства. Эта субъективность и неповторимость заключена не столько в данном конкретном стихе, сколько в пушкинской поэтической системе в целом, во всем том, что мы уже о нём знаем, и в том, что надеемся, предвкушаем о нём и от него узнать.

У всех участников состязания в Блуа была одна и та же исходная строчка, но разве можем мы теперь отделить её от творчества Франсуа Вийона?...

Вот и у Мандельштама:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Всё лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой!

Это мог бы написать Виктор Боков. Или Александр Прокофьев. И это был бы совершенно другой стих. Потому что, во-первых: «Я скажу тебе» — большая разница между собеседником Бокова — и Мандельштама. Во-вторых, мы уже нагляделись, знаем цену «последней прямоте» Бокова и Прокофьева. И в-третьих, если Боков говорит «всё лишь бредни», то это звучит буквально

и плоско и нисколечко нас не волнует, бредни, так бредни, нет за этим никакой трагедии. Ну а уж «ангел мой» в устах Бокова — просто пошло.

Уже следующую строфу

Там, где эллину сияла
Красота
Мне из черных дыр зияла
Срамота —

член правления союза писателей Виктор Боков написать бы не мог. Но дело не в Бокове.

Когда Мандельштам говорит «я», «мне», «меня» — это местоимение существует в его единственной мандельштамовской системе, в атмосфере полного отсутствия тщеславия и самоутверждения, в мире достоинства и простоты. Здесь нет тайн от читателя, нет снисходительных откровений, а есть доверительный разговор, в котором как же ещё себя называть, как не «я»? «Мы», что ли? Здесь имеет место необходимая грамматическая форма, а не способ обратить на себя внимание. Строго говоря, много ли мы знаем об окружающих нас людях? Кто может поручиться за подлинность описания внутреннего мира любого «не я»? Единственный залог этой подлинности — собственное ощущение художника. Недаром Н. В. Гоголь объяснял отсутствие у него положительных героев тем, что для их описания он не находит в самом себе достаточно положительных качеств. Не надо удивляться, что поэты пишут о себе — это единственная возможность написать обо всех.

Когда тот же В. Маяковский подробно пересказывает историю Октябрьского восстания, перемежая свою речь сомнительной грамотности афоризмами («если в партию сгрудились малые») и риторическими ликбезовскими вопросами («кто более матери — истории ценен?»), предполагающими в качестве ответа хоровую декламацию с непременным дирижированием указкой — этот пересказ конечно же отражает дух времени; но лишь в той степени и приблизительно в том же качестве, как его отражают правительственные декреты и газетные статьи. Честное слово, талантливый поэт мог бы найти себе более достойное занятие, чем популярное изложение основ политграмоты с использованием солдатского юмора и детсадовских наглядных пособий!

И наоборот, когда мы читаем глубоко личный, эмоционально

насыщенный, пристрастный и тенденциозный поэтический дневник Мандельштама, мы имеем дело с самым скрупулезным и точным исследованием общественных событий тех лет.

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет, читай, насильно
Был возвращён в Буддийскую Москву.

Можно ли сказать точнее? О чём бы не пошла речь дальше, к Москве тридцатых годов уже насмерть припечатан этот страшный эпитет.

А перед тем я всё уже увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провёл в стране субботней,
Которую Арменией зовут.
Захочешь пить — там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода...

(Нежная память, вечная благодарность! Как Цветаева — Чехии, так Мандельштам — Армении. «Хорошая, колючая, сухая, правдивая — лучших похвал не может быть в устах Мандельштама.»)

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черёмуха и телефоны
И казнями там имениты дни.
Из раковин кухонных хлещет кровь...

Пусть работают историки и юристы, пусть выясняют мотивы, ищут формулировки и обоснования. Поэзия уже сказала своё веское слово, и суд её свершился.

До сих пор раздаются в его адрес обвинения в уподобничестве, душевном нездоровьи. Наличие этих качеств само по себе ещё не зачёркивает поэта, но к Мандельштаму они не имеют никакого отношения. Не только стихи, но и прекрасные статьи его о литературе дышат всесветной широтой, общительностью, жизнелюбием. Что же касается предчувствия гибели, то ведь можно изменить какую-то сторону поведения, но нельзя заказать себе собственную судьбу. Жизнерадостность овец, весело бляющих в ожидании заклания, не многого стоит, и даже с большой натяжкой я не назвал бы такое бляение проявлением оптимизма.

Я часто слышу от людей вполне доброжелательных слова сожаления по поводу того, что в стихах Мандельштама так много места занимают трагические стороны жизни, что этим поэт досадно сужает свой горизонт, обедняет и обкрадывает себя.

Можно сочувствовать Осипу Эмильевичу Мандельштаму, жившему нищей и затравленной жизнью, но смешно жалеть поэта Мандельштама за то, что он человек, а не овца, за то, что он поэт, а не беспечный лгун.

Я никого не собираюсь убеждать, что Мандельштам был оптимистом. Слава Богу, он им не был. Но есть оптимизм, а есть жизнелюбие — качество несравненно более значительное, нежели вера в грядущий комфорт и душевное благополучие. «Я должен жить, хотя я дважды умер!» — он кое-что понимал в жизни и лучше многих других знал ей цену. Он любил её сознательной, жертвенной любовью и в причастности к её высшим проявлениям видел свой долг и своё предназначение

Не ограничена еще моя пора.
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский?

У Сесара Вальехо есть поразительный стих о боли, о ее бесконечности и безначальности, о боли, которая «не мать и не дочь». Называется он «Говорю о надежде».

Сделав попытку рассказать о боли, породившей стихи Мандельштама и порождаемой этими стихами, о боли, которая «и мать и дочь», — я хочу повторить вслед за Вальехо: говорю о надежде.

Потому что Осип Мандельштам, кровно связанный с русской поэтической традицией, в то же время поэт в гораздо большей степени зачинающий, чем завершающий. В нашей поэзии двадцатого века есть блестящие имена, но только Мандельштам дает нам повод для дальнейших прогнозов. Он явился основателем совершенно нового направления, новаторского в своей вопиющей традиционности. Это направление исключает всякую возможность эпигонства и подражания, так как не содержит никакого стереотипа, никаких приемов. Можно ли назвать эпигонством следование принципам доверительности и точности, чувству меры и чувству юмора?

И, наконец, последнее, может быть самое главное, то, что хотелось произнести с самого начала: Пушкин и Мандельштам.

Потому что дело тут не в количестве написанного, не в масштабах и широте охвата.

Пушкин подвел жирную черту подо всем, что сделали его предшественники, он стал трамплином для всей последующей поэзии, обеспечив ее запасом потенциальной энергии на сто лет вперед. Теперь этот запас кончился — но появился Мандельштам. Его последние стихи написаны в 1937 году — сто лет спустя после гибели Пушкина, и накопленной им энергии более чем достаточно, чтобы обеспечить дальнейшее движение. Живое ощущение этой энергии позволяет нам сегодня «говорить о надежде».

Дела обстоят из рук вон плохо, поэзия наша захирела и замерла — если не умерла. Запасемся же терпением — что еще остается? — и дай нам Бог дождаться ее нового подлинного возрождения.

НЕИЗДААННЫЕ СТИХИ

1.

Музыка твоих шагов
В тишине лесных снегов

И, как медленная тень
Ты сошла в морозный день

Глубока, как ночь, зима
Снег висит как бахрама.

Ворон на своем суку
Много видел на веку.

А встающая волна
Набегающего сна

Вдохновенно разобьет
Молодой и тонкий лед

Тонкий лед моей души —
Созревающий в тиши.

В № 97 *Вестника* нами было напечатано 22 стихотворения О. Э. Мандельштама раннего периода, из переписки юного поэта с В. И. Ивановым. С тех пор найдено еще 15 стихотворений, относящихся все к тому же доакмеистическому периоду. Взыскательный автор включил в свою первую книгу лишь незначительную часть своих ранних стихов.

Неизданные стихи печатаются по фотокопиям с рукописей с соблюдением авторской пунктуации. Н. Струве.

2.(*)

В непринужденности творящего обмена,
Суровость Тютчева — с ребячеством Верлена
Скажите — кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величье,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!

3.

Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознание,
Что я не умею дышать;
Туманное очарование
И таинство есть — умирать...

Я в зыбке качаюсь дремотно
И мудро безмолствую я
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя!

4.

ПИЛИГРИМ

Слишком легким плащом одетый,
Повторяю свои обеты.

Ветер треплет края одежды —
Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный — пускай скитальцы —
Безотчётно сжимают пальцы.

Ветер веет неутомимо
Веет вечно и веет мимо.

(*) Напечатано в *Стихотворениях* (Библиотека поэта, 1973, Ленинградское отделение) в примечаниях, стр. 255.

5.

Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
Безжизненной кулис,
И месяц весь опутанный,
Беспомощно повис.

Темнее занавеситься;
Все небо охватить:
И пойманного месяца
Совсем не отпустить.

1909

6.

. коробки
. лучшие игрушки.
. . . на пальмовой верхушке
Отмечает листья ветер робкий.

Неразрывно сотканный с другими
Каждый лист колеблется отдельно.
Но в порывах ткани беспредельно
И мирами вызвано иными —

Только то, что создано землею.
Длинные, трепещущие нити,
В тщетном ожидании наитий
Шелестящие своей длинною.

7.

Листьев сочувственный шорох
Угадывать сердцем привык,
В темных читаю узорах
Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли —
Прозрачная, строгая ткань...
Острые листья исчисли —
Словами играть перестань.

К высям просвета какого
Уходит твой лиственный шум —
Темное дерево слова,
Ослепшее дерево дум?

Гельсингфорс, май 1910

8.

В изголовьи черное распятие,
В сердце жар и в мыслях пустота —
И ложится тонкое проклятье —
Пыльный след — на дерево креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный
Так похож на мозаичный сон!
Ах, зачем молчанья голос грозный
Безнадежный негой растворен!

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибор;
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет —
Страшен мне „подводный камень веры“, (*)
Роковой ее круговорот!

Петербург, ноябрь 1910.

(*) Тютчев.

9.

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат черный блеск пруда
И вздрагивает, тростниками
Чуть окаймленная, вода.

То — пряжу за собою тянут;
И, словно, паутину ткут;
То — распластавшись — в омут канут —
И волны траур свой сомкнут.

И я, какой то невеселый,
Томлюсь и падаю в глуши —
Как будто чувствую уколы
И холод в тайниках души...

1911

10.

Медленно урна пустая
Вращаясь над тусклой поляной
Сеет надменно мерца
Туманы в лазури ледяной.

Тянет, чарует и манит —
Непонят, невынут, нетронут —
Жребий — и небо обманет
И взоры в возможном потонут.

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах.

Выбор мой труден и беден
И тусклый простор безучастен.
Стыну — и взор мой победен
И круг мой обыденный страстен.

11 февраля 1911.

11.

Я знаю, что обман в видении немислим,
И, ткань моей мечты прозрачна и прочна;
Что с дивной легкостью мы, созида, числим
И достигает звезд полет веретена.

Когда, овеяно потусторонним ветром,
Оно оторвалось от медленной земли,
И раскрывается неуловимым метром
Рай, распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья —
По мановению эфирного гонца —
В край, где слагаются заоблачные звенья
И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь художник —
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

июль 1911.

12.

Когда подымаю,
Опускаю взор —
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.

И мукою в мире
Внесены мои
Тяжелые гири
Шаткая лады.

Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.

Есть в тяжести радость
И в паденьи есть
Колебаний сладость —
Острой стрелки месть.

июнь 1911.

13.

Душу от внешних условий
Освободить не умею:
Пенье-кишенье крови
Слышу — и быстро хмелею.

И вещества, мне родного,
Где-то на грани томленья,
В цепь сочетаются слова
Первоначальные звенья.

Там, в беспристрастном эфире,
Взвешены сущности наши —
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши;

И, в ликованьи предела
Есть упоение жизни:
Воспоминание тела
О ...неизменной отчизне...

июль 1911.

14.

Дождик ласковый, тихий и тонкий
Осторожный, колючий, слепой,
Капли строгие скупы и звонки
И отточен их звук тишиной.

То — так счастлив счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто, подхвачена темным
Ветром, струя уносится вкось.

Тайный ропот, мольба о прощеньи:
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Вся жестокость, вся кротость, на миг.

В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, музы и муки
Жизни тающей сладостный плач!

15.

Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность безотчетна
И как ты называешь
Мой трепет — все равно;

И для чего признание,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?

Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи!
И таинство их власти
Убийственной молчит!

И змей тревожный танец,
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

7 августа 1911.

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО О. МАНДЕЛЬШТАМА МАТЕРИ

Дорогая мамочка, *)

Получил, получил твое письмо. Что же это станет из нашей переписки, если неделями будем мы молчать... Этак, всякое живое содержание из нея исчезнет и поневоле останутся одни общие места.

Была ты значит у В. В. ¹⁾ Это хорошо... Жалею, что не послал для него письма... Любопытно мне что он скажет. Надеюсь об этом скоро узнать. Сейчас у меня настоящая весна, в самом полном значении этого слова... Период ожиданий и стихотворной горячки...

Время провожу так: утром гуляю в Люксембурге. ²⁾ После завтрака устраиваю у себя вечер — т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа... Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем, а там и обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера, это милая комедия. К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку... и происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций под председательством несчастной хозяйки...

Вчера, например, и до самого вечера говорил с неким молодым венгерским писателем о превыспренних материях, состязаясь с ним в искажении языка. Этот талантливый поэт настойчиво употребляет странное выражение: «мустар» для обозначения горчицы (мелко, но характерно).

Не слишком ли преждевременно будет теперь думать об университетских хлопотах? Ведь их и невозможно начать раньше осени? А если меня не примут — то я поступлю в один из немецких университетов... ³⁾ и согласую занятия литературой с занятиями философией.

*) Мать О. Э. Мандельштама, Флора Осиповна Вербловская, родом из Вильно, была из еврейской интеллигентной семьи. Умерла в 1916 году. На погребение матери О. Мандельштам написал стихотворение "Эта ночь непоправима".

1) Владимир Васильевич Гиппиус (1871-1941) поэт и литературный критик, был учителем Мандельштама в Тенишевском училище. Одновременно с письмом к матери О. М. отправил письмо и к Гиппиусу (см. Вестник РСХД, № 97).

2) О. М. жил в Латинском квартале, на 12, rue de la Sorbonne.

3) Осенью 1908 года О. М. поступил в Гейдельбергский университет.

Маленькая аномалия: «Тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии.

Вот еще стихи о Финляндии, а пока, мамочка, прощай.

Твой Ося.

О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поотдашь стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве Титана.
И песчанная отмель — добыча вечернего вала
Как невеста белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы,
И на дно опускались и тихое дно зажигали;
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце и первые звезды мигали; —
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
И не знаю, как долго, не знаю кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы.
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился. *)

Осип Мандельштам
19/20-IV-1908

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ В «БИБЛИОТЕКЕ ПОЭТА»

Наконец, почти сорок лет после мученической смерти Мандельштама, вышел в свет в Советской России сборник его стихотворений. Но подходящее ли это выражение **вышел в свет**? Хотя мы и держим в руках тоненький томик «Библиотека поэта», хоть и читаем на последней странице «тираж 15.000», но, пожалуй, правильнее было бы говорить не о выходе в свет, а о закрытом издании, о своем роде узаконенном самиздате. В самой России сборник стал библиографической редкостью с самого дня выхода, но, что более удивительно, даже за рубежом заказы книжных лавок были удовлетворены на какие-нибудь 10%, так что и здесь, фактически, книга в продажу не поступила...

*) Эти стихи вошли в сборник, появившийся в "Библиотеке поэта".

Книга разошлась в один день, а изготовлялась она целых 17 лет! Н. Я. Мандельштам рассказала в своих воспоминаниях, как книга Мандельштама «была поставлена в план «Библиотеки поэта» еще в 1956 году», но стала тут же жертвой «личных и групповых интересов, борьбы за занятые места и за куски государственного пирога». Но прежде всего — упорного отказа ее печатать идущего свыше... В 1968 году Твардовский, один из редакторов «Библиотеки поэта», в письме к Н. Я. Мандельштам, подробно рассказал о задержке сборника: «...могу только заверить Вас, что эта поистине ужасная волокита не есть следствие чьей-нибудь из редакторов «Библиотеки поэта» злой воли, в том числе и В. Н. Орлова. М. б. есть люди полагающие, что и я не печатаю в «Новом мире», уже многим известный в списках роман Солженицына, из опасения потерять место. Что делать! Могу еще сказать Вам, что на самом последнем этапе непосредственной причиной к задержанию книги Мандельштама уже в сверстанном виде послужили мои замечания насчёт слишком явных несовершенств подготовленного издания, в частности, — что особенно обидно и стыдно, — по сравнению с американским изданием. *)

Потребовалось еще пять лет волокиты (за которые, кстати сказать, целиком переменялся состав редакции «Библиотеки поэта»), чтобы наконец сборник вышел из печати... Мы не знаем, соответствует ли вышедшая книга той, что видел Твардовский в верстке и за которую стыдился, но странно, не перед Мандельштамом, а, как советский патриот, перед русским эмигрантским изданием... Возможно, что за пять лет цензура еще поизуродовала книгу. Но такой, какой книга вышла, она не только не выдерживает сравнения с «американским» трёхтомником, но является в прямом смысле оскорблением памяти великого русского поэта.

Насколько нам известно, целый ряд предисловий были последовательно забракованы цензурой, А. Македонского, Л. Гинзбурга, В. Орлова... Сборник вышел с предисловием Александра Дымшица, заматерелого партийца, к поэзии бывшего до сих пор вполне равнодушным. Но надо воздать Дымшицу должное: ему удалось выхолостить биографию Мандельштама до неузнаваемости. Что в 30-х годах свирепствовал «культ личности», повлекшей за собой массовые репрессии, и, в частности, гибель Мандельштама, начисто умалчивается. Исторический процесс 30-х годов

описан как вполне плавный, включая 1937 год. Как будто не было XX-го съезда КПСС и десталинизации. Даже наоборот: по словам Дымшица, это был «период большого общественного подъёма советской литературы», от которого Мандельштам остался в стороне, так как «его пути не совпадали с путями народной жизни». Оказывается, невзгоды Мандельштама не в его беспримерном поединке с властью, а в его «нервном заболевании» и «добровольной скитальческой жизни». Об эпиграмме на Сталина умалчивается совсем и уж тем самым об аресте в 1934 году. Оказывается, Мандельштам просто «поселился» в Воронеже и даже выезжал свободно из города, появляясь то в Москве, то в Ленинграде... Так же лживо описан последний год Мандельштама: в 1937 году «оборвался его творческий путь», а умер он в начале 1938, где, как и почему не сказано... Дымшиц даже не посмел привести данные Литературной энциклопедии, где сказано, что Мандельштам «в 1934 г. в условиях культа личности был репрессирован и погиб после вторичного ареста» (причем, указывается официальная дата: 27 декабря 1938).

Статья Дымшица — доказательство, что в интерпретации советской истории вернулись к до-хрущёвским временам.

Составитель сборника — искусствовед и критик Николай Харджиев. Он — не чета Дымшицу. Близкий и верный друг Мандельштама в самые трудные минуты, Харджиев — тонкий знаток его поэзии. Тем более обидно, что он связал свое имя с таким выхолощенным изданием. Цензура не пропустила целых сорок стихотворений Мандельштама из самых лучших, из самых ключевых: «Холодная весна...», «Квартира тиха, как бумага», пятеро из восьми восьмистиший, «День стоял о пяти головах» и, вершину Воронежских тетрадей, цикл о «Неизвестном солдате». Включение в основной текст неизданного юношеского стихотворения Мандельштама ни в коей мере не восполняет этот пробел, который искажает творческий путь поэта.

Несколько озадачивают и текстологические принципы составителя и распределение материала. Харджиев решил принять за основу сборник 1928 г., явно пострадавший от цензуры. Получилось, что такие ключевые стихи, как «Вот дароносица, как солнце золотое» или «Люблю под сводами седья тишины» оказались где-то на задворках, среди стихов случайных...

Лучшее в синем томике — комментарий. Харджиев, располагая различными архивами, приводит ряд интересных вариантов. Многие *realia* расшифрованы и объяснены. Но есть и суконные при-

*) См. Вестник РСХД № 108-109-110, стр. 85.

мечания: так, определять литургию, как «обряд причащения», по меньшей мере недостаточно.

Когда листаешь синенький томик Мандельштама, чувство невольно двоятся. Нельзя не порадоваться, что Мандельштам, наконец, удостоился у себя на родине отдельного издания, а не одних случайных журнальных публикаций, — как бы официального признания. Но какой дорогой ценой куплено это издание и признание! Ценой умолчания историко-поэтического подвига поэта, явившего России образ беспримерного мужества и торжества над силами разрушения и зла:

Лишив меня морей, разбега и разлёта
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились Вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять Вы не могли.

Шевелящихся губ не отнять. Но сорок лет спустя после насильственной гибели поэта, продолжают прилагать все усилия, чтобы эти шевелящиеся губы были как можно меньше, как можно глуше услышаны русским народом.

Н. Струве

СУДЬБЫ РОССИИ

Дмитрий НЕЛИДОВ (СССР)

Идеократическое сознание и личность

Тоталитаризм подобен призраку,
который питается кровью живых...

Карл Ясперс

Замысел предлагаемой работы сложился у автора достаточно давно, однако, непосредственным толчком к ее написанию послужило опубликование „Вестником РСХД“ статьи К. Житникова „Закат демократического движения“.) Статья не просто намеренно „подводит итоги“, она носит характер некоего „исторического приговора“ и в качестве приговора так и просится на страницы учебников истории, разумеется, учебников из прекрасного будущего. Она показала одним из первых пробуждений самостоятельной исторической мысли и на своих немногих (звиду обстоятельств) читателей произвела впечатление блестящей. Я не оспариваю этого впечатления, хотя радикально расхожусь со взглядами автора. „Взгляды“ не означают здесь нечто расплывчатое, но указывают на весьма четкую позицию, с анализа которой мы и начнем.*

I. АНАЛИЗ СТАТЬИ К. ЖИТНИКОВА

Блеск и неожиданность статьи Житникова заключается в том, что автор ее возвращается к утраченной самиздатом социологической концепции. Стойкий режим противостояния цензуре и официальному стилю мышления как бы исключил из самиздата то, что этой цензурой или этим стилем мышления хотя бы в принципе пропускалось. Разумеется, то, что было разрешено цензурой, реально уже не содержало в себе ни социологического, ни классово-

*) См. ВЕСТНИК РСХД № 106, стр. 275-193.

го анализа общества. Для печати годилась лишь определенная фразеология, устоявшаяся в духе марксистского социологизма и выдержанная в стиле придворных восточных этикетов. Символика принятого этикета под видом научного исследования допускала большое разнообразие приемов; она могла передать различные намеки, лесть, замаскированную критику или прямые доносы. Но охота шифровать и дешифровать обусловленные формы возникала у немногих — только у тех, кто вступал в эту игру, т. е. становился автором (возможно, потенциальным) в одной из сфер гуманитарной культуры. Вольная же литература, едва возникнув, отбрасывает ненавистный этикет. Но вместе с этикетом изгонялся и всякий социологический анализ, который в сущности не противоречил ни гуманизму, ни христианству, ни даже особо усиленному патриотизму, или патриархальной верности. Эта весьма существенная потеря была восполнена лишь немногими, и в качестве примера великолепного сочетания трезвого взгляда и социологической объективности можно указать в частности на известную работу А. Амальрика.

Статья К. Житникова, о которой мы будем говорить, анализирует «Демократическое движение». Она четко фиксирует границы «Движения», его формы и до известной степени его идеи. Основная мысль статьи: «основываясь на идеологии коммунизма, «Движение» стремилось осуществить свою программу руками властей и коммунистической партии». Сама же программа непосредственно вытекает из духа хрущевских реформ. В центре статьи стоит сопоставление пяти основных реформ, выдвинутых Хрущевым, и пяти основных форм движения. Сопоставление выглядит весьма убедительно. Оно свидетельствует о том, что «Движение», родившееся как раз после падения Хрущева, требовало более радикального осуществления его начинаний. «Оппозиционность» «Движения», — говорит автор, — объясняется тем, что проведение реформ остановилось и даже наметился поворот назад». В примерах, подтверждающих эту мысль, разумеется, нет недостатка, хотя внимательный взгляд обнаружит в статье К. Житникова много натяжек. Но главная его мысль заключается в том, что участники «Движения» исходят из социалистических взглядов, из того, что он называет «идеологией коммунизма».

Здесь возникает некоторая терминологическая неясность. Что собственно называем мы социализмом и социалистическими убеждениями? Помимо официальной, существует две точки зрения на режим в нашей стране; согласно первой из них, режим, будучи

идеологическим наследием сталинизма, является извращением подлинного социализма. На этой точке зрения, как следует из статьи К. Житникова, стоит большинство «демократов». Вторая утверждает, что социализм сам по себе есть извращение, и в крайней форме она сводится к тому, что уже в «Государстве» Платона или в «Городе Солнца» или в «Коммунистическом манифесте» в зародыше заключены будущие идеологические беснования и концентрационные лагеря.

Однако в первом случае, говоря об извращении социализма, люди сталкиваются с идеальной конструкцией, которая чаще всего бывает привита им с детства; во втором, говоря о социализме как об извращении, люди ставят знак равенства между этим понятием и той действительностью, из которой они черпают свой опыт. Строго говоря, эти позиции не имеют точек пересечения, ибо слово «социализм» они заимствуют из двух разных мировоззрений. И поэтому, опираясь на одну, в сущности нельзя опровергнуть другую. В каждом случае это слово обладает своим особым смыслом. Здесь не место говорить о том, что такое социализм «на самом деле», но хотелось бы подчеркнуть, что та позиция, в которой в данном случае критикуются «социалистические взгляды», не может вышиться над этими взглядами, так как лежат они в разных плоскостях. Поэтому, когда мы слышим о «социалистических взглядах» участников «Движения», то следует выяснить, что мы понимаем под социализмом. В контексте статьи К. Житникова «социалистические взгляды» означают взгляды советские и потому взгляды «демократов» представляют собой обновленный, гуманизированный или, скажем, облегченный вариант советской идеологии. Но даже, если бы это было и так, между «советским» и «социалистическим» нельзя ставить знак равенства. Точнее сказать, советская идеология сложилась лишь в результате господства, насильственного вдалбливания тех самых социалистических взглядов, с которыми сегодня она может не иметь ничего общего. И потому прежде, чем говорить о «Демократическом движении», следует разобрататься в том, что противостояло ему и что в каком-то смысле было неотделимо от него — в советской идеологии.

2. «ОТЧУЖДЕННОЕ СОЗНАНИЕ»

Первое, что бросается в глаза: эта идеология абсолютно рациональна и в то же время отчуждена от всякого индивидуального сознания. Она принадлежит всем вместе и никому в отдельности. Она есть просто «объективная реальность», данная нам в представ-

ленин», с которой каждый гражданин государства вынужден в той или иной мере считаться. Как бы ни был он предан этой идеологии или как бы безоговорочно ни отвергал ее — она всегда есть для него нечто внешнее, то, что соединено с ним, независимо от его личного фанатизма или неверия. Содержание этой идеологии есть исповедание веры государства.

Государство верит, что оно построено на принципах политико-экономического развития общества, открытых Карлом Марксом;

что эти принципы были творчески претворены в жизнь вождем мирового пролетариата В. И. Лениным;

что оно возникло в результате победоносной социалистической революции, которая уничтожила в России эксплуататорские классы и систему угнетения человека человеком;

что оно построило свободное социалистическое общество, которое в данный момент переходит к высшей стадии своего развития — к коммунизму;

что коммунизм предполагает чрезвычайно высокое развитие государственной экономики и на этой основе полное удовлетворение всех материальных и духовных потребностей каждого гражданина;

что коммунизм приводит к всестороннему развитию личности и к невиданному процветанию;

что законы, открытые Марксом и Лениным, есть законы самой истории, которые рано поздно, тем или иным путем приведут к построению коммунизма во всех странах;

что оно обладает самой здоровой экономической структурой — плановым хозяйством;

что оно обладает единственно истинной философией — диалектическим и историческим материализмом;

что в этой философии заключаются мировоззренческие основы науки и культуры (физики, астрономии, социологии, истории, литературы, права и т. д.);

что построение коммунизма осуществляется в соответствии с этой философией и научной истиной всем советским народом под руководством коммунистической партии — передового отряда советского общества;

что те, кто препятствует построению коммунизма, заражены влиянием враждебной империалистической идеологии и с ними необходимо решительно бороться.

Разумеется, изложенное здесь государственное кредо предельно кратко. В развернутой форме, в виде развитой догматической системы оно заняло бы десятки томов. Что будет записано в этих томах по отдельным вопросам и параграфам, каждый из нас может легко себе представить. Ибо практически в каждом это исповедание заложено в виде закодированных знаний, эмоций, умпульсов. Об этом еще пойдет речь. Сейчас интересно следующее. Было сказано: «государство верит». Но откуда у государства взялась такая способность? Можно, правда, говорить о вере партии или народа, но в данном случае это только эвфемизмы государства. Совершенно неважно, каким словом мы обозначим ту самую сущность, которая верит во все это или все это провозглашает. Важен факт: эта вера существует и активно утверждает себя. Утверждение и провозглашение веры государства есть идеология. При позитивистском взгляде на нее, мы увидим в идеологии только определенную организацию знаков, символов, значений, т. е., некую семантическую систему с фиксированной структурой запретов и правил семантической сочетаемости.

Эта система, которую можно называть и языком государства, носит совершенно безличный характер. Она **о б я з а т е л ь н а** в той или иной мере для каждого. Однако практически нет и, наверное, не может быть человека, убеждения которого целиком бы укладывались в эту систему и описывались этим языком. Человеческая психика всегда оказывается более подвижной и легко соскальзывает как в «собственные мнения», так и в «свой язык». И потому всякое «идеологическое соучастие» (при написании романа или журнальной статьи, при судопроизводстве, при формулировании официальных директив любого масштаба) неизбежно управляет индивидуальное сознание ради безличного отчужденного сознания, олицетворяющего собой всю сумму государственной веры.

«Сумма веры», идентичная в данном случае «сумме всеобщего блага», напоминает гегелевское определение государства как «божества на земле». Разумеется, то, что имел в виду Гегель, ничего общего с советским строем не имеет, да и сам он по давней традиции намеренно исключает из своего языка все религиозные понятия. Гегель, определяя свое государство, видел в нем имманентное раскрытие Абсолютного Духа. Абсолютный Дух был тем самым божеством, сведенным на землю методом гегелевской диалектики. Диалектика или логика заключала в себе законы саморазвития этого Духа, приходящего после ряда отрицаний к синтезу или

тождеству с самим собой. Это тождество в частности должно было завершиться в «абсолютно разумном государстве», знаменующем своего рода итог человеческой истории. Маркс, который, как известно, «поставил гегелевскую философию с головы на ноги», усмотрел движение диалектических законов в реальном (экономическом) развитии общества. Он увидел в истории непрерывающуюся борьбу классов, эксплуатацию бедных богатыми. Но философия была призвана, по Марксу, не только к тому, чтобы правильно увидеть и объяснить мир, но и к тому, чтобы изменить его, т. е. избавить его от эксплуатации, от имущественного неравенства. Ключ к изменению мира лежал в открытой им диалектике развития производительных сил и производственных отношений и вытекающей из нее диалектической практики. Эта историческая практика требовала революционного перехода к социализму. При социализме будет уничтожена сама возможность эксплуатации, поскольку все материальные и культурные блага станут собственностью не отдельных лиц, но всего народа.

Вопреки ожиданиям Маркса, все это как будто осуществилось в той огромной, но отсталой стране, которая в течение многих лет была в его глазах «жандармом европейских революций». Маркс, если бы он был жив, мог бы торжествовать победу. Но сам он наверняка не счел бы себя победителем. Революция, совершенная ради освобождения от гнета и эксплуатации, привела к самообожествлению государства, в котором могло быть освящено любое рабство и любая эксплуатация. Но это еще не все. Вся хитрость заключалась в том, что эта самая рабская форма власти, установленная путем свержения тирании, должна была без конца внушать себе и своим подданным, будто они живут в самом свободном, самом прогрессивном и самом процветающем обществе. Тот комплекс идей, который привел к созданию этого общества, в конце концов, безраздельно воцарился в нем, стал его единовластным и неограниченным диктатором. Теперь стало возможно многое, кроме одного: ограничения этой безмерной идеологической власти. Победителем вышел, пожалуй, не Маркс, а Гегель. Государство фактически признало себя «божеством на земле». Теперь оно могло верить, провозглашать и отстаивать свое кредо. Абсолютный Дух легко транскрибировался в Высший Исторический Разум, а затем и в Историческую Необходимость, слагающуюся из непреложных диалектико-экономических законов. Сведение божества на землю совершилось с помощью еще одного диалектического переворота — отрицания марксизма (как силы, взрываю-

щей все традиционные скрепы общества, как сконцентрированной революционной воли) посредством современной марксистско-ленинской идеологии (как максимального затвердения, консервации определенной общественной системы в качестве идеократии).

Это, конечно, схема, известная каждому. И сам Маркс совершенно не стремился обосновать государство, где его идеи стали бы объектом «отчужденного» государственного культа. Сам Маркс, признанный «специалист по срыванию всяческих масок», вовсе не собирався заводить этого небывалого хора рязеных, где напаянная идеологическая личина заменяла бы подлинную человеческую сущность. Вдохновляясь перспективой целостного освобождения человека, предвидя создание общества, в котором свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех, он отнюдь не предполагал, что оно будет выглядеть безликой однородной массой, утрамбованной гигантским идеологическим прессом. И он, вероятно, с ужасом узнал бы в получившемся словесном месиве фразеологию своих идей. Дело было сделано так, как предсказывал когда-то Гегель: история двигалась к своим «объективным целям», из хитрости прибегая к чьим-то открытиям, потребностям и надеждам.

Но и Гегель вряд ли обрадовался бы своей победе. Абсолютный Дух, веками отстоянный и дистиллированный в самых верхних слоях европейского мышления, оказался нестерпимо самодовольным и скудоумным оборотнем, набитым полусмысленными фразами и одержимым жаждой абсолютного господства. Но и будучи оборотнем, он обладал всеми признаками Абсолютного Духа. Повинуясь стройным законам диалектики, пройдя через ряд отрицаний, он пришел к отождествлению с самим собой в отвлеченном и обоготворенном разуме государства. В качестве абсолюта он пронизывал все формы общественного бытия, противопоставив себя относительному сознанию индивида. В качестве духа, он внедрялся в это сознание, он стремился как бы воплотиться в нем, навязать ему свою волю. В качестве новоявленного божка-высочки, втайне чувствуя себя временщиком, он одной рукой наспех оделял всех дешевой поверхностной благодатью, другой — наскоро душил непокорных и непонятливых. Он обладал разветвленной символикой имен — Будущего, Исторической Необходимости, Прогресса, Вождя народов, но природа его при всех именах оставалась неизменной.

Открытие Маркса парадоксальным образом привело к созданию пневмоцентрического государства. Абсолютный Дух, ставший

его идеологическим субстратом, это прежде всего внечеловеческая истина, отчужденная от всякого индивидуального сознания и навалившаяся на него. Истина стала для людей насилующей объективностью и, когда данные опыта не соответствуют этой истине, то, по известному изречению Гегеля, хуже было для фактов. Истина могла поставить на место любые факты. Она могла превознести их или уничтожить. Она могла «вправить» их в любой субъективный опыт так, что никакой очевидности, никакому здравому смыслу с ней нечего было тягаться. Под разбитной философский рефрен «материя первична, сознание вторично» демонстрировалась невиданная мощь духа и попрание какой угодно материи. Истина как будто в дионистическом экстазе пустилась по земле в пляс, завоживший человеческие души. Но оргиастическая природа в ней была скрыта под упрямым крепколобым рационализмом. Сама же она считала себя прочной, уравновешенной и совершенно объективной наукой. Правда, ее мнение о себе порождало в ней здоровое чувство уверенности, однако мешало прибегать к услугам потенциальных союзников.

Вот один пример. На Западе неоднократно делались попытки соединения истины марксизма с психоанализом; в умелых государственных руках союз этих двух столь прочных, столь всеобъемлющих систем мог бы стать необоримой силой. Помнится, Сартр сетовал на то, что марксисты напрасно пренебрегают таким союзом и даже предлагал своеобразный проект синтеза того и другого. Но идеократическое государство, разумеется, не могло принять такого подарка. Его истина была сделана из грубого, добротного материала; в психоанализе она могла размокнуть и переродиться. Психоаналитический метод открывал ход к человеку изнутри; в масштабах тотального воздействия он мог оказаться в принципе более эффективным. Но ради сохранения монополии истина не могла пойти на такой союз и оставалась просто отчужденным общественным благом, которое, не копаясь в подсознании, без разбору дубасило по головам тех, до кого (по какой-то непостижимой географической нелепости) можно было достать.

3. ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Современное индустриальное общество часто называют обществом потребления; здесь все производится на продажу; политические идеи продаются так же, как машины, консервы или искусственные волосы. Западный человек привык к эйфорической атмосфере рекламы; со всех стен, со всех страниц к нему обраще-

ны зубные пасты, чулки на стройных ногах, белозубые улыбки политических деятелей. И все трезвонит на разные голоса: купите меня, выберите меня! Уже давно открыто и со всей обстоятельностью доказано, что свобода такого выбора иллюзорна, что человеческая душа среди изобилия одинока, что от перемены белозубых улыбок нисколько не меняется судьба «человека с улицы». От этой постылой свободы, которая есть на самом деле полная порабощенность, возникают студенческие волнения, отращаются длинные волосы, зарождаются «новые романы» и «театр абсурда». За всем этим нередко скрыт и метафизический бунт: долой потребление! любую революцию и немедленно! Но даже будучи самым ярым обличителем «фальшивой» буржуазной свободы, западный человек дорожит своим правом купить ту зубную пасту, а не эту, выбрать эту идеологию, политическую партию или страну для жительства, а не ту. Ему часто не приходит в голову, что в современном мире люди могут быть начисто лишены этого иллюзорного и трижды разоблаченного права выбирать ценности и идеи.

В тоталитарном обществе идеология — это вовсе не тот товар, который можно почему-либо не купить и не усвоить. Это товар, который сам выбирает себе потребителя, не спрашивая его согласия даже в самой условной, ничего не значащей жизни — с детских песенок, утренников, букварей. Неважно в данном случае, каков в дальнейшем будет результат этого потребления, важно то, что его невозможно избежать. В каждом возрасте идеологическое кредо преподносится в доступной и ёмкой форме. Однако во всех случаях априорно предполагается, что человек остается ребенком, которого всю жизнь необходимо воспитывать, бесконечно повторяя ему на разные лады, «что такое хорошо, и что такое плохо». При этом хранители и якобы вершители идеологии, те, кто имеет доступ к ее тайнам, те, кто могут распределять ее и манипулировать ею, числятся, разумеется, старшими, но и им далеко до настоящей взрослости. Идеократия оставляет людей на положении ребятишек из детского сада, которых воспитывает безликое идеологическое «Оно».

При всех возможных персонификациях, при всех культах никакая личность по сути дела не может управлять тоталитарным обществом. Не Сталин был абсолютным диктатором, но обожествленная истина, спаявшая людей своей мистерией. Правит не личность, но идеологический джинн, выпущенный из бутылки. Сталин Сталиным мог быть лишь в силу того, что инстинктами, убеждениями, одержимостью Сталина обладал любой чиновник, газетчик, проку-

рор, любой следователь на допросе и любой понятой при обыске. Каждый получал прививку бесконечной веры в прогресс и безграничной ненависти к врагам народа. Сознание каждого было сдвинуто этим странным смещением нетрезвого руссоистского оптимизма в отношении всего человечества и волчьих инстинктов в отношении любого конкретного человека. Никаких антимоний, однако, здесь не допускалось. Всякие антиномии были уже заранее сняты где-то наверху, куда не пускали простых смертных. Так называемый культ личности был только одной из кульминаций безличностного, по сути идеологического культа — период, когда он достигал, пожалуй, наибольшей магической силы.

Когда магизм несколько рассеялся, ряд декораций пришлось заменить. После недолгой интермедии с Хрущевым, столь живо напомнившей известные слова о том, что история разыгрывается сначала как трагедия, а затем повторяется в виде фарса, наступила, кажется, стабильная полоса, для которой характерным стал культ Ленина. Ленин, разумеется, только одна из последних персонификаций, но совсем иного рода. Он уже не живет на земле и не думает по ночам о нас. Он жив только «вечно», в идеях, символах, специфических обрядах. Идеологический магизм на этой стадии заметно ослабевает, но сохраняет основную структуру своего воздействия.

Можно было бы немало сказать об истории этого магизма, о тех метаморфозах, которые он претерпел, но наша тема — только синхронический срез идеократического сознания. Первое, что усваивается им — четкая ценностная ориентация. Речь отнюдь не идет о глобальных политических проблемах: о вере в коммунизм, о социалистических убеждениях. Находясь под «властью идей», человек перестает жить идеями в чистом виде (один из парадоксов идеократического сознания, постороннему человеку, может быть, неизвестных). Он живет комплексами идей — инстинктами, которые в нем особым образом воспитываются постоянным идеологическим давлением. Он погружен в атмосферу инстинктивных ценностей. Весь мир вокруг него как бы пропитывается идеологическим электричеством, электризуется в положительных и отрицательных зарядах. При культе личности фигура вождя была только точкой наивысшего напряжения, но никак не источником энергии. Когда место живого вождя заменили «идеи, которые будут жить вечно», напряжение само собой ослабело. Произошло всего лишь перераспределение энергии, но мир остался попрежнему наэлектризованным. Существование в этом мире есть постоянная включенность в жесткую отработанную систему энергоценностей. Ото-

всюду человек получает толчки и импульсы. Газеты, радио, шлягеры, памятники исторического величия, глаза вождя, смотрящие со всех стен — все это служит проводником определенных, строго рассчитанных идеологических зарядов. Человек аккумулирует их в себе и именно эти заряды заменяют ему идеи. Устойчивые словосочетания, такие, как «борьба с международным империализмом», «антисоциалистические силы», «ударный труд», «в духе советского патриотизма» — не мысли, не идеи как таковые, но сжатые пружины, с силой распрямляющиеся в сознании идеологического потребителя. Они постоянно стимулируют определенные выработанные инстинкты, своеобразную культуру условных рефлексов, при воспитании которых только и может функционировать идеократическая система.

Все как бы рождаются в ней наркоманами: чтение газет, слушание «последних известий» становится неискоренимой привычкой. Получаемые заряды состоят из одних и тех же информационных элементов: «постановление пленума», «сердечная встреча братских партий», «досрочное выполнение плана», «забастовки на Западе», «обуздать агрессора», «новый подарок труженикам села»... Добавьте к этим элементам еще десять-пятнадцать и вы практически исчерпаете запас информативных стимулянтов. Нередко встречаешь людей, которые не верят здесь ни одному слову, у которых это поило вызывает отвращение и все же по какой-то неведомой им самим причине они не могут от него отказаться; как заведенные, слушают радио, читают газеты. Какая-то навязчивая потребность заставляет их включать себя в сеть идеологического питания и изо дня в день, из года в год получать одно и то же: «...выполнение плана... обуздать агрессора...»

Возникает невиданная мифическая система: человек живет в мире реальностей, которые доходят до него только посредством каких-то обусловленных словосочетаний, но никак иначе. Действительность, которая стоит за этими словосочетаниями, практически неизвестна, но в нем действуют импульсы, порожденные мифом. Постоянно потребляемая информация только поддерживает их, но в принципе он мог бы обойтись и без нее. Он без труда мог бы и сам порождать эти словосочетания, сам лепить этот миф, ради отчужденного и не всегда до конца понятного ему «нужно». Так собственно и происходит на фабриках идеологии, на «кухне большой политики», в аппаратах пропаганды. Те, кто служат там, просто включают в дело выработавшиеся в них импульсы идей и словосочетаний. Они работают ради мифа, хотя

сами, конечно, думают, что не нуждаются в нем. Но чтобы они про себя ни считали, чтобы ни думали их потребители и клиенты, какие бы реакции ни пробуждались в том или ином индивиду, идеологическая машина работает независимо ни от того, что профессиональный журналист не верит ни одному написанному им слову, ни от того, что у какого-нибудь потребителя вся эта система усвоения сигналов и импульсивного реагирования работает на полном ходу.

Потребление обладает как бы позитивной и негативной частью. Позитивная часть есть то, что определено нами как отчужденное сознание, т. е. сумма абстрактного государственного блага, выражающего собой смысл истории и ее завершение в построении предписанного типа общества. От смысла истории тянутся нити к смыслу философии, к смыслу этики, к смыслу науки. Сумма истины распадается на ряд подструктур, интерпретация которых требует одной системы значений. Система эта вводится в сознание путем неустанный пропагандистского нажима во всех видах. Что касается негативной части, то это есть сфера усвоения навязываемой истины, область воздействия идеологии и вырабатываемой здесь духовной и этической ориентации. Эта подводная часть очень мало напоминает ту, что видна всем с первого взгляда. Там особый мир со своими законами, и то, что в позитивной части было «смыслом», становится в негативной части рефлексом, импульсом. Законы здесь выражают сложную систему запрета, внешних и внутренних, реальных и потенциальных угроз, вытесненных и невытесненных страхов, соединенных с каким-то иррациональным неконтролируемым оптимизмом или по крайней мере с какой-то смутной верой в собственную правоту и историческую необходимость всего происходящего или могущего произойти. Если бы не было этой разветвленной подземной системы, если бы каждый не носил ее в себе, то в один прекрасный день он мог бы рассмеяться, как ребенок из андерсеновской сказки и воскликнуть: «А король-то голый!» Но сознание в условиях тоталитарного государства остается постоянно включенным в грандиозное идеологическое действие, в котором не может быть равнодушных зрителей или столь невоспитанных детей. Все должны принимать в нем участие. Можно не читать газет, куда труднее ускользнуть от выборов. Следует понять, что сама идеология, сама навязанная истина печатает газеты, зовет вас на выборы, при надобности сажает вас за решетку, а не та или иная когорта идеологических сыщиков. Все подчинено этому Молоху. Есть люди, которым это выгодно, есть

те, кто подчиняется ему добровольно и те, кто его ненавидит, но каждый должен в той или иной степени в меру своих сил и желаний приспособливаться к нему.

4. КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ.

Идеологическое приспособление можно выразить более нейтральным понятием — культурой социальной адаптации. Так на языке социологов и психиатров формулируется способность человека сживаться с окружающей средой. За этой формулировкой стоит предположение, что нормальный индивид обладает такой способностью, т. е. он может, а в определенных случаях и обязан принимать социальную и идеологическую окраску того общества в котором он живет. Если научно доказано, что живет он в самом прогрессивном обществе, если идеология этого общества есть сама истина в ее революционном развитии, то культура социальной адаптации выражается в безоговорочном принятии этой истины, в подтверждении её словом и делом, мыслью и чувством. Сущность человека определяется с точки зрения развития в нем культуры социальной адаптации, т. е. взаимоотношений его с истиной. Отчужденное сознание остается чем-то первичным по отношению к человеку. Лишь под углом такого сознания можно узнать, добр он или зол, талантлив или бездарен, говорит ли правду или клеветает. (*)

Иными словами, культура социальной адаптации есть постоянное посольство истины в человеке, присутствие в нем отчужденного сознания блага. Но как воздействует это «благо» на внутренний мир человека, как взаимодействует оно с сердцем, которым оно навязано? Мы ставим этот вопрос в свете основной антропологической проблемы: насколько гибок человек, насколько он внутренне подвижен и податлив перед этой чужой, обрушившейся на него духовной силой? Насколько он самостоятелен и насколько зависим от нее?

(*) Только истина, известная априорно, может объяснить нам, что такое клевета. Клевета есть то, что ни при каких условиях не может быть правдой. Не может потому, что не должно. Не должно потому, что заведомо не может быть и т. д. Попробуйте одолеть такую логику См. статью 190¹ УК РСФСР: «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй и систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй» и т. д. Под «строим» понимается не только политическая структура общества, но и весь комплекс идеологических запретов.

Частично мы уже ответили на наш вопрос, касающийся взаимодействия идеологии и личности, указав на культуру социальной адаптации. Эту культуру можно определить как воспитанную определенным образом систему условных рефлексов на соответствующую ей систему идеологических сигналов. Или, если воспользоваться понятиями психоанализа, культура социальной адаптации есть некий клубок импульсов (энергоценностей), постоянно хранящихся в подсознании. Этой системе научаются так же легко, как родному языку. И она становится практически неотделимой от личности. Освободиться от нее значительно сложнее, чем приобрести ее. Дело не в политических убеждениях, не в идеях вообще, а в той гамме полусознательных реакций, которые возникают при идеологическом воздействии. Эти реакции как бы заранее заданы и пронизывают не только интеллект, но и весь строй эмоциональной жизни человека.

Возьмите литературу, живопись, музыку. Социалистический реализм здесь не только навязан, насильно привит к таланту, он есть внутренняя потребность, — тот же идеологический импульс, действующий в сфере искусства. Возьмите, например, поэзию, отнюдь не гражданскую, а самую что ни на есть лирическую, поэзию «общечеловеческих» переживаний — любви, природы, старости, смерти. Эти переживания, если приглядеться, на редкость стереотипны. Их амплитуда не намного шире, чем амплитуда идеологических импульсов, заключенных в газетной статье или в передаче «последних известий». Дело не в форме, но в сути «переживаний». Они исходят не от реального человека, но от того, каким он, по мнению автора, должен быть. Автор почти бессознательно ставит на свое место вымышленный идеологический манекен, который играет роль его лирического героя: он в меру бодр, здоров, оптимистичен, в меру задумчив и грустен, он утверждает, что жизнь — это борьба, влюбляется с неуклюжей прямоотой рабочего парня, а когда стареет, настаивает, что душа его еще молода. Этот герой вышел, правда, из эпохи «культовых лет», когда принятый стереотип был предельно узок и предельно доступен массовому сознанию. С тех пор в культуру вошла новая тема, которую условно можно назвать темой подражания гуманизму. Стихи, песни, кинокартины подаются уже в более «человеческой» упаковке. Но коль скоро они включены в идеологическую систему и служат ей, они вынуждены скорее следовать за неким уже имеющимся образом, нежели создавать его. Здесь в культуре, как и повсюду, образы даны уже заранее, они принадлежат подсознанию

художника и в процессе творчества только поднимаются на поверхность.

Неважно при этом, что подобная стерилизация духа производится якобы во имя человека, с целью всестороннего развития личности в будущем. «Всестороннее развитие личности» — фраза, ставшая особенно расхожей, но не имеющая никакого смысла. Вас запирают в идеологическом карантине, путем различных отработанных приемов лишают вас извне и изнутри права подлинной творческой реализации, права на сострадание, права на горький смех, права на молитву, а потом, ради «всестороннего развития» предлагают вам русскую литературу, пронизанную тем самым состраданием и горьким смехом, зовут вас в музей любоваться иконами и на концерт — слушать хоралы Баха. Но вы уже бесконечно далеки от того, что вызвало их к жизни. Прежде, чем раскрыть книгу и войти в музей, вы уже получили прививку духовного бесплодия. «Всестороннее развитие» приводит лишь к гедонистическому поеданию культуры и массовому обжорству, не вызванному никаким подлинным голодом.

Однако, «всестороннее развитие личности» организуется так, что «общечеловеческое» здесь как бы вливается в советское, дополняя и поддерживая его. Так возникает иллюзия раскрытости и гуманизма. При этом соединение двух культур, подлинной и поддельной, направляется чаще всего единым планом рассчитанного идеологического нажима.

Посмотрим на структуру такого воздействия. Любая его разновидность, облечена ли она в форму искусства или повседневной пропаганды, есть интерпретация заранее заданной темы. Эта интерпретация постоянно апеллирует к выработанному «социальному образу» — манекену, обладающему определенным стереотипом чувств, мышления, поведения. Для «социального образа» характерна замкнутость и постоянство образующих его элементов. Он хранит в себе некий объем информации, закодированной в виде безотчетных эмоциональных импульсов и распределенной по ряду тем. Каждая тема представляет собой привычную сумму реакций на устоявшийся идеологический раздражитель. Механика пропаганды основана на том, что эти реакции вызываются в должной последовательности и нужном ритме. Любую газетную статью можно распisać как мелодию по нотам, где каждый информационный знак соответствует заранее известной реакции. Интеллектуальное постижение играет здесь скорее условную, символическую роль. «Социальный образ» реагирует, но

не мыслит. Что бы ни подразумевалось, скажем, под словом «свобода», оно всегда схватывается скорее интуитивно, в комплексе связанных с ним реакций на контекст: «свобода советского человека», «пресловутая свобода западной демократии» (потому-то демократии эти нередко обманываются советским словом «свобода», ведь речь идет не о каком-то понятии, значение которого одинаково во всех языках, но об интуитивных импульсах, вызываемых этим словом, которые могут ничего общего не иметь с отвлеченным его смыслом). Это относится к любым идеологическим высказываниям, причем объем таких высказываний может быть как угодно широк. Но каждое неизбежно проходит сквозь ряд обусловленных реакций, ограничений, заданностей. Я уже не говорю о всех системах и подсистемах внешней цензуры. Это мир, который может быть описан только в научной фантастике. Но вырастает он из цензурной внутренней, тех интимных, невидимых перегородок человеческой души, которые социологи и психиатры, как известно, называют культурой социальной адаптации.

5. «ДВОЕМЫСЛИЕ».

Культура социальной адаптации или негативная идеология, о которой мы говорили, укладываемая в особую, полувывесненную, полусознательную часть души, есть в то же время система внутренних фильтров или цензура. Цензура образуется в результате отвердения устоявшихся реакций на регулярно посылаемые и особым образом организованные идеологические энергоимпульсы. Она предопределяет усвоение всей поступающей информации, оживляя и расцветивая одно, стерилизуя и вытесняя другое. Цензурированное познание есть своего рода «повторение в виде фарса» трансцендентального познания у Канта: человек воспринимает мир посредством априорных заданных форм, предрешенных стереотипом «социального образа».

«Социальный образ» накладывается на личность, пытаясь раствориться в ней и в то же время поглотить ее целиком. Но это оказывается принципиально недостижимым, что приводит к феномену «двоемыслия». Двоемыслие — термин не новый, но кажется еще никем в достаточной мере не истолкованный. Орвелл скорее гениально угадал его, чем разъяснил; другие больше описывали, чем проникали в его природу. Последнюю задачу не берет на себя и автор настоящей статьи. Мне хотелось бы показать только механизм действия этой системы двойной ориентации, этой искус-

ной внутренней мимикрии или, если угодно, шизофренической расколотости духа.

Следует с самого начала подчеркнуть, что двоемыслие есть именно духовное заболевание, что феноменальный срез душевной и интеллектуальной жизни человека далеко не всегда обнаруживает его признаки. Это болезнь, которая свидетельствует о предельной человеческой падшести и падшестью именно — о неистребимой духовности. Двоемыслие возникает от того, что люди, как бы безраздельно ни отдавались они идеологической рефлексологии, как бы ни лгали, притворялись, гримасничали, как бы ни хитрили и ни обманывали себя, все же остаются людьми, которые потаенно помнят о своем актерстве и могут в какой-то степени отойти от него, взглянуть со стороны. Двоемыслие выражается уже в осознании действующих инстинктов, в умении как-то контролировать и использовать их; оно заложено в самом начальном отделении самого себя от механизма своих реакций. Степень этого отделения может быть различной. Забегая вперед, скажем, что различия в степени отделенности никоим образом не указывают на снятие двоемыслия как такового; эта степень только воспитывает различные его формы.

Схематично можно указать на две основные формы двоемыслия, на два его полюса. Условно будем называть их глупостью и цинизмом. Глупость есть минимальная степень отделенности своего «я» от социально-идеологического манекена. Цинизм указывает на максимальную степень. Каждую из этих форм можно отнести не только к особому эмоциональному климату, но и, условно говоря, к своей эпохе. Идеократическое сознание проходит как бы через два возраста — идеологического инфантилизма и деидеологизации. (*) Сейчас нас интересует второй случай. Циники (т. е. носители двоемыслия периода деидеологизации) обычно считают, что обладают полной внутренней свободой, что их идеологические повинности не затрагивают их личности. Они якобы только принимают правила игры, которая им навязана. Они всту-

(*) Деидеологизация вовсе не означает какого-то бы то ни было внешнего умаления идеологии. Ритуал соблюдается неукоснительно. Все запреты остаются в силе. Но большая шестерня идеократии уже перестает приводить в движение малые шестеренки выработанных рефлексов. Энтузиасты постепенно превращаются в актеров, добровольных, наемных или запуганных. Их мера опознается лишь потому, что она выглядит слишком «правильной»; ни одного слова от себя и все — по тексту.

пают в нее с гримасой отвращения (которую даже нередко можно заметить) или с несокрушимой уверенностью в своей правоте («ведь ни второго, ни третьего не дано»), они могут жить с улыбкой на устах или кусая локти от ярости, но в конце концов не выдерживают и сдаются. Никакой ум, никакой скепсис не может оградить их личность. Длительное актерство неизбежно приводит к тому, что даже за постылой идеологической ролью признается какой-то кусочек правоты. Либералы пытаются посеять в ней зерна смысла и этики, разума и гуманизма, «зерна», которые не могут вырасти на этой почве уже в силу того, что она изначально искусственна, предписана истиной «социального образа», внечеловечна.

Различных вариантов этой игры почти так же много, как игроков. Но важно другое: какую бы свободу ни сохранял за собой интеллект в оценке своих действий и решений, как бы ни сомневался и ни иронизировал, как бы ни подтрунивал над собой, циничная свобода «рацио» стоит немногого. Это всего лишь длинный поводок, который вполне допускается правилами. Зачастую он гораздо полезнее любой безотчетной глупости. Если бы не было этой упрямой свободы, кто работал бы в пропагандистском аппарате, писал бы цензурные инструкции или искусно соразмерял бы с ними собственное творчество? Идеология в сущности не может обойтись без циников, — тех, кто чувствует ее сегодняшние нужды, тех, кто умеет уловить ее колебания и нюансы. На нынешнем уровне люди с неразвитым двоемыслием оставались бы только потребителями, но не могли бы на нее работать. Поскольку одна из негативных функций идеологии — это функция запрета, духовной стерилизации, то для того, чтобы обслуживать ее, требуется все более и более сложный заградительный аппарат, который мог бы противостоять растущему напору идеологической контрабанды. А здесь нужны люди, знающие лазейки духа, те, кому ведомы [неразборч.]

Двоемыслие в целом — это не только способ мышления, не одна лишь особенность работы психики. Двоемыслие есть добровольное подчинение себя заданному манекену, вживание в него, выправление себя по механике отработанных в нем рефлексов, по предписанной им цензуре. Такого манекена, строго говоря, не существует в действительности; практически ни один из индивидов не может быть с ним полностью отождествлен. Однако он реальнее кого угодно. Он появляется в миллионах книг и статей, выступает по радио и телевидению, заседает в представительных

собраниях, судит, хозяйствует, охраняет, распевает песни и правит внешней политикой. Он хочет быть всем и каждым, добиваясь этого то властью, то хитростью, тысячами различных способов, из которых хотя бы один никогда не оказывается безуспешным. И каждый, если он не одарен какой-то особой внутренней силой к сопротивлению (силой, которая, повторяю, ничего общего не имеет с рассудочным отстранением от манекена при внешнем служении ему) бывает вынужден в той или иной мере принять его, сделать его собою. Чем он при этом руководствуется — убеждением, выгодой, страхом, или привычкой, в общем безразлично. Важно только, чтобы он пожертвовал какой-то частью личности, бессознательно, рефлекторно — отказался от самого себя.

Простой и как будто стершийся от частого употребления факт, что взрослые люди должны «слушаться» «старшей» их истины, данной им в виде «социального образа», несущего в себе синтез всех идей, чувств, ориентаций в отношении почти всех ключевых проблем духовной жизни человека, что их всеми путями приучают к этому послушанию, что непослушание всегда сопряжено со множеством лишений и насилий, есть не только подавление свободы, не только уничтожение человеческого достоинства, но и попрание человека как такового. За казенной идеологической витриной, где люди должны изображать себя не такими, каковы они на самом деле, но какими и з н у т р и им предписывает быть внешне навязанный им «социальный образ», есть по сути какое-то искажение человеческой природы, умаление человечности.

Открытие социальной обусловленности духа положило начало тотальному овладению им. Сегодня мы видим последствия этого процесса в культуре социальной адаптации (т. е. в том, какой смысл приобретает это понятие), в попытке вывести новую породу людей, чьи поступки и взгляды предопределены уже до рождения. Люди рождаются приговоренными к атеизму, к двоемыслию, к идеологическим инстинктам. Гнет навязываемой им истины гораздо серьезней гнета султана или диктатора. Истина требует не только того, чтобы вы ей подчинялись или изредка приносили символические жертвы, истина вламывается в ваше сознание и заползает в сердце. Она хочет править вами изнутри. Вот это проникновение в ваш разум и волю отчужденного от вас разума и воли, ваше приспособление к ним и подыгрывание им, ваш отказ от собственного духовного выбора и ответственности за него, от

собственных ваших мыслей и веры, нельзя назвать иначе как попранием человеческой сущности, дегуманизацией.

Мы еще недостаточно поняли, недостаточно осознали этот опыт. Он всегда как-то растворяется за колонками цифр, за всеми «невиданными победами социализма». «Противники» его обычно противопоставляют «друзьям» свою статистику жертв и преступлений: «Ваш социализм, возможно, и хорош, но слишком дорог». Но не будем говорить на этом языке. И сейчас даже неважно, чьи цифры окажутся в конечном счете убедительней. Важно то, что идеологический террор, который сопутствовал всем этим победам и жертвам и который не утих до сих пор, целые народы заразил массовым двоемыслием, породил всех этих толстошеих и тонкошеих вождей, доносчиков, сексотов, вохровцев, вертухаев, газетных конферансье, этих оперов, кумов, цензоров, услужливых психиатров, этих «все понимающих» людей, этих научных и малых специалистов по камуфляжу, замазыванию, подслушиванию, этих аристократов двоемыслящего духа, — философов и поэтов, этих литературных маклеров оптимизма и всех безымянных исполнителей приговоров. В какую графу занести такого рода итог и кто ответит за эту жатву дьявола? — риторический вопрос, на который нам не дано знать ответа.

6. В ПОИСКАХ ИСЦЕЛЕНИЯ.

В начале статьи мы намеревались говорить о «Демократическом движении». Но вести разговор о нем было бы совершенно невозможно, не проникнув в ту атмосферу, в которой оно возникло. Само наименование, однако, неудачно; повидимому оно сложилось стихийно и не выражает сущности того, что происходит. Поэтому гораздо легче писать о закате «Демократического движения», уже с оттенком иронии в отношении этого несостоятельного термина, нежели, скажем, о его расцвете или перспективах.

Те процессы, которые мы имеем в виду, следовало назвать скорее поисками исцеления, попыткой освободиться от условных, почти врожденных идеологических рефлексов, от навязанного механизма поведения путем волевого и жертвенного вызова. «Демократическое движение» явилось, очевидно, одним из негативных этапов этих поисков и попыток.

Я не буду говорить ни об истории «Движения», ни о его характере, ни о его участниках, ни даже о его программе. Об этом скажут и напишут другие, те, кто знает это лучше меня. Я

буду говорить о его духовном, невыявленном смысле, который для меня очевиден и который сейчас в период «заката» бесспорно выступает на первый план. Ибо восстановление человеческого достоинства, которое было основным делом «Движения» (я бы сказал, религиозным делом) есть борьба с тем видом духовного заболевания, с той дегенеративной рефлекторной стадностью, которая неизбежно возникает тогда, когда людей начинают разводить на «идеологических фермах» и в «инкубаторах мнений». По сравнению с этим основным делом отступает на второй план и отсутствие экономической программы, и внешняя узость целей, и пресловутое сходство языковых форм «Движения» с фразеологией государства.

Главное, в чем К. Житников упрекает «Движение», заключается в том, что оно лишь на полшага обгоняло реформы эпохи «десталинизации», что оно служило их развитием и в случае удачи могло бы привести к обновлению коммунизма. Однако К. Житников здесь как-то полусознательно поддается той самой игре в наивность, которая служит неизменной маской идеократии. Коммунизм нельзя рассматривать как совокупность идей: фактически ведь нет никакого идейного коммунизма, есть больное импульсивно заряженное общество (каким всегда становится тоталитарное общество), и коммунизм есть просто устойчивая форма его одержимости.

Впрочем, это слово обладало всегда весьма гибким смыслом. О каком коммунизме думали чекисты, уничтожая в 37 году «старую гвардию»? Какой коммунизм водворяли в Чехословакии советские танки? Ведь там немало говорили о готовности сохранить социалистический строй, которому, строго говоря, ничего не угрожало. Уже потом появилась легенда об «антисоциалистических силах», о тайных планах и сговорах. А было — едва ли ни несколько десятков журналистов, которым на какое-то время удалось создать угрозу идеологической монополии. Не самим идеям — нет, но только их безоговорочному господству, только их тупой, холодной, неповоротливой тирании. И вот божество, сведенное на землю, приходит в ужас — посылает колонны танков и ставит политических марионеток, повторяет инсценировки («клеим позором», «всецело поддерживаем») и даже открывает склады запятанного оружия. Дело было в принципе: соседство новых идей, возможность альтернативы в корне разрушало раз заведенный механизм идеократии. Это в свою очередь вызвало бы необратимые изменения в самом человеке, в строе его души, в его мышле-

нии, в его сердце. И идеологический идол, инстинктивно почуяв опасность, уже не слушал никаких обещаний, ни клятвенных заверений, а просто бросился сломя голову спасать самого себя, совершенно забыв о престиже, о котором он до сей поры столь заботился.

Приблизительно той же участи подверглось и «Демократическое движение». Здесь справиться было проще, но опасность была едва ли ни большей. Ведь борьба за человека была в данном случае более явной. В чем оно собственно состояло, это «Движение»? Писались многочисленные протесты против преследования инакомыслящих (у нас, а не в Соединенных Штатах), против преследования целых народов (у нас, а не в Южной Африке), против издевательств над заключенными (у нас, а не на Гаити), против цензуры (нашей, а не греческой). Ни один из этих протестов не был ни официально организованным, ни запланированным. Было как бы неожиданно открыто, что можно рассказывать о политических процессах и даже проводить неинсценированные демонстрации. Система неписанных запретов как бы игнорировалась; ведь не может тоталитарное государство в наш век недвусмысленно запретить то, что в этом государстве делать не полагается. Была обнаружена щель между тем, что повсеместно говорится и тем, что при этом подразумевается; ведь не может государство, бесконечно твердя о свободе и всестороннем развитии личности, прямо так и напечатать в своей конституции: нет свободы совести, нет свободы печати, нет свободы слова и демонстраций. Оно поступает гораздо хитрее, оно заключает как бы негласный договор со своими гражданами: я буду говорить вам о вашей свободе, а вы поступайте так, как если бы никакой свободы нет. И граждане в общем-то так и поступали, иначе им пришлось бы слишком дорого расплачиваться. Это был элементарный этикет двоемыслия, понятный и ребенку.

Так все и шло, каждый день повторялись слова о свободе и демократии с расчетом, что они будут понятны в комплексе уже выработанных реакций. И когда какие-то люди попытались понять эти слова иначе, сначала преодолев эти реакции в себе, а потом сделав вид, что их вообще не существует, они совершали нечто недопустимое, нарушающее все приличия. В сравнении с этим уже немного значили их слова о «восстановлении ленинских норм» или о подлинном социализме. Независимо от чьих-то субъективных намерений они выбивались из того контекста двоемыслия, в котором обычно произносились подобные фразы, и оттого-то все меня-

лось принципиально. Внезапно проглянул бутафорный, несамостоятельный характер всех наших пышных конституционных форм, всех торжественных слов и ритуалов. Обнаружился вдруг весь строй запущенной однажды идеологической машины, приспособленной к вымуштрованным рефлексам и склеротическим повериям.

Протестовать или призывать к совести можно было только по неписанному кодексу допускаемых протестов и призывов; если этот кодекс нарушился, то уже выпадало по крайней мере одно звено из той цепи полусознательного рефлексорного сговора, который связывал все общество круговой порукой. Иначе все могло быть поставлено под сомнение, все могло показаться призраком. Как тогда поверить, что государство, которое за свою недолгую историю успело уничтожить, искалечить, оболванить десятки миллионов своих граждан, сегодня всерьез страдает от насилия над арабами и возмущается закрытием демократических газет в Греции? Если не будет хотя бы смутного доверия, если государство для всех лишится ореола всеведения и всеправоты, то сколько оно сможет продержаться одной силой? Из своей же философии (которой, впрочем, инстинктивно не верит) оно знает, что недолго. Однако держится оно на массовом идеократическом сознании, которое, из каких бы противоречий оно ни состояло, в принципе внутренне цельно и непротиворечиво, ибо совершенно замкнуто. Уже элементарная рефлексия, т. е. некоторое отражение этих противоречий, говорит об эрозии такого сознания. Рефлексия делает приспособление чисто внешним, позволяет осознать его, а в отдельных случаях и отвергнуть. Именно с этого простого осознания (воспринятого не цинично, а духовно) и последовавшего за ним отказа от двоемыслия и началось «Демократическое движение».

Особо следует сказать об издании «Хроники текущих событий», которая, возможно, не была прямым делом «Движения», но примыкала к нему. «Хроника» вызвала наибольший страх в подсознании государства, что не замедлило сказаться в тех репрессиях, которые она на себя навлекла. По форме «Хроника» имеет самый безобидный вид, это только информация о преследовании идеологически неудобных людей: аресты, обыски, протоколы судебных заседаний, голодовки в лагерях, закрытие храмов или просто адреса заключенных. Только информация, почти никаких комментариев и уж совсем никаких эмоций. Вот только один пример, взятый из пятнадцатого выпуска «Хреѣники»; всего лишь несколько имен заключенных женского политлагеря ЖХ 385/3.

ДИЦЫК Галина, 1912 г. р., учительница. До начала 47 года — зам. руководителя Красного Креста при УПА, затем разведчица и связная ОУН. Арестована в апреле 50 г. Приговорена к 25 годам. До апреля 69 г. была во Владимирской тюрьме.

ГУСАК Дарья, 1924 г. р., связная ОУН, арестована в марте 50 г., приговорена к 25 годам. Во Владимирской тюрьме провела 19 лет.

СКЛЯРОВА Лидия. Приговорена к 15 годам за участие в попытке захвата самолета с целью уйти за границу.

КЮДЕНЕ Веруте, 1919 г. р., литовская колхозница. Осуждена в 63 г. на 10 лет за событие 20-летней давности (послевоенное нац. сопротивление). Арестована в психиатрической больнице, где она лечилась, по доносу врача, контролировавшего ее бред. До сих пор психически больна.

ГРОШОВА Надежда Степановна, 59 лет. Арестована в Ташкенте. Осуждена вторично на 10 лет за принадлежность к группе ИПЦ (Истинно Православная Церковь) по ст. 70 — антисоветская пропаганда. Первый приговор был 25 лет, из которых отсидела несколько лет и вышла в 56 году. Окончание срока в сентябре 70 г.

СЕМЕНОВА Мария Павловна, 45 лет. Срок 10 лет, группа ИНЦ. Конец срока в 71 году.

КИСЛЯЧУК Евгения Фоминична, около 65 лет. Осуждена на 10 лет вторично за принадлежность к секте “Свидетели Иеговы”. Конец срока в 72 году.

МАШКОВА Валентина, 28 г. р. В политическом лагере вторично. Арестована в августе 66г. за попытку перейти вместе с мужем границу. В тюрьме родила дочь. Приговорена Ленгорсудом сначала к 10 годам, при повторном рассмотрении дела — к 6 годам.

БКУДАЛИЕВА Раиса Ильинична, 45 лет, учительница литературы. Осуждена в марте 70 г. Ужгородским судом на 3 года за письмо зарубежным государственным деятелям.

ВОРОНЦОВА Вера. Неоднократно судима в последние годы за уголовные преступления. В 58 г. Ленинградским областным судом приговорена к расстрелу за сотрудничество с немцами во время войны (доносила на советских подпольщиков), расстрел заменен в порядке помилования 15 годами. Сейчас в лагере осуществляет надзор за другими заключенными.

Эти имена не составляют никакой тайны и ничего собственно не случится, если кто-то их будет знать. Ведь это уголовные преступницы, осужденные по советским законам и большей частью, вероятно, при юридически нормальном судопроизводстве. Ведь ничего не случится даже и в том случае, если данные о них будут публиковаться открыто и любой, кто захочет, сможет о них узнать, узнать сроки их заключения, их вину, их возраст. Всякий знает, что государство — это не добрая фея, что у него длинные руки и холодные нервы. И никто даже особенно не удивится такой гласности. И все же какая-то инстинктивная, не вполне осознан-

ная мудрость заставляет скрывать все это не хуже военных секретов. Если говорить об этом вслух, то какие-то правила игры будут нарушены. Завтра могут быть иные привила, но сегодня у нас и на «международной арене» как можно меньше людей должно знать о составе женского лагеря ЖХ 335/3, как и вообще о каких-либо политзаключенных в Советском Союзе. Все эти даже не очень большие списки как-то не вяжутся с открытой, обращенной ко всему миру улыбкой страны победившего социализма. Все это как-то не попадает в такт с могучей поступью великодушного покровителя слаборазвитых стран и непримиримого борца за демократию. И уж совсем неприлично вспомнить об этом после стольких слов о «всестороннем развитии личности». И те, кто судит сегодняшних «демократов» и «хроникеров», весь стоящий за ними аппарат принуждения и те, кто возводит над всем этим идеологическую радугу с тирадами о «всестороннем развитии» или о «грязных клеветниках», очень хорошо знают все эти приличия и прекрасно умеют вытеснять все то, о чем знать не следует.

«Хроника» свидетельствует о насилии и тем самым вызывает насилие на себя. Она приводит факты систематической и бесстыдно запятой жестокости государства, заставляя взглянуть на то, на что смотреть каким-то безотчетным законом запрещено. Все это творится с завязанными глазами, дабы не знать, забыть, не увидеть. Даже те, чьими руками все это делается, боятся отдать себе полный отчет. (*) Извращенность сознания становится принципом, который пытается навязать себя зрению, слуху и речи. «Хроника», называя вещи своими именами, противопоставляла себя этой извращенности. И именно для извращенного сознания она представляется заведомо преступной. Если разобраться, вся система насилий тоталитарного государства вырастает из древнего бессознательного страха перед магическим значением некоторых слов.

Не в том суть, что человека сажают в тюрьму за высказанные им убеждения (в форме хотя бы распространения неугодной ин-

(*) Бывшие лагерники нередко рассказывают о том, какую реакцию вызывают у начальства всякие “татуировочные уродства” (скажем, “Раб КПСС” или “раб СССР”). Кожу с татуировкой немедленно срезают или зашивают и делают это столько раз, сколько появляется татуировка. От таких операций лицо становится неузнаваемым. Дело иногда кончается новым сроком или даже расстрелом... Думать ты можешь что угодно (за этим пока нельзя уследить), но “видеть” твои мысли нельзя, невыносимо. Недопустимо твое свидетельство о насилии, твой “выход из норы” даже в форме юродства и мученичества. (см. книгу Анатолия Марченко “Мои показания”, очерк Юрия Иванова “Город Владимир”.)

формации); суть в том, что еще до всякой тюрьмы его лишают права на начальный общечеловеческий выбор своей духовной ориентации, а затем самым способом наказания пытаются возможность этого выбора физически уничтожить. Он уже выбыл из сферы идеологического гипноза, с ним не церемонятся. Особенно поражает какая-то мелочная рассчитанность этой подавляющей его жестокости: инструкциями созданное недоедание, холод, обыски, подслушивания, доносы, садизм политзанятий. Смысл наказания в том, чтобы политический заключенный перестал быть личностью, чтобы он принял навязанный ему сценарий или сгинул совсем. Но тюремной давилни оказывается все же недостаточно, и вот чья-то гиммлеровская фантазия изобретает заключение в психиатрические больницы.

Это не просто «изменение меры пресечения», это уже революционный скачок: количество наказания переходит в качество. Политический преступник остается личностью, он может объявить голодовку, написать письмо прокурору на клочке бумаги и, как бы ни набавляли ему срок, он все же когда-нибудь кончится и его выпустят. Сумасшедшему быть личностью отказано: на его протесты можно не обратить внимания, его голодовка есть только симптом болезни, его можно избивать на законном основании, травить лекарствами ради его же блага, делать инсулиновые шоки. Ему не дают пера, держат рядом с настоящими больными, а отпустить могут тогда, когда врачи сочтут его выздоровевшим. Здоровье же означает принятие обусловленных правил, законов двоемыслия, «культуры социальной адаптации». Требуют не предписанных мыслей, а принятых жестов, выработанных инстинктов. Норма двоемыслия выдвинула свою норму человека и ею стала отмеряться его человеческая полноценность. Весь смысл политического протеста «Демократического движения» состоял в том, что оно показало иную норму человеческого здоровья, которая оказалась невыносимой для общества, зараженного духовной эпидемией.

Но факт «наказания сумасшествием» говорит еще о другом. Государство может быть не только беспощадным, но и изворотливым. Сегодня оно преподает свои истины пока примитивным способом, допускающим элементарный выбор: читать — не читать, слушать — не слушать. Формально оно еще не может предотвратить непонимания, «конституционной» или «демократической» наивности. Но кто поручится за то, что идеология не будет когда-нибудь распространяться с помощью таблеток, газов или инъекций? Исследования, связанные с современной обработкой инфор-

мации, не исключают такой возможности. Говорят, что некоторые интеллектуалы и даже ученые-психиатры на Западе остерегаются вмешиваться в дела советских психбольниц, чтобы не поссориться с первой страной победившего социализма. Вероятно, они думают, что она откажется от психиатрии как репрессивного средства по соображениям нравственности.

7. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОКОРНОСТИ И ПРОТЕСТА.

Бесчеловечность тоталитарного государства смешно объяснять чьими-то ошибками или перегибами, всегда сопряженными с заведомой безнаказанностью. Истоки ее гораздо глубже. Она вытекает из неверной модели человека, из специфического смещения духовной слепоты со злой волей к власти. Человеческий образ поразительно обеднен в этой модели, сведен к социально-утрированному стереотипу идей, импульсов и эмоций. Стереотип синтезированный отчужденным сознанием, всеми средствами «вправляется» затем во всякое субъективное сознание. Давление стереотипа приводит к заболеванию двоемыслием, первый признак которого — социализированная форма вытесненного страха. Мир наполняется материализовавшимися призраками этого страха, «недремлющими врагами». Так называемые «идеологические противники», по крайней мере в том их обличьи, которое называется стереотипом, порождаются чаще всего лишь «комплексом идеологической неполноценности». Без «противников» двоемыслие просто не могло бы существовать, ибо «социальный образ», даже подчинив себе личность, всегда подозревает ее в неверности. И ярость его выливается на всех, кто как бы воплощает для него подавленные им соблазны. (*) Отсюда неустанная жестокость тем, кто явно нарушает этикет двоемыслия — к «инакомыслящим». (**)

(*) И потому дурную услугу оказывают те, кто пытаются играть на этих вытесненных страхах и комплексах, кто изображает из себя тех самых огнедышащих драконов, с которыми денно и нощно сражается идеологическое войско. Действия НТС в данном случае как будто скопированы с известного всем бреда.

(**) Термин этот можно принять лишь условно. Если быть точным, все граждане идеократического государства принадлежат к инакомыслящим. Все мыслят «иначе», чем стереотип, насаждаемый государством. Разница заключается не в образе мыслей, но в образе действий, в том, берет ли человек на себя нравственную ответственность за свои мысли или по тем или иным причинам считает, что должен скрывать их и подлаживаться

Но следует понять, что страх, на который опирается идеократическая система, это совсем не обязательно страх перед насилием или травлей. Существует еще особый «идеократический страх», страх перед истиной, страх перед самим отчужденным сознанием государства. Оно, как мы уже сказали, воплощает собой всю сумму мудрости, правоты и долга. И только оно наделяется высшей привилегией — быть личностью. Все остальные должны быть этой привилегии лишены. Лишены, разумеется, не в прямой форме, не вымогательством или захватом, но путем добровольной уступки, подмены одного другим. Существующее заменяется должным, реальное — вымышленным, живое — тем, что «живее всех живых». Над сонмом человеческих мыслей, потенциалов, намерений господствует идеологическое нечто, многословное чучело из абстракций и общих мест. Оно создает атмосферу непроницаемой духовной закрытости; на каждый вопрос есть свой ответ, будущее ясно, прошлое понятно, убеждения истинны, чувства заряжены.

В детстве это принимается с полной деверчивостью, в юности нередко сгорают в огне отвращения и упоительного фрондерства. Но становясь постарше, люди легко пресыщаются самолюбивым недовольством, к тому же им пора решать, что делать дальше, что выбирать. И тогда «тайный протестант», поколебавшись в меру, нет-нет да и станет перед вопросом: «А почему бы мне и не принять это? Разве я могу предложить что-либо иное? Разве всё у нас так уж плохо? Не у нас, разве лучше? И не все ли равно, что говорить, если нет другого выхода?» и т. д. А лет через десять-пятнадцать мы встречаем уже самоуверенного журналиста, пробивающегося партработника или, пожалуй, идеологического эксперта. Он уже не задает никаких вопросов. Он знает свое место и свою роль. Тот выбор, который некогда стоял перед ним, уже сделан. Теперь остается лишь его утверждать и отстаивать. Всякое общественное беспокойство, а тем более «движение» для него уже только «интеллигентская забава», позволительная для взрослых. И не вздумайте говорить ему о совести или свободе; вас ждет энергичная отповедь. «А какой свободы вы хотите? Свободы получать баснословные прибыли, свободы империалистической пропаганды, свободы клеветать на нашу страну? Или вы хотите, чтобы вам позволили говорить все, что вам вздумается? Этого не будет. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него!» и т. д. Если же вы все-таки станете добиваться личного мнения, может быть, вам доверительно скажут: «Занимайтесь тихо своим делом

и не валяйте дурака; вот вам мой совет». Система идеологических импульсов уже налажена и пущена в ход засасывающим мифом и двоемыслием.

Идеократическое сознание вовсе не предполагает отречения от свободы. Оно существует в атмосфере, где само это слово бессмысленно вне привычных отработанных реакций. Идеократическое сознание предполагает отречение от личности, отречение, при котором со свободой нечего делать, при которой свобода считается каким-то неприличием, бесчинством. Понятие «свободы» допущено только в системе рефлекторного двоемыслия; говорить о свободе, игнорируя эту систему, — все равно, что разбивать уличные фонари и опрокидывать урны. Первая реакция идеократического сознания: «Стой, как ты смеешь! Ведь мы этого не делаем». И потому за всяким общественным протестом стоит попытка человека пробиться через собственную социальную адаптацию, через собственное двоемыслие и обрести самого себя. Когда заключенные наносят себе на лбы татуировки, за которые их потом калечат, когда молодые люди вступают в безнадежные политические заговоры, за которые им дают потом десять-пятнадцать лет, то они делают это потому, что они хотят обладать собственными лицами среди окружающих масок.

А теперь вернемся к тезисам статьи К. Житникова. В контексте всего сказанного можно сформулировать два основных возражения. Первое здесь уже фактически высказано. Между идеократическим сознанием, сложившимся в системе культуры социальной адаптации и сознательным волевым протестом против него (несмотря на возможные сходства их фразеологических форм) не может быть ничего общего. Второе касается специфически правовой формы «Движения». Оно сознательно не выдвигало проблему свободы на первый план. Оно сформулировало и впервые поставило тему права, правовых гарантий личности. Борьба за право позволила осознать суверенность человека в тех условиях, где метафизически его сущность была поставлена под угрозу.

Сама же форма могла быть облелена всеми традиционными пороками политического предпринимательства. В отдельных случаях к ней пристало тщеславие, неразборчивость в средствах, игра в вождизм. В критический момент все это могло обернуться предательством. Но закат «Движения» объясняется вовсе не этим. Общество или по крайней мере интеллигентное общество не только не заразилось моральным пафосом «Движения», но осталось равнодушным к идее права как таковой. Слой циничного двое-

мыслия и связанного с ним иронического равнодушия оказался еще слишком плотным. Об этом прежде всего свидетельствует статья самого К. Житникова, который под видом беспристрастного социологического анализа выразил изрядное пренебрежение к правовым формам борьбы за личность. Причем, выразил он его немного по-советски, намеренно поставив «Движение» в отрицательный контекст либеральных реформ эпохи десталинизации. Сегодня все знают, что эти реформы были только средством выживания идеократического государства. Кризисная пора миновала и реформы были отброшены. Разумеется, они уже не вызывают особых симпатий; тем легче в полемических целях можно было смешать чистое с нечистым. Но суть не в этом.

«Демократическое движение» было формой проявления человеческого в той среде, где природа человека была извращена и подавлена. Либеральные реформы все же несли в себе определенный гуманистический смысл и не могут быть опорочены только тем, что делались они грязными руками. «Движение» предъявило счет этим реформам, тем самым обнаружив их половинчатость, их халтурность. Оно пыталось перенести их в план борьбы за человека, за ценность человеческой личности. Оно попыталось вырвать ее из системы бессознательного механизма внушенных идеологических импульсов. И несмотря на «закат», правовая форма «Движения» внутренне не исчерпала себя, хотя временно иссяк тот волевой напор, который поддерживал ее в прошлом.

«Временно» — не потому, что правовая форма скоро непременно возродится, но потому, что никогда не иссякнет та борьба за человека, которая стоит в центре человеческой истории. Ее можно назвать борьбой за освобождение духа, за достоинство человеческой личности. Но ведется она, осознанно или нет, на основе неоспоримого знания и свидетельства о том, что человек духовен, что эта духовность есть источник его свободы и достоинства. Ибо только Дух, по словам Экзюпери, «коснувшись глины, творит из нее Человека», только Дух делает его личностью.

Сентябрь 1973 г.

Владимир ОСИПОВ

ПЯТЬ ВОЗРАЖЕНИЙ САХАРОВУ

А. И. Солженицын предложил советским руководителям последовательную, логически обоснованную программу неотложных мер к спасению родины. Отказ от марксизма, освоение Сибири, ограничение индустрии, возрождение крестьянства, отказ от спаивания, здоровый изоляционизм — вообще крутой поворот от задач внешних и надуманных к задачам внутренним и реальным. Ясная и трезвая оценка ситуации, умение одновременно видеть лес и дерево, ударение на самом существенном и больном, точность формулировок делают «Письмо вождям» настоящим манифестом века. Тем более странно, что известный гуманист и поборник демократизации академик А. Д. Сахаров встретил предложения Солженицына в штыки. Поражает самый тон Сахарова: «Дух славянофильства на протяжении столетий представлял собою страшное зло.» (*) «Письмо вождям» — документ редкой терпимости, в нем нет и тени какой бы то ни было фобии, есть одна боль; и такое святое славянофильство вызывает неприязнь и тревогу.

Сахаров считает, что опасность войны с Китаем сильно преувеличена. Нам, простым смертным, не имеющим доступа к секретной информации, конечно, трудно судить о действительном состоянии советско-китайских отношений. Однако холодную войну двух марксистских гигантов мы наблюдаем уже второе десятилетие. Несколько раз и с немалой кровью холодная война переходила в горячую. В глазах китайцев мы являемся последней колониальной империей, незаселенная Сибирь — резерв китайской диктатуры. Геополитические расчеты и расовая злобность служат главной задаче КНР — установлению господства в коммунистическом лагере, в Азии и в «третьем мире». Во всем этом СССР стоит Китаю поперек горла. Без войны с Москвой (хотя бы и неудачной: смотрите все, как эти белые и эти социал-предатели снова душат цветных и революционеров) КНР не достигает ни одной цели. Война, угроза войны — самооправдание любого тоталитарного режима. Опьяненного самогоном мировой революции — тем более. Одни только чистки, казни, погромы, «культурные революции» должны встревожить соседей. Чем жестче режим, чем бесправнее положение собственных граждан, тем большую угрозу войны несет тоталита-

(*) Все мысли Сахарова привожу по радиопередаче «Немецкой волны».

ризм. Война с инакомыслящими есть начало агрессии. Поборники демократии и свободы неустанно проклинают правителей Родезии и Южной Африки, но НИ СЛОВОМ не обмолвятся о людоедской диктатуре китайской компартии. Почему ЮАР выталкивают из всех дверей, а КНР тянут во все двери? Да разве пекинское палачество, включая геноцид собственного, китайского народа, сопоставимо по своему ужасу с дискриминацией негров в ЮАР? Почему албанский режим «победившего атеизма», казнивший пастыря за крещение ребенка, не вызывает и десятой доли того негодования, какое навлекают на себя генералы Чили? Китайская угроза — не жупел советской пропаганды. Китай угрожает не только Советскому Союзу, не только исторической России. КНР — эта квинт-эссенция самого упорного, самого агрессивного безбожия и марксизма — сегодня угрожает европейской цивилизации и всему человечеству.

«Прогресс — общемировой процесс.» Нельзя обособляться от мирового индустриального развития и романтизировать патриархальность. В рассуждениях нашего выдающегося ученого явно проглядывает КУЛЬТ НАУКИ. Ученый Сахаров верит в науку — это естественно. Жорж Клемансо однажды сказал: «Война — это слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверять генералам.» Перефразируя Клемансо, скажем, что судьба человечества — слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было доверять ученым. XX век довольно убедительно доказал правоту Достоевского, что на основании науки и «разума» не может устроиться ни одно человеческое общество. Не вопреки науке, а именно благодаря ей мы оказались сегодня «в тесноте и смраде изгаженной Земли.» Согласимся, что нельзя обособленно от мира остановить экономический рост. Но по крайней мере можно не развивать ненужные и избыточные отрасли промышленности. Можно резко снизить, например, производство легковых автомобилей как вредной роскоши, сократить ликеро-водочную, табачную промышленность, спасти лес, уничтожаемый для бумажной индустрии во имя пропагандистской халтуры, и многое, многое другое. Что касается проблемы в мировом плане, следует обсудить вопрос об ограничении промышленности одновременно и наряду с проблемой сокращения вооружений, тем более, что при современном развитии трудно отделить чисто военную промышленность от чисто гражданской. Господа главы правительств! От ваших совместных усилий, от вашей совместной договоренности зависит спасение человечества от прогресса и его последствий.

Сахаров критикует Солженицына за «преклонение» перед авторитарностью. Увы, Солженицын лишь констатирует объективный исторический факт: иной, не авторитарный путь для России («хотим мы этого или не хотим») «неверен или преждевременен». Это можно объяснить по-разному. Англичанину, французу, столичному интеллектуалу, впитавшему западное мироощущение, российское неприятие демократии кажется нелепым и отвратительным. Однако таков россиянин. Издеваясь над чиновничеством, бунтуя против воевод и губернаторов, он любил и почитал царя. Русскому человеку мучительно НЕДОВЕРИЕ, лежащее в основе выборной системы, а также РАСЧЕТЛИВОСТЬ, рационализм демократии. Русскому человеку нужна цельная правда, и он не может представить ее себе склеенной из социал-христианской, социал-демократической, либеральной, коммунистической и прочих правд. Что этот идеализм — нравственное достоинство или отсутствие житейской мудрости? Не будем судить. Констатируем голый факт — непредназначенность русского народа к демократии западного образца. Да Солженицын и не утверждает, что авторитарность — несомненное благо. «Письмо вождям Советского Союза» написано трезвым реалистом. Политика, как известно, есть искусство достижения максимально возможного. А что сейчас «максимально возможно»? СМЯГЧЕНИЕ диктатуры, соблюдение законности, терпимость к инакомыслию. Советские вожди никогда не откажутся от власти добровольно, а насильственное свержение их привело бы к замене, вероятно, еще худшей. Единственный путь — энергичными многоголосыми усилиями УБЕЖДАТЬ лидеров быть более терпимыми и гуманными, уважать права человека или, как минимум, собственную конституцию 1936 года. Все это одним из первых делает наш глубокоуважаемый Андрей Дмитриевич. Но делает с чувством глубокого пессимизма. Я имею ввиду его признание (интервью шведскому радио), что в демократические перемены он не верит. При всей своей скорби и горечи Солженицын ВЕРИТ и НАДЕЕТСЯ, мучительно ищет, находит и предлагает наилучший выход из тупика. Солженицын предлагает не уныние, не отчаяние, не революцию, он предлагает СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ. Пусть реальная сила перейдет к Советам депутатов трудящихся с переводом партийных лидеров на советские должности, а затем — пусть исповедание марксизма и партийность не служат препятствием для честных и способных руководителей. Важно освободить аппарат управления, прежде всего провинциальный, от неведжд, самодуров и жуликов. Итак, перед нами два варианта изыскивать реальный выход

из катастрофической ситуации и согласиться с сохранением советской авторитарности при условии отказа от марксизма и соблюдения законности, ЛИБО декларировать демократический путь и горевать о его неосуществимости. Лично я предпочитаю первое — «оптимизм» Солженицына.

Четвертое возражение Сахарову — возражение мировоззренческое. Как это ни прискорбно, академик Сахаров теряет всякую беспристрастность, рассуждая о славянофильстве. «Дух славянофильства» — «страшное зло»! Но этим духом мы сбросили татаро-монгольское иго, сохранили Отечество во времена Смуты, создали богатую и самобытную культуру. Хомяков и Киреевский — отцы славянофильства, как четко очерченной идеологии, — для своего времени были не меньшими либералами, чем Григоренко и Сахаров сегодня. Вместе с тем, ни один славянофил не принес России столько бедствий, сколько принесли ей западник Петр Первый или западники-марксисты. И все же не будем утверждать, что дух западничества — абсолютное зло. Западничество, — конечно, не в его марксистском варианте, — было полезно и благотельно, но — лишь там, где это касалось техники, промышленности, отдельных правовых институтов. Однако западничество как русофобия, как отрицание национальной правды есть насилие и самодурство. Славянофил Данилевский провозгласил политическим идеалом СОЧЕТАНИЕ национальной и либеральной политики. Приходится пожалеть, что как среди националистов, так и среди демократов проявляется взаимная нетерпимость. Солженицын представляет собой тот искомый образец патриота, в котором национализм и либерализм органически слиты превозмогающей все болью за родину. Так чем же патриотизм Солженицына может стать «опасным»?

Неловко говорить о последнем возражении Сахарову. Прав ли Солженицын, выделяя страдания и жертвы именно русского народа? «Он может так чувствовать, это право каждого, — говорит Сахаров, — но в этом нет объективной правды. «Я не цитирую, но такова сахаровская мысль, побуждающая вспомнить замечание Достоевского о подобного рода спорах: «как будто это чин какой» — страдание! Солженицын не спорит, он высказал боль народа, как собственную, как самую ощутительную и, следовательно, ни с чем не сравнимую. Боль оттого и остра, что избирательна, как избирательна и порождающая ее любовь. Вопреки Солженицыну Сахаров хочет оценить страдание русского народа как бы глядя со стороны. Но это невозможно, потому что никакая наука

не изобрела (и не изобретет до окончания века) той «объективной» меры, которой можно было бы соизмерять страдания. Я понимаю Сахарова — он хочет быть беспристрастным. За этим чувством я признаю не только право, но и нравственный долг. Однако долг беспристрастия к своей национальной боли обязывает не преуменьшать ее, а осознать степень ее самоценности. А. С. Хомяков, выражая мнение Церкви, писал, что никакие страдания не спасают, кроме Христовых, то есть на общедоступном языке, не те, что за страх, а те, что за совесть. Надо не чувствовать ужасы всей мучительной БЕСЦЕЛЬНОСТИ наших полувековых страданий, чтобы так, твердым голосом и авторитетно, как это делает А. Д. Сахаров, спорить о «приоритете»! Да и со стороны глядя, неужели не очевидно духовное истощение русского народа? Степень национального унижения русских достигла того предела, на котором уже почти никто не сознает унижения. Мы унижены и оболганы прежде всего тем, что под вывеской «русский» нет ничего русского: ни языка, ни культуры, ни религии, ни традиций. Мы несем иго, которое не наше и не от нас, которое душит нас и насилует, — и за это иго нас оскорбляют и третируют как за национальный грех. Все пострадали — это правда, но оклеветанный — страдалец тройне! Теперь — в перспективе войны с Китаем — и само существование русской нации находится под угрозой.

Наше положение бедственно во всех отношениях, его невозможно преувеличить никакими словами. Солженицын высказал наиболее болезненное. Программа Солженицына — путь спасения.

Апрель 1974 г.,
город Александров

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МОСКВЫ

Спешите увидеть Москву. Скоро от русской столицы останется один Кремль, если позволит Посохин — главный архитектор, точнее главный губитель Москвы. Столица России (когда-то — Московии), совокупность исторических памятников, архитектурная летопись величия и красоты культуры русского народа, доживает последние дни. Возглавляемые Посохиним вандалы под названием ГлавАПУ (Главное Архитектурно-планировочное управление) успешно движутся к заветной цели — стереть с лица земли историческую, «националистическую» Москву и на ее месте воздвигнуть новый Вавилон по худшим меркам Детройта и Чикаго. Разрушая Москву, ГлавАПУ не выдумывает ничего нового, оно всего лишь «претворяет в жизнь» генеральный план 1935 года. Хитроумный генплан реконструкции Москвы был принят по инициативе Кагановича с дальним прицелом. Прежде всего златоглавая Москва была обезглавлена. Атеистическая пропаганда обосновала уничтожение крестов и куполов, создавших неповторимый облик едва ли не седьмого чуда света.

Индустриальная и социалистическая демагогия маскировала подлинные планы. Требовалось вытравить русский дух, любовь русских к отечеству. Каганович лично нажимал кнопку взрывного устройства при уничтожении памятника победы 1812 г. храма Христа Спасителя в ноябре 1933 года. Он злорадствовал: «Мы задерем подол матушке-России!» (В том же году были снесены отдельные памятники Бородинского поля, в т. ч. монумент в честь русских солдат на батарее Раевского.) В 30-е годы XX века памятники русской национальной культуры сносились по всей стране. Существовала разнорядка. Все бывшие губернские центры обязаны были уничтожить и уничтожили свои кафедральные соборы, (кроме Астрахани и Тулы — по нерадивости). Торжественно был взорван Преображенский кафедральный собор с усыпальницей Козьмы МИНИНА в Нижнем Новгороде. Останки национального героя были свалены в ящик и пролежали почти 30 лет в фондовой пыли. На родине Александра Невского в городе Переславль-Залесский было разобрано 17 церквей. В Костроме из 73 памятников в 30-е годы снесено 16 шедевров русского зодчества, в т. ч. Успенский собор XVII-XVIII вв. с колокольной гениального самоучки Степана Воротилова, в результате чего город потерял свои

вертикали, свой центр, стал безлик и аморфен. Вместе с Успенским собором был уничтожен памятник Ивану Сусанину, работы замечательного русского скульптора Демут-Малиновского. Специальным постановлением Главнауки в 1930 г. из 8000 охраняемых памятников 6000 были сняты с охраны после фельетона Мих. Кольцова о «старьевщиках». По указанию органов НКВД (1935 г.) уничтожались архивные материалы, посвященные сносимым памятникам. Так, была ликвидирована большая часть Архива приказа каменных дел, частично архив Оружейной палаты и Патриарший архив. Изымались материалы из ЦГАДА (Центр. гос. архива древних актов) и других центральных архивов.

В настоящее время органами КГБ усиленно разыскивается автор статьи «Судьба русской столицы», опубликованной в № 1 журнала «Вече». Вероятно, не для того, чтобы вручить ему награду. «Судьба русской столицы» — страстный рассказ патриота о планомерном уничтожении Москвы — духовного центра России. Ведь Москва от всероссийского вандализма пострадала особенно сильно. Только за 6 лет, с 1935 по 1941 год, в Москве было снесено 426 памятников архитектуры. Это — число только у ч т е н н ы х «объектов», неучтенных — тьма.

Прав Владимир Солоухин — чтобы уничтожить город, не обязательно разрушать все здания подряд. Достаточно снести основные памятники архитектуры, т. е. то, что выражает духовное содержание народа, создавшего город, его понятие красоты, то, что питает его патриотическое чувство, что принадлежит этому городу и никакому иному.

Вторым Кремлем в Москве была цитадель Китай-города, которая составляла единый ансамбль с кремлевскими стенами. Китай-город уничтожен полностью. Революция сама по себе не была столь безумной, чтобы стирать каждый след прошлого. В 1928 г. было принято постановление СНК и Наркомата Просвещения о восстановлении китай-городской стены. Затратив огромные средства, реставраторы восстановили всю линию от Владимирских ворот (или Никольских) улицы 25 Октября (Никольской) до площади Ногина (Варварские ворота). Работы продолжались в течение 4-х лет, до 1932 года. Как только закончилась реставрация, стена была взорвана. Этот чудовищный факт свидетельствует, что не какие-то экономические расчеты, а исключительно антирусские цели вдохновляли «реконструкторов» Москвы.

Об огромной ценности разрушаемых памятников компания Кагановича, конечно, знала. Но это и вдохновляло. Завершая кро-

вавую эпопею по разорению миллионов «зажиточных» крестьянских хозяйств, снабжавших страну хлебом, клика Сталина-Кагановича приступила к погрому русской культуры. Уничтожение национальной архитектуры стало одной из первоочередных задач дня. Были взорваны Красные ворота, сооруженные при Елизавете Петровне (архитектор Д. В. Ухтомский), Иверские ворота на Красной площади, церковь Спаса на Бору в Кремле (XVI век — самое древнее сооружение Москвы, дошедшее до XX в.), Чудов и Воскресенский монастыри в Кремле (на месте которых появилось посредственное здание Кремлевского театра), Страстной монастырь на Пушкинской площади.

Известный реставратор, архитектор Барановский подсчитал, что восстановление, к примеру, разрушенной же Сухаревой башни будет стоить 1 млн. 400 тыс. рублей.

На углу ул. Богдана Хмельницкого и Потаповского переулочка возвышалась величественная церковь Успения на Покровке — по свидетельству специалистов, шедевр допетровского, нарышкинского барокко. Церковь Успения поразила своей красотой Наполеона, распорядившегося в 1812 г. охранять ее от пожара. Теперь на месте этой церкви красуется пустырь. Такой же пустырь понадобился и на месте церкви Никола — Большой крест, рядом со зданием МК, в начале Ильинки (улицы Куйбышева). Эта церковь упоминается во всех историях русской архитектуры. Свое название она получила потому, что перед походами войны целовали здесь крест. Стирая всякую память о героизме русского народа, интернационалистическая саранча уничтожила и древнейший в Москве Симонов монастырь, известный также могилами Осляби и Пересвета, героев Куликовской битвы. Ныне на этих могилах — станки производственного цеха. От монастыря сохранились лишь башни XVII века, которые не сумели взорвать. Архитекторы Гельфрейх и Шуко снесли Нарышкинские палаты, чтобы построить уродливое здание Библиотеки имени Ленина.

В те же годы снесли церковь Иоасафа царевича (1678, 1687-88), которая находилась на острове среди леса в Измайлове. Никаких дорог, никаких автомобилей, никакого строительства вблизи и не предполагалось. С этого сооружения началось нарышкинское барокко. Церковь провинилась своей красотой.

К моменту нападения Гитлера на Советский Союз домашним варварам осталось взорвать Кремль, храм Василия Блаженного, дом Пашкова, словом — крошки от златоглавой столицы. Не успели! Началась война, разрушения прекратились. Сталин, наконец, по-

нял, что простым солдатам отечество неизмеримо дороже теории Маркса-Энгельса. Вчерашний покровитель Кагановича переменял курс. Подъем патриотических чувств в народе стимулировался жестокими описаниями вандализма немцев, которые, судя по газетным статьям того времени, то и дело взрывали памятники русской культуры или, по крайней мере, глумились над ними. Определенную роль сыграло и вынужденное посещение в 1944-1945 гг. советской элитой и массами народа в солдатских и офицерских шинелях европейских стран, европейских столиц.

Важным решением послевоенного правительства явилось постановление от 22 мая 1947 г. «Об охране памятников архитектуры», а постановление союзного правительства от 1 октября 1948 г., «О мерах улучшения охраны памятников культуры» предполагало даже привлечение к уголовной ответственности лиц за преднамеренное разрушение памятников. В 1954 году Советский Союз подписал Международную конвенцию «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

Однако эти постановления стали оберточной бумагой, когда новый знаменосец марксизма — Н. Хрущев в 1958 г. в о з о б н о в и л истребление русской культуры. Уничтожение столицы на этот раз возглавил Михаил Васильевич Посохин — выкормыш архитектурной канцелярии Кагановича, теперь главный архитектор Москвы. Об архитектурных талантах Посохина говорят факты. По заказу Хрущева в Пицунде Посохиним был построен правительственный санаторий, сооружению которого помешала уникальная роща — заповедник реликтовых (доисторических) сосен. Рощу вырубili, но и санаторий начал разваливаться в результате неудачных инженерных расчетов и оползней. Первый же шторм привел санаторий в негодность. Строительство Дворца съездов (проект Посохина) нанесло значительный ущерб памятникам на территории Кремля. Древние соборы опирались на дубовые сваи, увлажняемые грунтовыми водами. Как известно, дуб, находящийся в воде, сохраняется столетиями. 16-метровой глубины котлован под Дворцом Съездов резко снизил уровень кремлевского холма. Дубовые сваи оказались под угрозой разрушения. Теперь приходится вкладывать огромные средства для специального укрепления фундаментов кремлевских соборов. Председатель Союза Московских архитекторов Вениамин Александрович Нестеров считает, что проспект Калинина — детище Посохина — спроектирован безграмотно в градостроительном отношении: на протяжении всего проспекта нет ни одной стоянки для автомобилей, нет ни одного поворота, ни одного перекрестка, ни одного благоустроенного

подъезда к административным зданиям. Уместно заметить, что кривизна московских улиц не была случайной. Город стоял на холмах и кривизною улиц он защищался от постоянных ветров. Благодаря высокой культуре древних градостроителей в Москве существовал микроклимат. Авторы проспекта Калинина, разумеется, игнорировали опыт древних строителей и создали гигантскую трубу с огромной ветровой тягой и сквозняками. Кроме всего, проспект Калинина — плагиат, его здания являются точной копией построек колониальной Гаваны, (см. набережную в Гаване, застроенную по проектам американских архитекторов в 1954 году). Советские космополиты не учли, однако, того, что форма гаванских зданий была обусловлена особенностями тропического климата и способствовала притоку морского воздуха в знойный город, в чем Москва как раз не нуждалась.

При строительстве проспекта Калинина был снесен древнейший район Москвы — район арбатских переулков. Безобразный ряд гигантских прямоугольников в самом сердце Москвы непорочно изуродовал силуэт русского города. Чтобы скрыть свое преступление, Посохин взял курс на уничтожение всего старого города и на застройку освободившейся территории такими же высотными «шедеврами». Уже начато: гостиница «Националь», гостиница «Россия», уже бесчисленные коробки-башни (вертикальные доминанты!) на Басманных и в арбатских переулках.

Бездарный архитектор, Посохин стяжал славу Герострата.

Под его руководством, с 1958 г. начинается новая вакханалия разрушений. Москва должна быть добита. Подготавливается штурм центра. На окраинах закладываются магистрали, которые должны в дальнейшем пройти через сердцевину столицы. Когда все они (по общему счету 16) уткнулись в центр, возникла пресловутая транспортная проблема, для разрешения которой потребовали расширения улиц исторической части города, что на деле необходимо приводит к ликвидации центра вообще. Магистрали планируются одна за другой. Намечено гигантское автокольцо: Кузнецкий мост — Замоскворечье — Грицевец. Кольцо неузнаваемо изуродует Лаврушинский переулок, где стоит Третьяковка, Толмачевский пер., Ордынку и Пятницкую улицу, Кропоткинскую площадь, улицы Герцена, Огарева, Кузнецкий мост, проезд Художественного театра, Петровку, Неглинную, Кирова и т. д. Специалисты-транспортники и руководство автоинспекции считают, что должно и можно избавиться центр и некоторые другие районы города от автотранспорта. Но для этого ГлавАПУ и некоторые

проектные институты должны в корне пересмотреть свое отношение к проблеме город-автомобиль, исходя из социального, а затем уже экономического и технического аспектов. Но куда там! Рекорды, только рекорды! ГлавАПУ мечтает поднести Москве самую высокую скорость автомобилей и подносит нечто другое: еще ни одна столица мира не снесла самое себя ради столь великой цели. Не автомобиль для города, а город для автомобиля. Такова Москва!

Если взглянуть на суперобложку книги В. Ф. Промышлова «Развитие индустриального строительства в Москве», представляющую собой «рассекреченную» фотографию с макета будущей Москвы, мы не увидим Замоскворечья, на месте которого запланирован не то пустырь, не то пруд. Полностью отсутствует Волхонка, нет Политехнического музея и вообще нет Москвы. Среди бесчисленных высотных стел затерялся жалкий треугольник Кремля.

«Реконструкция» исторической Москвы пошла наиболее интенсивно с 1971 г.

Снесена церковь Иоакима и Анны XVII века на Якиманке, торговые ряды на Таганке (архитектор Бове), ансамбль Бове на Театральной площади.

По сравнению с 30-ми годами, таких вопиющих сносов, как Храм Христа Спасителя, сейчас нет. Сегодняшние вандалы понимают, что завершить кампанию 30-годов уничтожением Кремля и Храма Василия Блаженного им не удастся, по крайней мере, так прямо, как делали их предшественники. Посохины приспособляются. Уже сейчас панорама Василия Блаженного перекрыта безобразным силуэтом гостиницы «Россия». Уже сейчас панорамы Кремля обезображены подступившими серыми безглазыми прямоугольниками «Националя», «России», административных зданий. Высотная бетонная застройка все ближе к Кремлю. Намечен снос Волхонки, Моховой, снос старой части проспекта Калинина, только для того, чтобы застроить их по-современному и не оставить между гигантскими башнями и Кремлем никаких буферов. Кремль превратится в такую же сувениро-игрушечную штучку, как церковь Симеона-Столпника на проспекте Калинина. На месте дома Фамусова завершается строительство здания «Известий». Газетчикам — просторные кабинеты, Пушкину — пространство, суженное до темноватой ямы. Гордая голова поэта теперь не над суетой и шумом, не рядом с небом. Памятник Пушкину убит.

Моральное уничтожение памятников происходит повсеместно.

Русская культура призвана разделить судьбу культур аборигенов, должна стать источником сувениров. На эту же роль обречена и уцелевшая русская архитектура Москвы. Не мытьем, так катаньем...

На наших глазах уничтожается историческая застройка столицы, дом за домом, улица за улицей. Снесена почти вся Якиманка, которую поспешили доломать к приезду Никсона, равно как и застройку XVIII-XIX вв. перед Боровицкими воротами. Сносится район Таганки (улица Товарищеская, Володарского и т. д.) по пути строительства Пролетарского проспекта, а заодно и большая зона вокруг. А ведь Таганка — интереснейший архитектурный район. Здесь кругом особняки, почти каждый дом представляет собой архитектурную ценность. Сносится район Басманных улиц вокруг Елоховского собора — не менее древний и красивый район. А сам собор вот-вот обернется очередной сувенирной штатушкой. На Басманной улице, кстати, находится путевой дворец Василия Третьего. В «Вечерней Москве» дважды публиковался проект реконструкции Басманной улицы, на котором не нашлось места ни одному историческому зданию. От Кропоткинской улицы (Пречистенки) в сторону Москва-реки полностью сносятся все, в т. ч. вся Метростроевская улица (Остоженка). Это наиболее старинная часть города сохранила старый рельеф, планировку XVI-го века. Здесь сохранился и целый ряд усадебных особняков начала XIX в. Проектируются же огромные административные здания. Снова моральный удар Кремлю, с еще одной стороны — бетонный забор до неба. К уничтожению приговорены также большая часть улицы Герцена и улицы Качалова, ул. Чехова, Цветной бульвар, Сретенка, Трубная площадь, часть Неглинной, Солянка, улица Радищева, Ульяновская, Новокузнецкая, значительная часть Ордынки, Большой Полянки, район Октябрьской и Самотечной площадей, Покровских и Яузских ворот. Еще в начале 30-х годов решили не ремонтировать историческую застройку Москвы, чтобы со временем превратить снос русской архитектуры в «безболезненную санитарную» чистку города. И вот это время пришло.

Существует длинный список т. н. «ветхих» домов. Только в Ленинском районе сносятся 600 домов. За ветхостью сносятся дом Тургенева. В Хамовниках сносятся вся историческая среда вокруг усадьбы Л. Толстого.

Из мемориальных памятников, в частности уже снесены: дом А. С. Хомякова (ул. Композиторов, 7), где в разное время бывали Гоголь, Герцен, Белинский, Л. Толстой, Дом Римской-Корсаковой (пл. Пушкина) — «Дом Фамусова», где бывали Пушкин, Гри-

бедов, Алябьев, где жил Белинский и декабрист Римский-Корсаков; дом писателя Загоскина; дом на углу Кропоткинской, где была мастерская великого Сурикова, (заодно изуродована Заповедная (!) улица) 2-х этажный каменный дом XVIII века со сводами, последний, из тех что стояли на месте рождения Пушкина; Дом, в котором родилась Мария Ермолова.

Сплошь и рядом памятники архитектуры, находящиеся под охраной государства, сносятся даже без формального снятия с охраны. Каменный 2-х этажный дом XVIII века (Красная Пресня, 12) с великолепной художественной росписью снесен без снятия с охраны.

На площади Свердлова стоял т. н. трактир Тестова — здание архитектора Бове — единственное здание, кроме Малого Театра, оставшееся от некогда целого ансамбля Театральной площади. Инспекция не дала санкции на снос. Однако здание было снесено. Теперь здесь строится еще одна коробка: моральный удар Дому Советов (Дворянское собрание), ансамблю Театральной площади, зданию музея Ленина (Городская Дума).

Только с апреля 1971 г. по июнь 1972 г. снесено около 100 ценных зданий, в том числе:

- трапезная палата церкви Рождества в Бутырях — XVII век;
- флигели усадьбы Боткиных — XIX век;
- дом декабриста Лопухина на Кропоткинской ул. — XVIII век (с мастерской В. И. Сурикова);
- здание Литературного музея на ул. Дмитрова — XVIII-XIX вв.
- церковь Казанской Богоматери XVI-XIX вв. на Калужской пл., (к-т «Авангард»);
- дворец Голицыных на Волхонке — XV-XVI вв.;
- дома XIX века на пл. Никитских ворот перед церковью Большое Вознесение (входили в число сохраняемых зданий в проекте охранной зоны церкви);
- усадьба Чесменка — XVIII век — на Садовых улицах;
- деревянный дом XIX века, переживший пожар 1812 г. (Метростроевская, 6);
- рабочие дома Красной Пресни.

Существует т. н. трест разборки Главмосстроя. Этот трест заинтересован в том, чтобы из сносимых зданий, находящихся у него на балансе, не отдавать никому ничего. Когда защитники Москвы обнаружили в доме Лобанова-Ростовского на Композиторской улице крепкие дубовые рамы, резные скульптурные

двери по рисункам Брюллова, мраморные каминные, они сообщили об этих ценностях в музей Останкино. Кое-что удалось спасти. Все остальное было сожжено, в частности, наборный дубовый паркет. Также поступили с домом Фамусова. В доме на Красной Пресне, 12 (XVIII-нач. XIX вв., низ — каменный, верх — деревянный) энтузиасты охраны памятников обнаружили кафельные печи и красивую металлическую лестницу. Трест разборки, узнав, что лестница представляет ценность и ее хотят оставить, быстро принял решение разрезать лестницу автогеном и изуродовать металлические узоры. Все кафельные печи в доме были разбиты молотками. Прокурор Краснопресненского района отказался наказать виновных: «Что вы такие кровожадные?».

Какая нация так швыряется реликвиями великой культуры? Строители «коммунистического города» плюют не только на «дворянскую» культуру. О т. н. революционных памятниках ни у кого из современных руководителей тоже душа не болит. В 1930 г. в память 6-й годовщины смерти Ленина московских рабочих вывели на субботник ломать Симонов монастырь. История, как известно, никому ничего не прощает. Спустя 40 лет судьбу Симонова монастыря разделили здания, где жил Ленин или происходили важные революционные сборища.

На улице Воровского, 2 снесен 4-х этажный каменный дом, где в 1905 г. проходило первое заседание Московского Совета рабочих депутатов. Много зданий, связанных с памятью Ленина и революцией 1905 и 1917 годов, снесено на Красной Пресне. Между прочим, был разрушен даже дом Ульяновых (ул. Композиторская, 12 — XVIII век, здание, уцелевшее от пожара 1812 года). Сначала воровски сняли мемориальную доску в память проживания здесь Ленина, а затем снесли и сам дом.

Варварское отношение к культуре возмущает многих. Большинство из тех, кто протестовал индивидуально, делают это теперь в рамках Общества охраны памятников. Глава Общества — Кочемасов, заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. Фактический руководитель Общества — зам. Председателя Вл. Ник. Иванов. К сожалению, общество охраны памятников теперь — бюрократическая организация, которая больше тормозит усилия подлинных болельщиков национальной культуры, нежели охраняет памятники. Руководство не хочет терять насиженных, хорошо оплачиваемых мест.

Помимо этого Общества при Союзе художников СССР возникла комиссия по охране памятников. В нее вошли Королев

(секретарь Союза), А. П. Бродский, С. С. Чехов, Н. А. Пластов, А. В. Артемьев, А. С. Трофимов и др. — всего 20 чел. В 1971 г. активно подключился к работе комиссии известный русский художник Илья Глазунов. Комиссия сделала фото-выставку в помещении Правления СХ СССР (Гоголевский бульвар, 10).

Параллельно с этим правительству были адресованы письма в защиту памятников от многих деятелей науки и искусства: академик Рыбаков, кинорежиссер Бондарчук, хормейстер Свешников, академики Арцимович, Капица, Туполев требовали прекратить беспорядочный снос и беспорядочную застройку исторической Москвы.

25 июня 1972 г. в «Московской правде» было опубликовано постановление Московского горкома КПСС, которое указывало на необходимость более бережного отношения к памятникам культуры.

Однако ГлавАПУ нагло игнорировало постановление МКГ и продолжало, после некоторой задержки, разрушение города. Следует отметить, что намеченные сроки исполнения конкретных пунктов постановления были нереальны. Возможно, эта нелепость была кем-то умышленно спровоцирована, чтобы потом по прошествии сроков (2-3 месяца) заявить, что постановление изжило себя. Так и случилось.

Тургеневская библиотека на Тургеневской пл. была снесена через несколько месяцев после постановления — (здание 1-й половины XIX века — первая в России бесплатная публичная библиотека, построенная на народные деньги). После постановления был разрушен дом Л. Толстого на Сивцевом Вражке, Бакунинская ул. и район Таганки, в т. ч. особняки на ул. Володарского, ампириная застройка начала XIX века на Арбате.

Летом 1972 г. в Манеже состоялась закрытая выставка ПДП плана детальной планировки для членов правительства. После постановления МКГ, где говорилось и о необходимости показать макет ПДП общественности, художники и другие энтузиасты Москвы 13 июля встретились с Посохиним. Встреча была организована по инициативе МК партии. Представленный проект был подвергнут самой резкой критике за полное пренебрежение к памятникам и к историческому облику Москвы в целом. В результате этой встречи проект ПДП был отвергнут полностью, а макет разобран.

Однако, несмотря ни на что, весной 1973 г. началось очередное наступление на Старую Москву. В прессе и по телевидению обработали общественное мнение. Говорилось в частности, о необ-

ходимости расширить проспект Калинина. Передвигался один-единственный дом-музей Шусева (средняя часть — по проекту Казакова). Все остальное должно быть снесено. И опять удар по Кремлю. Судя по картинке в многотиражке ГлавАПУ «Моспроектовец», вблизи Кремля новый Калининский проспект завершился огромной башней в стиле «модерн».

Комиссия по охране памятников при СХ СССР сделала фотоальбомы, посвященные проблеме реконструкции Москвы и передала их правительству. Альбомы дошли до Суслова, Брежнева и многих членов Политбюро, после чего была создана комиссия при ЦК КПСС, поручившая в свою очередь Госстрою СССР создать компетентную экспертную комиссию по изучению этого вопроса. Комиссия Госстроя СССР состояла из 11 подкомиссий (всего около 40 человек). Было сделано довольно подробное заключение всех 11 подкомиссий с резкой критикой политики ГлавАПУ. Летом 1973 г. на встрече работников МК с составителями альбомов 1-й секретарь МК КПСС Гришин заявил: «С сегодняшнего дня не будет снесено ни одного квадратного метра жилплощади без самого тщательного исторического обследования каждого дома и улицы». И сразу после этих слов был снесен квартал на Трубной площади без всякого обследования. Губителям Москвы и Гришин нипочем.

ГлавАПУ и лично Посохин словно недостижимые колдуны, над которыми никто не властен. В ГлавАПУ царят настроения откровенного русофобства, в лучшем случае — полного безразличия к культуре и истории народа, столицу которого ГлавАПУ призвано обслуживать. Царят ремесленничество, делячество, бюрократизм, откровенная меркантильность. Не здесь ли зарыта вторая собака? Ведь застройка центра столицы оплачивается много дороже застройки окраин.

Компания Посохина орудует методами мафии, убирая с пути всех неугодных. Уволен начальник инспекции по охране памятников при ГлавАПУ, известный специалист Н. Н. Соболев. На его место посажен ставленник Посохина — некто Савин. Последний поспешил укрепить себя вполне безграмотным заместителем (Соколовским), который до того успел прославиться многим, в т. ч. подделкой подписей. Снят директор Литмузея А. Д. Тимрот после самовольного капитального ремонта здания музея в период погрома Якиманки. (Бедняга Тимрот надеялся спасти здание, раскрыв изящество форм классицизма конца XVIII века).

Одновременно Посохин — ловкий демагог. В настоящее вре-

мя подготавливается «под его редакцией» издание книги «Памятники архитектуры Москвы», где будет описано 513 счастливо уцелевших объектов, пока находящихся под охраной. Будущие поколения должны по этой книге «оценить» Посохина как «поборника» охраны памятников. А пока под угрозой взрыва — дом Огарева (кинотеатр Повторного фильма). Дом, где жил поэт и где висит доска о баррикадных боях 1905 года, помешал Посохину тем, что новому зданию ТАСС на Тверском бульваре, кстати, бездарному, потребовалась автостоянка.

Будет снесен дом великого русского архитектора Казакова, где жил Тургенев (Метростроевская, 37). Кстати, Посохин однажды заявил, что по мнению французских архитекторов, гостивших в Москве, «Казаков — нивесть что» и поэтому здания его можно сносить, не колеблясь. Посохин, видимо, намекает, что сам он строит лучше Казакова.

Ожидается снос здания музея Калинина — ампир начала XIX века.

Будет снесен дом Коминтерна на Волхонке, как, впрочем, и вся Волхонка.

Историческая Москва по XIX век включительно составляет всего 8% территории современной Москвы. Эти-то 8% столицы ГлавАПУ и намерено окончательно уничтожить. Никакие постановления вплоть до личного указания Л. И. Брежнева не имеют силы. РАЗРУШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОСКВЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Назовем имена наиболее ретивых разрушителей русской столицы.

Помимо Посохина — главного неутомимого врага Москвы — это

Макаревич Глеб Васильевич
Матвеев Симон Матвеевич
Тхор Борис Иванович
Белопольский Яков Борисович
Розенфельд Исаак Моисеевич
Зиновьев Павел Николаевич
Иофан Борис Михайлович,

затем

Шлюмер, Лейбман, Родос

ГлавАПУ руководит несколькими тысячами архитекторов. ГлавАПУ объединяет мастерские Моспроекта. Руководители мастерских

входят в состав Градостроительного совета, который решает вопросы градостроительства в Москве (всего боле 100 человек). Председателем градостроительного Совета является все тот же Посохин. Лично Посохину подчиняется начальник государственной инспекции по охране памятников архитектуры при ГлавАПУ. Руководители мастерских (около 30 человек) — стержень градостроительного совета, также подобраны Посохиним. Вся эта головка московских горе-строителей — конкретное олицетворение вандализма. Им нет преград.

В начале декабря 1973 г. ГлавАПУ организовало при закрытых дверях, входных пропусках совещание заинтересованных организаций по утверждению проекта детальной планировки центра. Несмотря на самую резкую критику со стороны представителей Общества охраны памятников и Московской организации Союза Художников проект был утвержден. Критикующие в голосовании участия не принимали. Им заранее определили лишь совещательные голоса. Своя рука владыка — утвержден снос половины существующей застройки центра Москвы.

Слово за правительством.

Вена, Париж, Лондон, Рим, Варшава, Прага хринят свой древний облик. Народы хранят свою культуру. И только Советское государство, то ли по бедности, то ли от излишнего богатства, то ли по чрезвычайной прогрессивности, то ли по слабости своей — швыряет сокровища свои под ноги вандалам.

Доколе будет продолжаться?

Общественность России оказалась бессильна. На защиту русского национального богатства, которое есть часть мировой культуры, должно встать все культурное человечество.

Остановите молот разрушения!

Декабрь 1973 г.

.....

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ В СССР.

М. МЕЕРСОН-АКСЕНОВ

ВЕРА И АНТИВЕРА

(Обзор событий за 1973 г.)

Энтузиазм безбожия давно уступил место атеистической административной рутине, но подчас не знаешь, что лучше: вспышка ли антирелигиозной одержимости, по своей импульсивной природе недолговечная, или инертный ход раз пушенной в одном направлении машины. Вроде все спокойно в религиозной жизни страны советов: не расстреливают и не сажают духовенства, верующие ходят в храмы, в которых «отправляется культ», епископы пишут благодушно-наставительные послания заморским церквам и анафематствуют изменников родины. Времена тяжких преследований канули в лету и можно о них по христианской незлопамятности забыть. Однако полный штиль на поверхности все же продолжает нарушаться время от времени доходящими из глубины воплями о помощи: то здесь, то там закрывается церковь, арестовывается священник, разгоняются общины. И 1973 год не беднеет этими фактами по сравнению с предыдущим. Что же принес он?

26 ноября 1973 г. была закрыта Богоявленская церковь в городе Житомире (ул. Карла Маркса, 66). Власти последовательно объясняли причины закрытия церкви тем, что она стоит возле школы (по всей видимости, понимая известный декрет об отделении школы от церкви в территориальном смысле) и мешает переустройству города. Верующие обратились с жалобами к советскому правительству и в московскую патриархию и, не получив ни откуда ответов, написали письмо на Запад, прося передать это письмо «Вашему правительству, чтобы они дали протест нашему правительству и открыли нашу любимую, дорогую для нас Богоявленскую церковь». (См. приложение)

Другое письмо на имя патриарха всея Руси пришло из Свердловска от верующих Иоанна-Предтеченского кафедрального Собора, которые просили его своей патриаршей властью навести порядок в их епархии. Через их жалобы вырисовывается, увы, обычная для советских условий картина приходской жизни, в которой как в капле воды отражается вся трагедия православия в России: без-

вольный епископ, смотрящий сквозь пальцы на то, как уполномоченный снимает с регистрации заслуженных и любимых паствой священников и ставит на их места пропоиц и проходимцев. Новопоставленный священник шантажирует епископа, задирает (в буквальном смысле слова) уважаемого народом священника, устраивает драки в алтаре, на увещания прихожан отвечает угрозами и кошунствами. Отчаявшись в надежде на собственного епископа, верующие сами пишут прошения, добиваются приемов в патриархии, безрезультатно требуют наведения порядка в своем приходе и сокрушаются: «Мы стоим в храме и не молимся, а только грешим, потому что видим одни недостатки. Сколько он горя принес, мы не можем пережить. Нам по 50, по 70 лет, мы не видели такого священника, сколько он нам горя принес». Заключительную фразу письма можно отнести ко всей русской Церкви: «нам нужен строгий епископ, который смог бы руководить по-настоящему». (1)

К сожалению, не все православные верующие столь же ревностны и настойчивы, как авторы данного письма.

Богаче событиями жизнь литовской католической Церкви, которая даже издает собственную хронику на литовском языке. (2) Последняя создает достаточно целостную картину, с одной стороны, нарастающей борьбы с Церковью коммунистической власти, с другой — активизацию католического сопротивления. Приведем из неё лишь несколько фактов. В начале 1973 г. советские учреждения получили инструкцию «для служебного пользования» — методические указания к теме «Католицизм в Литве и современность», в которой дана тщательно разработанная программа слежки за всеми сторонами религиозной жизни в Литве.

Для работы в этой области «выбираются активные и достаточно подготовленные атеисты», которые «не принимая участия в богослужении, но держа себя в храме подобающим образом», обязаны с точностью наблюдать за всеми проявлениями церковной активности, с тем чтобы давать о ней отчеты, «детально и точно с соблюдением строгой объективности, без личных добавлений, комментариев и выводов». (Только не указывается, где они должны делать такие отчеты). При этом предписывается точно рассказывать о месте и времени проповеди, о районе и наименовании хра-

(1) Прощение на имя Пимена, Свят. Патриарха Московского и всея Руси от верующих Иоанно-предтеченского кафедрального собора г. Свердловска от декабря 1973 г.

(2) К настоящему моменту вышло 8 выпусков «Хроники».

ма, об имени, фамилии, местожительстве священника, о том, говорил ли он по конспекту или без, был ли красноречив и производил ли впечатление на слушателей, о всех его ораторских приемах. В отчетах следует с подробностями указывать состав аудитории (число верующих, их пол, возраст), характер общего участия в богослужении, реакции её на слова проповедника. Соглядатаи должны быть в курсе отношения священников и верующих, священника и детей, следить, насколько он активен в своей работе, каковы средства его воздействия на паству, каковы его семейная жизнь, круг знакомств, связи и контакты, культурные интересы. Подобный же круг вопросов охватывает церковный актив в целом и всех его членов в отдельности и, наконец, материальное положение религиозных общин, все виды обновления в Церкви и отношение верующих к модернизации культа. (3)

В то же время все религиозные организации получили предписание представить образцы шрифтов всех имеющихся в наличии пишущих машинок, вплоть до находящихся в ремонте и не годных к употреблению. То, что этот пристальный интерес к христианской жизни был вызван не одной научно-социологической любознательностью республиканских властей, показывает усиливающаяся практика репрессий. Старосты церквей, где прислуживали дети, получали выговор и отстранялись от должностей (4), активные христиане запугивались и преследовались, в школах усилилось не просто атеистическое воспитание, а травля верующих детей. В ряде школ были проведены специальные анкетные опросы, посвященные единственной теме: степени и источников религиозности школьников.

Кроме многочисленных фактов религиозной дискриминации в школах, хроника говорит и о прямых репрессиях против католической интеллигенции: арестах, допросах, обысках. Всё это вызвало широкое движение протеста в среде литовских католиков, направивших жалобы советскому правительству, под которыми были собраны многие тысячи подписей.

Согласно последнему — VIII — выпуску Хроники аресты и обыски прокатились по всей республике. Арестован на дому отец Бабрускас, священник церкви в Шмилгае, у которого при обыске

(3) «Хроника католической Церкви Литвы» № 6 (перев. с лит.) напеч. «Религия и атеизм в СССР. Ежемесячный обзор». Ред. Н. Теодорович, Мюнхен. стр. 3-4.

(4) там же, стр. 4-6.

было изъято несколько чемоданов религиозной литературы, три пишущих машинки, несколько выпусков «Хроники», причем обыскана была даже церковь с алтарем, хранящем Св. Дары. Несколько человек было арестовано за «производство религиозной и порочащей советский строй литературы», около 30 человек подвергнуто обыскам и допросам, причем были конфискованы литовский национальный флаг и Свящ. Писание официального издания 1972 г., три девушки с высшим образованием уволены с работы за тайную принадлежность к монашеству. Литовское КГБ делает всё, чтобы разгромить «Хронику Католической Церкви Литвы».

С баптистской стороны пришло известие о процессе над евангельскими христианами в Талды-Кургане, осудившем шесть человек (5) на срок от 3-х до 5-ти лет ИТЛ и четырех из них лишившем родительских прав (6). Текст последнего слова одного из осужденных, Якова Николаевича Павлова, демонстрирует удивительную силу веры и христианской твердости. Обвиняемый с самого начала отрицает правомерность применения к христианам действующего законодательства о культах. Читая его речь, невольно вспоминаешь книгу «Деяний апостольских». «Мы, верующие, — сказал Павлов суду, — все наши действия прежде всего рассматриваем с точки зрения верности Богу. Жизнь наша непосредственно подчинена Богу... Мы не можем принять условий служения Богу, определяемых законодательством — оно противоречит учению Христа. А вы знаете, что первые христиане, чтобы остаться верными Богу, шли на любые мучения, на костры, на кресты, на арену римского Колизея, были растерзываемы зверями, перепиливаемы пилами, скитались, не имея, где склонить голову в холоде и голоде, в постоянных опасностях от предательства. И все это потому, что они имели настоящую веру, настоящие убеждения, неподкупную совесть». Отвечая на различные обвинения, он говорит, что христианам нечего скрывать и бояться, то, что они делают, делают, повинувшись заповедям Христа — учат ли детей вере, собираются ли для молитвы, открыто, не стыдясь и не скрываясь от властей. Не смешно ли обвинение в распространении информационных листов о гонениях на верующих, когда более виноваты те, кто устраивают подобные гонения, а не те, кто рассказывают о них. Нельзя обижаться на зеркало, которое лишь отражает то, что на-

(5) Павлова Я. Н., Ватулко А. М., Каспер В. А., Шенбель Э. А., Ватулко В. М., Каспер Э. В. (из Заявления А. Н. Твердохлебова в Президиум Верховного Суда Киргизской ССР).

(6) Павлова Я. Н., Ватулко А. М., Каспер В. А., Ватулко В. М. (там же).

писано на лице. «Я вам со всей ответственностью заявляю, как только верующие перестанут быть гонимы, так сейчас же прекратятся подобные информации. Мы были бы рады свидетельствовать всему миру о той свободе, за которую мы боремся вот уже второе десятилетие, но до сих пор мы не можем дать такого свидетельства». Не ложные обвинения — причина этого суда, а живая вера в живого Бога, — говорит Павлов и заключает свою речь словами: «Знайте и то, что история христианства продолжает писаться. Подумайте, не будут ли потомки судить вас, как сегодня судите инквизиторов?» (7)

С заявлением о незаконности этого процесса в президиум Верховного Суда Казахской ССР обратился А. Н. Твердохлебов (от 14 марта 1974 г.). В нем он подчеркнул неустранимое противоречие примененного в данном процессе закона с ратифицированными в сентябре прошлого года Президиумом Верховного Совета СССР Пактами ООН о Правах Человека и посоветовал отменить приговор и исправить республиканское законодательство в соответствии с ратифицированной декларацией.

Не безразлична для нашей задачи обзора религиозной жизни и официальная советская пресса (8). В журнальных и газетных атеистических статьях заметно усиливается беспокойство по поводу роста религиозных настроений среди населения, в особенности среди молодежи. Газета «Гудок» в статье «Гражданин начинается в семье» (9), сетуя по этому поводу, приводит пример одной верующей старшеклассницы, которая оставила накануне экзамена записку в часовне на Смоленском кладбище в Ленинграде: «Ксения Блаженная, помолись за меня и передай Иисусу Христу, чтобы мне сдать экзамен по физике и по географии на 4, а если нельзя, то на 3».

Журнал «Коммунист» в статье «Молодежи — научное миропонимание» (10) недоумевает, с чего бы это молодежь, притом неверующая, вместо медальонов стала носить кресты, в другой статье (11) он задается вопросом, как же это получается, что внуки возвращаются к вере своих отсталых дедов, приводя в при-

(7) Последнее слово Якова Николаевича Павлова, подсудимого по делу евангельских христиан-баптистов в Талды-Кургане. (текст получен 17 марта 1974 г.)

(8) Обзор сделан по обзору советских газет Е. Поздеевой.

(9) «Гудок», 17/1.73 ст. Прокофьева.

(10) «Коммунист». 15/II.73. ст. Погосьяна.

(11) там же 16/III.73. Месральян «Ожидание Св. Духа».

мер одно семейство, в котором родившиеся и выросшие до революции старики верили в Бога, выросшие при советской власти их дети в Бога не верят, а вот их три дочери «стали вдруг по непонятным причинам членами секты пятидесятников». В следующей статье бедный «Коммунист» ломает свою большевистскую голову над вопросом, почему в Ереване несмотря на организацию народного университета научно-атеистических знаний отмечается оживление религиозной жизни среди пятидесятников, адвентистов и баптистов и прочих верующих, которые даже выстроили «на улице Эхова» (в том же районе, что и названный университет) чего-то вроде часовни» (12).

Простодушная «Советская Молдавия» в заметке о постановке атеистической работы в фрокиевском районе смело шагает через все антиномии, одновременно утверждая, что в районе отмечается «относительно высокая религиозность населения», но при этом закрываются... пустующие в нем церкви и молитвенные дома (13).

«Правда Украины» с удовлетворением отмечает, что половина новорожденных в СССР крещена (14), а «Советская Белоруссия» рассказывает благочестивые истории о том, как «лет восемь тому назад в окрестности Барколабова открылся родничок со святой водой, куда стали ходить на Николу... со святой водой всплыла откуда-то переносная икона, которую передавали из дома в дом» (15).

Не чужда религиозным интересам и «Туркменская искра», которая повествует нам о далеком мире ислама (16). Оказывается, в республике немалое внимание обращается на подготовку кадров атеистов, устраиваются атеистические вечера и встречи с бывшим духовенством. Старания эти не остаются втуне. В результате этой работы (и, должно быть, той, о которой газета целомудренно умалчивает) в ряде мест закрылись религиозные общины. Но странное дело — еще остаются бродячие муллы, а верующие и молодежь посещают святые места.

(12) там же 1/VII.73. И. Томчин «Убеждать — воспитывать».

(13) «Советская Молдавия», 23/IX.73. Бабий и др., «Как отзовется слово атеиста».

(14) «Правда Украины», 11/III.73. Е. Дулуман, «Нарушение правопорядка и кощунство».

(15) «Советская Белоруссия», 10/IV.73. «Прометеев огонь знания».

(16) «Туркменская искра» 22/II.73. «Повышать эффективность коммунистической пропаганды».

«Казахстанская Правда», обращаясь «к уму и сердцу человека» (17), говорит о всё возрастающей активности баптистов, которые ведут работу с детьми, и о повышении религиозности среди пенсионеров, инвалидов, женщин-домохозяек.

Взахлеб пишет на религиозную тематику «Комсомольская Правда», посвятившая целых три статьи (18) одной благочестивой истории о том, как активный комсомолец Иван Сидоренко стал верующим баптистом, крестился, женился на верующей девушке Тоне, ушел от родителей и поселился в семье другого баптиста, о том, как теперь хорошо работает Сидоренко на заводе, как постоянно получает премии и как занимается религиозной проповедью среди рабочих; рассказывает она и о трех баптистах, которые отказались принять военную присягу. С восхищением газета пишет о том, как баптисты помогают друг другу и тем привлекают сторонников, о скромности и простоте баптистского молитвенного собрания, о личной ответственности каждого баптиста за свое поведение, о долгом сроке подготовки к принятию таинства крещения, о том, что у баптистов нет ненависти к врагам народа. «Комсомольская Правда» посмеивается над недостатками атеистической пропаганды среди баптистов, ставя ей в пример пропаганду самих баптистов, читающих лекции о вреде иудаизма и православия.

Но не следует думать, что советская пресса пишет на религиозные темы лишь в благочестиво-повествовательном жанре. Нет, на её страницах мы найдем и не лишённые изящества богословские статьи и пылающие пророческим гневом обличения против клерикализма и обскурантизма. Но, как и полагается всякой живой и творческой мысли, советская теология подчас не может избежать тупиков и противоречий, о которых мы скажем ниже.

Уже известная нам своей увлеченностью религиозными темами «Советская Белоруссия» в тонкой богословской статье «А суть прежняя» (19) показывает, как Церковь хранит верность халкидонскому догмату под поверхностью той или иной вызванной историческими условиями интерпретации христианства. Так, на-

(17) «Казахстанская правда» 14/III.73. Лебеденко, «К уму и сердцу человека».

(18) «Комсомольская Правда». Ю. Орлик, «Брат Иван», 8/VIII.73.

Ю. Орлик, «Побег в никуда» (продол.) 24/VIII.73.

Ю. Орлик, «Поединок с дядей Грушей» 25/VIII.73.

(19) 19/I.73, авт. С. Мотырев.

пример, «в дореволюционной России Христос изображался как «Царь небесный», как потомок «царского рода Давидова»..., а сейчас его считают выходцем из бедной семьи провинциального ремесленника». Но суть остается прежней, утверждает автор, не попадаясь на удочку соблазвивших западную теологию бартианства и бультаннизма.

Не чужд профетический пафос и газете «Гудок», которая почти сближается с письмом А. И. Солженицына Патриарху, советуя РПЦ более «о горнем помышлять, а не о земном» (20), обличает века невежества, замазывавшие Рублева бездарной иконописью и призывает вернуться к заветам преподобного Нестора.

Но даже широкое и спокойное русло советской теологии не может обойтись без контrovers. Так, например, если «Правда Украины», трактуя тему замены веры в Бога научным мировоззрением, говорит о невозможности возникновения новой религии (21), то уже хорошо знакомая нам «Советская Белоруссия» в богословском дерзновении зовет к новой гражданской обрядности, высоко оценивая роль таких современных ритуалов, как праздник весны и труда, комсомольской свадьбы и гражданских крестин (22).

Впрочем, возможно и здесь за богословскими контroversами, как и в древности, скрываются культурно-этнические и политические разногласия. Наши среднеазиатские собратья «Туркменская Искра» (23) и «Коммунист Таджикистана» (24) придерживаются модернистских взглядов, поощряя религиозное творчество в области гражданской обрядности. Все же мы должны заключить, что слишком вольное отклонение от марксистско-ленинской догматики чревато отпадениями в новое язычество.

К сожалению, нет возможностей далее останавливаться на анализе мнений и толкований, но уже и этот краткий обзор показал, что 1973 год принес не мало интересных событий в области религии и что в этом году советская пресса жила интенсивной духовной жизнью. Посмотрим, что принесет 1974 г.

.....

(20) 3/III.73. А. Шамаро, «Под слоем позолоты».

(21) 10/IV.73. Онищенко, «Научный прогресс и кризис религии».

(22) 10/IV.73. «Прометеев огонь знания».

(23) 22/II.73. «Повышать эффективность коммунистической пропаганды».

(24) 21/II.73. «О средствах и формах атеистической пропаганды». Образцов.

Письмо прихожанки гор. Житомира *)

Христос по-среди нас, дорогие!

Недавно послала Вам свое поздравительное с Рождеством Христовым письмо, а теперь сложившиеся обстоятельства не благоприятные вынудили меня написать второе письмо. Нас постигло большое горе и мы сейчас обливаемся горькими слезами о потере нашей любимой родной нашему сердцу Богоявленской Церкви, которая находится по ул. Карла Маркса, дом 66. 23 августа 1973 г. нам местные власти объявили, что нашу церковь закрывают и сносят, так как возле этой церкви находится 33 школа и наша Богоявленская церковь мешает школе воспитывать детей. 26 ноября они, уполномоченный Геращенко, запретил священнику совершать службу и нашу церковь закрыли. Мы везде подавали жалобы в в Москву Куроедову, главному уполномоченному по церквям, который находится в Москве, подали жалобы Брежневу, Косыгину, Подгорному, нашему Патриарху, но они никаких мер не принимают, чтобы открыть нашу церковь. Теперь местные власти придумали второе для оправдания, яко бы они закрыли церковь с той целью для переустройства города, но первое не соответствует действительности, так же и второе только оправдание, их цель закрыть церковь. Убедительно прошу передать мое письмо Вашему правительству, чтобы они дали протест нашему правительству, и открыли нашу любимую, дорогую для нас Богоявленскую церковь.

Адрес нашей церкви: г. Житомир, ул. Карла Маркса д. 66. Богоявленская Церковь. Прошу Вас ответить мне получили ли Вы это мое письмо. Пока до свидания.

(Подпись).

*) Печатается с соблюдением орфографии подлинника.

Смещение священника Дмитрия ДУДКО

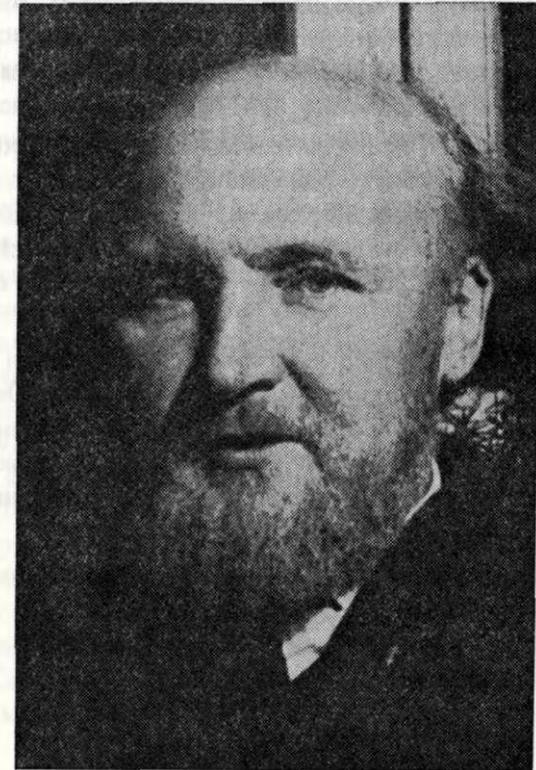
4 мая Московская патриархия временно запретила священнику Дмитрию Дудко проводить собеседования с верующими, которые происходили в течение примерно полугода в его церкви на Преображенском кладбище. Беседы свящ. Дудко пользовались огромной популярностью и в последнее время привлекали множество тысяч людей, преимущественно интеллигенции. В своих беседах свящ. Дудко отвечал и на вопросы политического характера. Он часто напоминал присутствующим о страданиях народа и о гибели десятков миллионов людей в лагерях и тюрьмах. Он говорил о том, что Россия находится на Голгофе, но это по его словам означает то, что за распятием неминуемо последует и Воскресение. Свящ. Дудко в сталинские времена, будучи уже студентом Московской Духовной Академии, был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и несколько лет провел в лагерях.

Он отличается смелостью и негибаемым характером и несмотря на его кажущуюся простоту его проповеди и беседы привлекли к нему множество интеллигенции. Достаточно сказать, что одним из близких к нему людей был выехавший сейчас из СССР писатель Владимир Максимов. Обращает внимание то, что запрет на беседы свящ. Дудко последовал вслед за таинственными арестами и обысками среди сотрудников Московской Патриархии. Как известно, академик Сахаров и член-корреспондент Академии Наук Шафаревич уже делали заявление по поводу ареста ближайшего к покойному патриарху Алексею человека Даниила Остапова, у которого под видом изъятия ценностей был изъят весь архив, в котором, как полагают, органы безопасности искали какие-то документы.

В то же время в кругах инакомыслящей интеллигенции обращают внимание на ставшее только что известным в Москве заявление против Солженицына московского священника Шпиллера, которое, как говорят, превзошло по уровню передержки, обмана и фальсификации все заявления, делавшиеся против Солженицына в советской прессе.

Создается впечатление, что власти СССР, действуя через Патриархию и через свою агентуру внутри Церкви пытаются воспрепятствовать быстро ширящемуся среди советской интеллигенции религиозному движению.

Иностранные корреспонденты получили от прихожан православной церкви святит. Николая на Преображенке (Москва) копию петиции, поданной им на имя Патриарха Пимена с просьбой о р е а б и л и т а ц и и их настоятеля о. Дмитрия Дудко. Он охарактеризован в петиции как глубоковерующий, выдающийся пастырь, как пример для всего православного духовенства.



Свящ. Дмитрий Дудко

Дело заключается в следующем.

О. Дмитрий, выходец из крестьянской семьи, участник 2-й мировой войны, отбыл 11 лет заключения в советских лагерях и, по освобождении в 1956 г. достиг священства.

С середины января с. г. стал проводить по субботам, после всеобщей, в вверенном ему храме духовные беседы. В них отвечал на вопросы о религии, о различных проблемах общественной

жизни, указывал на моральное и духовное разложение, к которому привел советских людей навязанный им атеизм и призывал слушателей, среди которых всегда бывало много молодежи, обратиться к вере.

Духовные беседы о. Димитрия вызывали у жителей Москвы большой интерес, храм святит. Николая был по субботам переполнен. Это заметил районный комитет комсомола и, по имеющимся сведениям, потребовал от Патриархии смещения о. Димитрия. Последний был вызван в Патриархию, и секретарь Патриарха Матфей Стаднюк вручил ему распоряжение прекратить духовные беседы, упомянув о заведенном на него «деле»...

18 мая с. г. о. Димитрий после всенощной сообщил своим прихожанам, что в связи с незаконным вмешательством безбожников во внутренние дела Церкви, он вынужден лишиться прихода. «Во всех странах, — сказал о. Димитрий, — подсудимым предоставляется последнее слово, это — сказал он — и есть мое последнее слово...»

Тут же к нему подошли двое в штатском и стали выводить из храма. Храм оказался оцепленным милиционерами. Они старались оттеснить от о. Димитрия прихожан. Многие плакали, просили у о. Димитрия благословения. Он был посажен в автомобиль и увезен в неизвестном направлении. Прихожане немедленно стали собирать подписи под петицией в его защиту.

20 мая, по данным иностранных корреспондентов, о. Димитрий был освобожден.

.....

ОТКЛИКИ НА ДОКЛАД О. АЛЕКСАНДРА ШМЕМАНА

В № 107 Вестника опубликован сокращенный доклад Прот. А. Шмемана на весеннем съезде Р.С.Х.Д. «Можно ли веровать быв цивилизованным» и прения по докладу. Мне кажется, что, по-видимому, была сделана попытка поставить на обсуждение одну из наиболее важных проблем нашего времени. Попытка эта, на мой взгляд, не удалась — ввиду неточности поставленного вопроса и последовавшей неточности в определении проблемы в самом докладе. Почему нельзя определить проблему вопросом «можно ли веровать быв цивилизованным»? Для этого необходимо рассмотреть, что подразумевается под термином цивилизация. Это наука и её плоды и — искусство и его плоды. Наиболее чёткое, на мой взгляд, определение что есть науки находим у Еп. Игнатия (Брянчанинова). Вот оно: «Вы спрашиваете какое моё мнение о науках человеческих? — Люди после падения начали возделывать землю, начали нуждаться в одежде и других многочисленных потребностях, которыми сопровождается наше земное странничество; словом сказать, они начали нуждаться в вещественном развитии, стремление к которому — отличительная черта нашего века. Науки — плод нашего падения — произведение поврежденного падшего разума; ученость — приобретение и хранение впечатлений и познаний, накопленных человеком во время жизни падшего мира. Ученость — светильник ветхого человека, светильник, которым «мрак тьмы во веки блюдется». Искупитель возвратил человеку тот Светильник, который им дарован был при создании Создателем, которого лишились они при грехопадении своём. Этот Светильник — Дух Святой, Он Дух Истины, настала всякой истине, испытывает глубины Божии, открывает и изъясняет тайны, дарует и вещественные познания, когда они нужны для духовной пользы человека. Ученость не есть собственно мудрость, а только мнение мудрости. Познание Истины, которая открыта человеком Господом, к которой доступ — только верой, которая не доступна для падшего разума человеческого, заменяется в учёности гаданиями, предположениями. Мудрость этого мира, в которой почетное место занимают многие язычники и безбожники, прямо противоположна, по самым началам своим, мудрости духовной, божественной. Нельзя быть последователем той и другой вместе; непременно должно отречься. Падший человек — «ложь», и из

умствований его составился «лжеименный разум», т. е. образ мыслей, собрание понятий и познаний ложных, имеющие только наружность разума, а в сущности своей — шатание, бред, беснование ума, поражённого смертною язвою греха и падения. Этот недуг ума, особенно в полноте открывается в науках философских».

Поставив вместо слова «Наука» слово «искусство» получим почти точное его определение.

Из этого следует: что христианин, а никто другой является носителем истинной культуры, т. е. обладает истинной наукой и истинным искусством. Поэтому невозможно поставить вопрос «можно ли веровать быв цивилизованным», т. к. христианин истинно цивилизован, если он истинный христианин. Следовательно, речь идёт о другом: как применить истинную науку и истинное искусство, заложенное Помазанием Божиим в Христианине, к его жизни в мире, который от начала до конца ложь, «ибо все что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Иоанн II, 16). Иными словами, как пользуясь истинной духовной наукой и истинным духовным искусством, избежать пленения души похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской, и так как все эти воздействия имеют форму современной цивилизации, то проблема должна быть поставлена таким образом: как жить христианину (или каково должно быть его поведение) в обстановке современной цивилизации, чтобы максимально оградить себя от её воздействия (живя в ней) и максимально содействовать спасению пленённых миром язычников. Если мы обратимся к Св. Отцам и Учителям Церкви, то убедимся, что они придавали этой проблеме большое значение, внимательно анализировали её и давали конкретные рекомендации, т. е. решали проблему конкретно. (1) Эта конкретность заключалась в определении допустимой меры, которая давала возможность Христианину жить в мире, не будучи ему подчинённым (Сама эта мера подразумевала наличие определённого отношения к миру).

Приведу только один из примеров такого конкретного решения: Св. Василий Великий о медицине («врачебном искусстве»): «Бог даровал нам смысленность и способность постигнуть сие искусство; так поелику повелено нам опять возвратиться в землю, из которой взяты, и поелику сопряжены с болезненною плотию, кото-

(1) Отнюдь не ограничиваясь молитвой, как в примере с Грузинским Патриархом Католикосом (см. прения по докладу Прот. А. Шмемана).

рая за грех осуждена на истление, и чрез это подверглась сим немощам; то дана нам и помощь врачебного искусства, хотя в некоторой степени оказываемая страждущим болезнями. Ибо не сами собой произрастали травы, полезные при той или другой болезни, но, очевидно, по воле Создавшего, произведены с целью служить к нашей пользе. Поэтому свойства, заключающиеся в корнях, в цветах, в листьях, в плодах и в соках, и то что в металлах и в море открыто годного к пользованию плоти — всё это подобно изобретению принимаемого в пищу и питье. Но что изысканно излишне, и требует долгих трудов, и как бы всю жизнь нашу обращать в попечение о плоти, то должно быть запрещено христианам» (2)

Почему в наши дни, проблема «как жить христианину в обстановке современной цивилизации является одной из главных проблем? Потому что в наше время похоть очес (т. е. разнообразных чувств, согласно толкованию Блаженного Августина) и гордость житейская возможно более действенно, чем в прошлые эпохи, выражает себя через средства цивилизации, т. е. чрез плоды наук и искусств. Решение этой проблемы находится как и раньше в определении конкретной допустимой меры и, следовательно, конкретного и чёткого отношения к окружающей цивилизации. Это отношение совершенно иное, чем выраженное в следующих словах Прот. А. Шмемана: «Взлетов, удач, потрясающих достижений цивилизации оспаривать не приходится и я уверен, что почти никто из нас здесь сидящих, если мы находимся в здравом уме и твёрдой памяти, не захотели бы вернуться хоть и в самое романтизированное средневековье».

Почему иное отношение? Потому что Христианин, если только он действительно в здравом, т. е. христианском уме, действительно не хочет вернуться куда бы то ни было, т. к. он знает своим здравым, Помазанием Божиим наученным умом, что он поставлен для борьбы именно здесь, в данной обстановке и ему для данной обстановки даны средства борьбы — но не потому, что цивилизация совершила взлёты — это показывает, что понятие о цивилизации Прот. А. Шмемана — не истинно христианское, а эстетическо-романтическое (хотя он и возражает против романтизма в других местах доклада). Причиной появления этого романтического магнита, отклоняющего наши понятия в сторону от христианства, является, повидимому, в данном случае софиология (но это уже

(2) Ср. И. А. Крылов: басня «Водолазы».

выходит за рамки нашей темы). Как иллюстрацию правильного христианского анализа взлётов цивилизации приведу ещё одну цитату из писем Еп. Игнатия (Брянчанинова). Характеризуя свой век, он пишет: «...общая, всесветная молва, как бы при столпотворении, — повсеместное устройство железных дорог — работа подобная столпотворению. Надо заметить что Бог, как говорит Писание, с той целью смешал языки и разделил народ на народы, чтоб лишить людей возможности все греховные предприятия приводить в исполнение всеми силами всего соединённого человечества: паровозы возвращают людям эту возможность. Тогда при столпотворении, нисшел Бог, говорит Писание, взглянул на дела человеческие, и остановил безумное начинание смешением языков; теперь близок час, в который снова сойдёт Бог возреть на дела человеческие, и положит им конец уже не смешением языков, а заменением мира, созревшего и обветшавшего в беззакониях миром новым и непорочным. (3) Итак, христианин знает, что он поставлен для борьбы именно в данной обстановке и что он имеет все средства для того, чтобы жить именно в данной обстановке, если он имеет к ней правильное отношение, позволяющее нейтрализовать влияние мира. Это отношение возникает у христиан под воздействием истинной цивилизации: христианской духовной цивилизации, т. е. науки и искусства борьбы с миром, которых он является единственным носителем.

Прилагаю также цитаты из «Исповеди» Блаженного Августина об отношении к искусству:

«Как бесконечно много придумали люди для приманки очей с помощью различных искусств и художеств, в одеждах, обуви, сосудах, и тому подобных изделиях, также в живописи, и различных изваяниях, в вещах, далеко выходящих за пределы умеренного и необходимого употребления и благочестивого знаменования... и я, говорящий и рассуждающий так, тоже погрязая среди этих

(3) Это «с религиозной точки зрения», но и для любого ученого, если только он «находится в здравом уме и твердой памяти», теперь уже ясно, что взлёты цивилизации с определённого времени являются лишь шагами к разрушению планеты. Таким образом, точка зрения Прот. А. Шмемана является менее «передовой», чем точка зрения иного язычника. И уж если совсем свести всё к простому — неужели автор доклада не знает таких людей (не только христиан, но и язычников), которых только необходимость или атрофированность полезных навыков принуждает жить в условиях цивилизации и которые в противном случае предпочли бы деревни без телефонов и автомашин, где жизнь просто здоровее физически (а для христиан и безопаснее для души).

прекрасных предметов, но Ты исторгаешь меня, яко милость Твоя пред очима моима есть (Псал. XX, 3). Ибо и я увлекаюсь жалостным образом, и Ты исторгаешь меня милосердно, иногда так, что я и не чувствую этого, если не зашёл ещё в глубину пристрастия, иногда с болюю, если я погряз глубоко».

N.N.
(Москва)

.....
М. С. АГУРСКИЙ, Москва.

ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ «ПИСЬМА БРАТЬЕВ-ЕПИСКОПОВ ИЗ ССЫЛКИ»

В вашем журнале (№ 107) опубликована переписка братьев-епископов, одного из которых зовут Герман, а другого Варлаам. На стр. 72 журнала сказано, что о них не имеется никаких сведений, кроме тех, что содержатся в переписке.

По справочнику «Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 г.г.», составленному митрополитом Мануилом (Лешевским), удастся легко определить, о ком идет речь.

ГЕРМАН (РЯШЕНЦЕВ), еп. Вязниковский, вик. Владимирской епархии.

Родом из Тамбовской губернии; обучался в Тамбовской духовной семинарии. В 1902 г. поступил в Казанскую духовную академию, где на первом курсе был пострижен в монашество, а на четвертом — рукоположен во иеромонаха. В 1906 г. окончил академию и в августе того же года назначен преподавателем Псковской духовной семинарии. С 1907 г. инспектор той же семинарии. В 1912 г. в сане архимандрита назначен ректором этой семинарии. В 1917 г. ректор Владимирской семинарии. Указом от 17 января 1918 г. определен быть еп. Вольским, вик. Саратовской епархии, но хиротония в этом году не состоялась. 14 сентября 1919 г. хиротонисан во еп. Волоколамского, вик. Московской епархии. 13 июня 1928 г. назначен еп. Вязниковским, но епархией не управлял по причине ареста. Дальнейших сведений о еп. Германе митр. Мануил не приводит, за исключением ссылки на его кандидатскую работу в журнале «Православный собеседник», 1907, янв., стр. 19 («Нравственное воззрение преп. Симеона Нового Богослова»).

ВАРЛААМ (РЯШЕНЦЕВ), архиеп. Пермский. Родился 8 июня 1878 г. в Тамбовской губернии. В 1896 г. окончил классическую гимназию в Тамбове. В 1900 г. окончил Казанскую духовную академию. В 1901 г. пострижен в монашество и рукоположен в сан иеромонаха. В 1902 г. преподаватель Уфимской духовной семинарии; в 1903 г. инспектор той же семинарии. В 1906 г. хиротонисан во еп. Гомельского, вик. Могилевской епархии. В 1922-23 г.г. отпадал в обновленчество, но после раскаяния принят в патриаршую церковь. С 3 сентября 1923 г. еп. Псковский и Порховский. С января по декабрь 1924 г. управлял Могилевской епархией. С 13 июля 1927 г. — архиеп. Пермский. С 11 ноября 1927 г. сослан. С декабря 1927 г. назначен временно управляющим Любимским викариатством Ярославской епархии. Утверждается, что он умер в 1942 г. Сообщается, что он принадлежал к т. н. Ярославской оппозиции против митр. Сергия. Архиеп. Варлаам — автор нескольких брошюр, изданных в Полтаве в 1908-1912 г.г.

9 марта 1974 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

Абрам ТЕРЦ (А. Синявский), ГОЛОС ИЗ ХОРА, Лондон 1973, стр.

В длинном списке русских книжных новинок, "Голос из хора" занимает в современной русской литературе совершенно своеобразное место. Своеобразное — хотя бы уже потому, что афористический жанр, как и нанизывание отдельных — часто фрагментарных — мыслей, наблюдений, впечатлений, обрывков разговоров — и составление из этого разнородного материала одной, — увесистой по своему удельному весу, книги — мало свойственно русской литературе.

Тут невольно припоминается Розанов с его "Опавшими листьями". Вспоминается чисто автоматически, но, конечно, сродство этих двух писателей в общем скорее внешнее, нежели внутреннее. Хотя бы уже потому, что большинство отрывков, составляющих знаменитые книги Розанова, написаны, как сам он отмечал, то "за нумизматикой", то есть при разборе античных монет, до которых он был страстный охотник, то за "вечерним чаем" или "на извозчике". А все отрывки Синявского-Терца создавались после тяжелого дня изнурительного труда, в состоянии некоей скованности, в бараке, и при том всегда на людях. А ведь для процесса писания это действительно "разница дьявольская".

И все же, несмотря на полную невозможность одиночества, "Голос из хора" (о, сколь безгласного хора!) можно было бы с успехом озаглавить "Наедине с собой". По иронии судьбы это было бы, конечно, некое "Наедине с собой на людях". Впрочем, Абрама Терца от Марка Аврелия отделяют не только тысячелетия, но вся целеустремленность его

книги. Вместе с тем надо признать, что в его страдные лагерные годы Синявский был по-настоящему стойким... да к тому же был задержан еще и своего рода непротивлением злу, не совсем в толстовском смысле, но в некоем абрам-терцовском его варианте.

Книга "Голос из хора" составилась из писем автора к жене, из выдержек, которые он после своего освобождения отобрал и объединил. Несмотря на их внешнюю фрагментарность, вышло нечто единое по своему заданию, по тому лейтмотиву, который переходит из главы в главу и где кстати сказать, каждая глава отражает прожитый лагерный год.

"Везение" (как странно звучит здесь это слово!) Синявского заключалось в том, что по тогдашним лагерным правилам ему была дана возможность посылать жене два письма в месяц, но длина их не была ограничена, и он мог всласть делиться с ней своей корреспонденцией, мыслями и впечатлениями. Конечно, письма проходили через цензуру. Но, как это ни парадоксально, в данном случае, может быть, мысль о вмешательстве в интимную переписку какого-то постороннего читателя, мысль о том, что одно неосторожное слово сможет повлечь уничтожение письма, способствовала одухотворенности переписки. В ней нет ни стенаний на судьбу, ни прямых жалоб на лагерный быт, ни всего того, из чего можно было бы впоследствии создать некий — хоть и трагический, но старомодного типа "роман в письмах". Порой даже почти не верится, что автор этих отрывков — сам сиделец в этом аду, что он — действующее лицо в нем, а не наблюдатель из какого-то далёка. Читая книгу, порой забываешь, что она в новом преломлении, в новом аспекте не чти иное, как новые "Записки из мертвого дома", — из такого места, где "на аршине пространства предчувствуется какая-то вечность".

Чтобы охарактеризовать книгу, всего лучше процитировать короткий отрывок из авторского к ней предисловия. "Эта книга, указывает Терц, ходит вперед и назад, наступает и отступает, то продвигается вплотную к читателю, то убегает от него и течет, как река, омывая новые страны". И вправду берега этой многоводной реки действительно пестры и многолики: тут и мысли о религии, литературе, искусстве, силуэты товарищей по несчастью, записи лагерного жаргона, и словечки, и прибаутки, которым позавидовал бы любой Даль, острые замечания об Аввакуме, Свифте, Эдгаре По, письмах Чехова, о различных представителях современной писательской братии.

Но, может быть, всего этого было бы недостаточно, чтобы выделить новую книгу Терца из ряда других, посвященных ссылкам и лагерям, хотя бы написанных в другой форме и другом ключе. Но особенно в ней поражает и делает ее "уникальной" — это там и здесь рассеянные рассуждения о проблеме времени, об его ощущении.

"Там", за колючей проволокой, по словам Терца, "немного воображаемый мир" — воображаемый, но для человека с нормальной биографией — невообразимый. Поэтому "там" все в ином — не нашем — ракурсе. Схематизируя происшедшее с ним, Терц устанавливает: "Был — и нету тебя. Ты только форма. Содержание — не ты, не твое". За этими простыми и страшными в своей неоспоримости словами, за их математической сухостью есть нечто, что до конца недоступно тем, которые

не прошли через опыт Терца "на своей шкуре". Но именно "паря над облаками", как может сперва показаться, Синявский-Терц изображает и обличает иной раз с большей пронзительностью, чем многие летописцы-хроникеры, густыми красками описывающие их "хождение по мукам".

Для Терца характерно такое замечание: "Мне нравится замедленность здешнего существования по сравнению с обычным ритмом жизни, которым хотят-не хотят — руководствуются на воле. Мысль в лагере течет как бы естественнее, без ухищрений разума кого-то опередить... Время течет "эпически". Как это определение "эпически" правильно найдено и как много оно выражает!

И дальше — я снова прибегаю к цитате — "вся загадка в том, что время воспринимается как простанство". И характерный для Терца вывод "о потери места во времени" и даже "об исчезновении времени". Это — пронзительная сторона лагерной жизни или, лучше сказать, "лагерного жития", которая вносит в существование новое измерение, делающее возможным на все смотреть немного потусторонним оком. Происходит непрерывное переключение скоростей, выходит наружу полная абсурдность всего происходящего, потеря связи времен и скрытое желание эту связь восстановить. Терц пытается это сделать при помощи тех писем, из которых и родились его заметки.

И, вероятно, мрачнейшая карикатура на все, "там" происходящее, — анекдотец о том, как умирающий за неделю до смерти у другого умирающего — соседа по койке — украл очки.

Розанов, о котором я уже вспоминал, написал: "Хитрый бес подсказал — буря занимательнее покоя", а строкой ниже добавил в скобках "а!" с восклицательным знаком. В этом "а!" весь Розанов. Не знаю, думал ли или нет о "буре" Синявский, сидя в лагере, но и в его внешнем смирении, в его наблюдениях, в его впечатлениях, в его лагерном фольклоре (из которого хотелось бы выписать целые страницы) всегда ощущается присутствие — конечно, непреднамеренное вероятно, нечаянное — этого розановского "а!". Это ни в какой мере их не роднит, но делает их обоим писателями особого склада, писателями, которые — каждый по-своему — сказали много больше того, что удастся почувствовать при беглом чтении и что раскрывается только, если в их текст хорошенько вдуматься.

И да простят мне еще одну цитату из Терца: "Может быть, истинное искусство обнаруживает всегда неумение, отсутствие мастерства... Хуже нет, когда из-под слов торчит содержание. Слова не должны вопить. Слова должны молчать". В "Голосе из хора" слова Абрама Терца действительно не вопят, однако автору не удалось заставить их молчать. Читателя они в каком-то смысле ранят, тянут за собой, переносят в особый, фантастический мир, о котором мы знаем и не знаем, догадываемся, но его понимаем, страшимся его, но хотим узнать о нем все, что только можно. "Голос из хора" можно воспринять и как человеческий документ, и как "повесть" — и эту "повесть" читатель не только хочет прочитать до последней буквы, но внутренне осмыслить все, что таится в ней между строками, заполнить все белые места, из отдельных кусочков — как в детской игре — восстановить всю картину.

В "Голосе из хора" все, что касается плоти, физических переживаний и восприятий неотделимо от области духа. В этой книге между

духом и плотью нет противопоставления, пропасти не чувствуется. Все, во что верит Синявский-Терц, он служит одновременно и духом и плотью, и ни одного, ни другого пока никому еще сломать не удалось.

"Мы пришли на землю, чтобы что-то понять, что-то очень немногое, но крайне важное", пишет Терц. Это "важное" несомненно приоткрылось ему, как это ни странно, в одном из мордовских концлагерей, а в слабом отражении — и нам, читателям его книги.

Александр Бахрах

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ, ЗАПАДНЫЙ МИР И РОССИЯ.

Так можно было бы озаглавить недавно вышедший второй том "Хроники семьи Зерновых" *). Собственно говоря, это скорее воспоминания, нежели хроника в обычном смысле этого слова. Хронологическая последовательность рассказываемых событий связывает их, однако, с пережитым семьей после оставления ею России. С обликом ее членов читателя знакомят некоторые главы их записок, сугубо личного характера (незабываемое впечатление оставляют те из них, которые описывают праведные смерти представителей ее старшего поколения).

Но вместе с тем этот коллективный труд — нечто большее, чем обычные воспоминания: в нем перед нашими глазами проходит вся пятидесятилетняя история русской эмиграции, в частности, история возникновения и развития Р.С.Х.Д., наряду с повествованием о нелегком пути, пройденном теми, кому пришлось в ее среде трудиться на поприще социальной помощи своим соотечественникам на чужбине.

Одно из главных достоинств "хроники" в том, что всё рассказанное в ней изложено без прикрас и умолчаний, лишаящих объективного интереса и делающих пресным не одно произведение этого рода. Ибо авторам ее в их разносторонней работе приходилось встречать не одни лишь сочувствия и похвалы, но и "подозрения, клевету и недоброжелательство".

Что же может почерпнуть в этой увлекательной — и своим содержанием и живостью его изложения — книге неускушенный читатель, особенно читатель молодой, не переживший сам всей горечи полувекowego изгнания?

Прежде всего перед ним встанет во весь рост миссионерская деятельность русской эмиграции в Западном мире. Действительно, эмиграции удалось не только преодолеть стену незнания и непонимания Православия и России, но и пронести весть о них до самых отдаленных уголков мира (не характерна ли в этом отношении встреча Н. М. и М. В. Зерновых на закинутом в Тихом океане острове Самоа с учителем местной миссионерской школы, оказавшимся бывшим членом дружества св. Албания и преп. Сергия в Англии, продолжавшим регулярно получать и читать его журнал "Соборность"?).

Деятельность эта питалась сильной, непоколебимой и неиссякаемой верой в Бога, яркие примеры которой мы находим в жизнеописаниях

*) "За рубежом". Белград, Париж, Оксфорд. Хроника семьи Зерновых". Имка-Пресс, Париж, 1973, стр. 562.

отдельных членов семьи Зерновых, составленных ими самими. Причем не одной только веры, но и реальных плодов ее — ответом Бога на искреннюю и горячую молитву. И как не воскликнуть вместе с С. М. Зерновой: “Ты еси Бог, творяй чудеса!”, читая описания поистине чудесных событий, сопряженных с ее работой на пользу ближнего.

Но не только это извлечет внимательный читатель из прочитанной им книги. В записях Н. М. Зернова он увидит внутреннюю, как бы лабораторную работу, происходившую в душе русского юноши при его встрече с Западным миром. Постепенно развеиваются предвзятые мнения, падают воздвигнутые веками национального и культурного отчуждения перегородки, и западный христианин предстает перед ним в его подлинном облике — брата во Христе, пусть заблуждающегося во многом, но ищущего правды. В нашу эпоху, когда христианский мир, разлагаемый своими внутренними неурядицами, осажден и тесним поднимающимися со всех сторон волнами безбожия и богоборчества, это сознание общности стремлений есть первый шаг к далекому еще единству. И как хотелось бы, чтобы оно наступило не за пределами истории!

Особенно значительны главы, посвященные “встречам с Россией”, нынешней послереволюционной Россией. С Россией и Русской Церковью, где “вера и крепость одних и малодушие других сплелись друг с другом”. Страшные и волнительные правдивостью своей страницы ярких и страстных, в ревности ее о вере, рассказов, принадлежащих перу С. М. Зерновой, и все пронизанные тем, что я назвал бы нежностью и любовью, описания М. В. Зерновой.

Следует еще отметить предельно краткие, но очень рельефные характеристики, данные Н. М. Зерновым ряду церковных и религиозных деятелей, с которыми ему приходилось встречаться (о точности их автор этих строк может судить по впечатлениям, оставленным в нем самом многими из описываемых лиц).

Как же можно отозваться о книге в ее целом? Что вынесет из нее читатель? Бог даст, она послужит ему примером доброжелательства и терпимости — не ко злу, конечно, или к служащим ему, и к инакомыслящим христианам; научит видеть в них не коварных врагов — к чему мы все, к сожалению, так склонны — а соратников по нашей общей борьбе за Правду Христову.

М. Н. Энден

ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Русское Христианское Студенческое Движение за рубежом — явление необычайное. Оно возникло на стыке двух эпох. Им заканчивается период долгих блужданий русской интеллигенции вне церковной ограды и начинается ее работа под покровом Православия. Движение оказалось первым удачным опытом плодотворного сотрудничества между профессорами, студенческой молодежью и инославными друзьями Русской Церкви, основанном на соборной ответственности за общее дело. Оно нашло в Евхаристии источник своей жизненности и построило всю свою деятельность на сознании ценности духовной свободы и интеллектуальной честности. Оно создало миссионерски направленную автономную организацию мирян, чего не удавалось осуществить русским православным в течение всей их предыдущей истории.

Движение родилось в результате встречи трех несродных групп, которые, вступив в общение, дополнили и обогатили друг друга. Самая интеллектуально-значительная среди них состояла из выдающихся представителей религиозного и философского возрождения, уцелевших в буре революции и чудом оказавшихся за границей. Вернувшись в Церковь в расцвете своих блестящих дарований, после долгой и упорной борьбы с истиной христианства, они внесли в ее жизнь мощную, творческую струю. Они стояли на высоте европейской образованности, но после всесторонних изысканий пришли к выводу, что христианство нашло свое наиболее гармоничное выражение не на Западе, а в православной традиции, в особенности в его русском истолковании. Они были последователями Достоевского и Владимира Соловьева, воспринявшими все лучшее в учении славянофилов. Но они не были шовинистами, наоборот, они искали сотрудничества с инославными, веря в возможность сближения христианского Востока и Запада.

Непримиримые противники насилия, они проповедовали свободу как необходимое условие для построения правильного социального и экономического строя. Это были представители последнего поколения богоборческой интеллигенции, которые поняли тщету попыток установить братство и справедливость путем

уничтожения всех несогласных. Сама задача преобразования общества оставалась в центре их внимания, но дорога, ведущая к этой цели, открылась им озаренной светом христианского учения о Боге и человеке. Они учили об оцерковлении жизни, как задаче, стоящей перед православной Россией.

Вторая группа состояла из бывших участников Белого Движения. Они обрели веру в огне и испытаниях гражданской войны и красного террора. Многие из них резко отталкивались от старших представителей интеллигенции, считая их виновниками крушения империи, допустившими Ленина прийти к власти. У них не было ни знаний, ни культуры вождей религиозного возрождения, революция застала их на пороге университетского образования. Оказавшись в Европе, они устремились в высшие школы Балкан и западной Европы, героически преодолевая лишения и препятствия. Движение зародилось в их среде, они стали собираться небольшими группами, живя надеждой вернуться на родину, из которой глухо доносились все более мрачные вести. Они искали «единое на потребу», и их поиски приводили их к вратам Православной Церкви, которая открывалась им во всем своем богатстве и полноте. Их путь был не путь философских и идеологических исканий, а путь молитвы и служения. Их любовь к Церкви во всей ее земной уязвимости была трепетна и властна. Они не смущались ни тяжкими грехами расколов, ни ограниченностью человеческих истолкований, обретя жемчужину знания божественной природы Церкви. Стремление осуществить завет соборности, глубоко лежащий во всей истории русской церкви, было главной силой роста Движения. Его члены горели верой и хотели открыть врата Церкви своим соратникам и сверстникам. Православие помогло им найти общий язык с профессорами. Примирение этих двух групп придало Движению духовную глубину и возможность всестороннего развития. Часть этой молодежи стала последователями своих выдающихся учителей. Они смогли продолжить в своих писаниях идеи последних и ознакомить с ними западный мир.

Третья группа была представлена протестантами. Большинство из них были иностранцы, связавшие свою судьбу с Россией. Они содействовали установлению связи Движения с различными экуменическими организациями, которые оказали ему материальную помощь в первоначальной стадии его развития. Они познакомили членов Движения с различными западными методами студенческой работы и значительно расширили их горизонты.

Таким образом, сочетание этих трех групп и придало Движению его своеобразное лицо, ставшее неотторжимым от судеб русского рассеяния и вошедшее в историю православной культуры.

С точки зрения ранее поставленных задач, Движению, как и всей эмиграции, не удалось осуществить свою первоначальную цель — подготовить богословски и литургически образованных деятелей для церковной работы на родине. Все его старшее поколение сошло в могилы за рубежом. Не удалось ему и заметно обновить литургическую жизнь эмиграции. Русский обрядовый консерватизм оказался непреодолимым препятствием. Только отчасти смогло Движение поднять богословский уровень зарубежных приходов. Зато количество прекрасно образованного и высокоидейного духовенства, вышедшего из его среды, и литература, изданная им, представляют собой значительное достижение. Движение начало вести свою работу при самых тяжелых условиях, его члены в большинстве были бесподанными изгнанниками, не обеспеченными ни постоянной работой, ни правом свободного передвижения по миру. Неуверенные в своем будущем, они часто становились первыми жертвами безработицы. Но кроме заработка на кусок хлеба, они находили время и силы и для учения, и для церковной работы.

Главным вкладом Движения в сокровищницу русской культуры был сам факт его возникновения. В годы, когда над Россией царил кровавое знамя большевизма с его лозунгами беспощадной борьбы с христианским благовестием, когда тысячи оголтелых агитаторов вопили на митингах, что Бога выдумали попы, что Христос был жалким обманщиком и что только безграмотные бабы могли оставаться в церкви, в эти страшные годы одержимости и массового отступничества группа высокообразованных русских профессоров и студентов, включавшая специалистов по всем отраслям знания, не только встала на защиту христианства, но и всецело отождествила себя с Православной Церковью, со всем тем, чему учила она русских людей в течение их тысячелетней истории.

Члены Движения нашли истину, и она освободила их от страха и неуверенности. Они готовы дать ответ о том во что они веруют, и атеистам, и людям других религий. В их лице в первый раз голос Православия зазвучал на Западе во всей своей силе и сразу привлек к себе внимание представителей других вероисповеданий. Строгий запрет на литературу, издающуюся Движением,

наложенный советскими бюрократами, показывает, насколько она кажется опасной в их глазах и как бессильны атеисты опровергнуть доводы христианских апологетов.

Другим достижением Движения было создание жизненной организации. Его члены не только исповедывали свою веру, но они также сумели соединиться для ее распространения среди разнообразных кругов русского рассеяния. Оно включает в свои ряды лиц разных политических убеждений и разного уровня образования. Принадлежность к Церкви сделала возможным их дружное сотрудничество. До второй мировой войны Движение проникло в Прибалтийские республики и в Прикарпатскую Русь, где нашло отклик среди рабочей и крестьянской молодежи. Оно явило пример широкого объединения русских людей под покровом Православия. С самого начала оно было независимо. Оставаясь глубоко церковным, оно не было подчинено иерархии.

Наконец, Движение нашло способы успешной миссионерской работы среди молодежи. Его открытием были литургические съезды и юношеские лагеря и колонии. Съезды Движения сочетали богословские лекции и семинары, свободное обсуждение любых вопросов с говениями монастырского характера, с ежедневными богослужениями, оканчивающимися исповедью и причастием. Эти съезды, с их общей трапезой, с атмосферой равенства и близости, с их оживленными беседами, были совершенно новым явлением для русской церковной жизни. Их участники образовывали дружную семью, яркую и неповторимую. Великаны духа и мысли — О. С. Булгаков, А. В. Карташов, Н. А. Бердяев со всей плеядой духовенства и профессоров сливались с молодежью всех возрастов, поражая ее своими взлетами и одновременно питаясь ее всецелой отдачей Церкви и горячностью веры. Как в первые годы Движения, так и теперь на съездах мы учимся жить и мыслить в Церкви. Мы уезжаем с них обогащенными новым опытом «оцерковления всей жизни», слово «соборность» приобретает для нас конкретный смысл. Съезды, подобные движеническим, несомненно смогут стать самым действенным способом обращения в христианство людей, воспитанных в безбожии и материализме.

Подводя итоги всему сказанному, можно охарактеризовать Движение двумя словами — героизм и пророчество. Его члены подняли хоругвь православной культуры в самый страшный и соблазнительный период русской истории. Они, не щадя своих сил, самоотверженно отдавали себя на служение Церкви, уповая на конечную победу истины над ложью и клеветой. Они остаются не-

поколебимыми в своей вере, что Православие не исчезнет и что его свет воссияет над русской землей.

Последние годы дают все больше подтверждений для этой надежды. Все чаще раздаются голоса из России, что там растет новое поколение, которое нашло в Церкви «столп и утверждение истины», так же как это сделала 50 лет тому назад эмигрантская молодежь, создавшая зарубежное Движение.

Движение, как и вся наша эпоха, парадоксально. Его корни уходят в отеческое предание, но оно само устремлено в будущее. Оно не мечтает вернуться в прошлое, но его члены убеждены, что без любви и понимания того, чем жили ушедшие поколения, без сознания преемства, ни отдельный человек, ни общество не могут подлинно творить. Оно знает, что все лучшее, что создал русский народ, родилось под сенью Православия и только на этой веками освященной основе он сможет строить свое единство. Этой верой вдохновлялись и продолжают вдохновляться члены Движения, и они хотят делиться еще со своими братьями и сестрами на родине.

Николай и Милица Зерновы.
Оксфорд.

В 1973 году исполнилось 50-летие воссоздания Русского Студенческого Христианского Движения за рубежом. В следующем номере будет помещен подробный отчет о деятельности движения в истекшем году.

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к Русской Православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
От Редакции	
Утопия или маниловщина, ответ Х.У. — Н. Струве	3
Реплика — А. Солженицын	7
БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ	
Теория двуправоручности св. Кассиана — (публикация архиепископа Иоанна)	8
Сила религиозного молчания — Д. Саврамис (Афины)	17
Таинство входа — прот. А. Шмеман (США)	33
Размышления о мифах — игумен Геннадий (Эйкалович) (Австрия)	45
Итоги — свящ. Павел Флоренский	56
Речь при вручении премии “золотого клише” — А. Солженицын ..	66
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
На просторе (неизданная глава из текста полной редакции “В круге первом”) — А. Солженицын	70
Вокруг Солженицына	
Возвращенная память — Михаил Геллер (Париж)	90
Голос Архипелага (три стихотворения)	108
Свидетельства из СССР — (Е. Барабанова, С. Агурского, Б. Шрагина, Л. Копелева, Л. Регельсона, И. Приворцового и др.)	111
К выходу в свет стихотворений О. Мандельштама в СССР	
Улица Мандельштама — Ю. Карабчиевский (СССР)	136
Неизданные стихи — О. Мандельштам	172
О. Мандельштам в “Библиотеке поэта” — Н. Струве	181
СУДЬБЫ РОССИИ	
Идеократическое сознание и личность — Д. Нелидов (СССР)	185
Пять возражений Сахарову — В. Осипов (СССР)	215
Последний день Москвы — В. Осипов (СССР)	220
Вера и антивера — М. Меерсон-Аксёнов (США)	233
Преследования верующих (разные документы)	241
Письма в редакцию	
Отклик на доклад прот. А. Шмемана — Х. (Москва)	245
По поводу публикации писем двух братьев-епископов — С. Агурский (Москва)	249
Библиография	
А. Терц, Голос из хора — (А. Бахрах)	250
Хроника семьи Зерновых — (М. Энден)	253
К 50-летию Русского Студенческого Христианского Движения	
Значение РСХД для православной церкви — Н. и М. Зерновы (Оксфорд)	255

SOMMAIRE

	Pages
Liminaire - Réponse à l'essai d'une utopie journalistique — N. Struve	3
Réplique — A. Soljenitsyne	7
THEOLOGIE, PHILOSOPHIE	
La théorie des « deux mains droites » de Saint Cassien (préface de Mgr Jean de San Francisco)	8
Puissance du silence religieux — D. Savramis (Grèce)	17
Le sacrement de l'entrée — P.A. Schmemmann (USA)	33
Réflexions sur les mythes — P. Guennady (Autriche)	45
Bilan — Texte inédit du P. Paul Florenski (1882-1943)	56
Discours à l'occasion de la remise du prix « Le cliché d'or » — A. Soljenitsyne	66
LITTERATURE ET VIE	
Au large (chapitre inédit de la version complète du « Premier cercle ») — A. Soljenitsyne	70
Autour de Soljenitsyne	
Restitution de la mémoire — Michel Heller (Paris)	90
Quelques voix de l'Archipel	108
Témoignages venues de l'URSS (E. Barabanov, S. Agourski, B. Chraguine, L. Regelson, etc...)	111
A l'occasion de la publication des « vers » de Mandelstam en URSS	
La rue de Mandelstam — G. Karabtchievski (URSS)	136
Vers inédits — O. Mandelstam	172
Le recueil de vers de Mandelstam — N. Struve	181
LES DESTINEES DE LA RUSSIE	
Conscience idéocratique et personnalité — D. Nelidov (URSS) ..	185
Cinq objections à Sakharov — V. Ossipov (URSS)	215
Le dernier jour de Moscou — V. Ossipov (URSS)	220
Foi et anti-foi — M. Meerson-Aksenov (USA)	233
Documents sur la persécution en URSS	241
Bibliographie	250
Courrier des lecteurs	245
Pour le 50^e anniversaire de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes	255

LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris

Téléphone : ODE. 74-46 et ODE. 43-81

Compte Chèques Postaux : Paris 13313-73

Фр.

СОЛЖЕНИЦЫН — Архипелаг ГУЛаг. Том I: книги 1 и 2, стр. 606	40,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Архипелаг ГУЛаг. Том II: книги 3 и 4, стр. 657	42,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Письмо Вождям Советского Союза (5-9-1973) стр. 51	7,50
СОЛЖЕНИЦЫН — Прусские ночи. Поэма. Пластинка 30 см. 36 об. (читает автор) и текст	40,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Прусские ночи. Поэма. Текст, 64 стр.	9,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Август четырнадцатого. Узел I. В мягком переплете	35,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Август четырнадцатого. Узел I. в твердом переплете	45,00
СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом	42,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Раковый корпус	35,00
СОЛЖЕНИЦЫН — Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Новое изд. окончательный текст автора	15,00
“Август четырнадцатого” читают на родине. Отклики. 1973 г.	15,50
ГУЛЬ Р. — Читаю “Август четырнадцатого” Солженицына. ..	8,25
МЕДВЕДЕВ Ж. — Десять лет после “Одного дня Ивана Дени- совича”	30,00
ПЛЕТНЕВ Р. — А. И. Солженицын. II-ое доп. издание 1973 ..	15,00
МАНДЕЛЬШТАМ О. — Собр. сочинений. Том I — Стихи. Том II — стихи и проза. Том III — Очерки. Письма. Каждый том по	56,00
МАНДЕЛЬШТАМ Надежда — “Вторая книга” воспоминаний, стр. 712	45,00
ПАНИН Д. — Записки Сологдина, 1973 стр. 575	55,60
ТЕРЦ-СИНЯВСКИЙ — Голос из хора. 1973, стр. 339, в пер. ..	55,60
ШМЕМАН прот. А. — Исторический путь православия. Стр. 388	20,00
ALBUM SOLJENITSYNE — Photos inédites. Autobiogra- phie	21,00
DAIX Pierre — Ce que je sais de Soljenitsyne, 1973, p. 229	25,00
CLEMENT Olivier — L'esprit de Soljenitsyne, 1974, p. 384 ..	32,00
MARTIN A. — Soljenitsyne le croyant. Lettres. Discours, p. 172	21,00
BLOOM Mgr Antoine — Certitude de la foi	19,00
SCHMEMANN A. — Pour la vie du monde	14,00

IMPRESSIONS INTERNATIONALES
18-20, rue du Faubourg du Temple
PARIS-XI•

ВЕСТНИК

Русского Студенческого Христианского Движения

XXXVIII-й год издания

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕСТНИКА

- В Австралии:** — M. Solovey, « Our word », P.O. Box 178, Potts point, N.S.W. 2111 Sydney, Australie.
— Mrs B. Szobovits, 11 Dianden ave., Marden, West Australie.
- В Америке:** Mrs Ludmila Toman, 85, Tobey Road, Belmont, Mass. 02178, U.S.A.
- San Francisco:** Mrs Olga Raevsky-Hughes, 1418, 24th Ave. San Francisco, Calif., 94122, U.S.A.
- В Англии:** The Centre for the study of religion and communism. 34 Lubbock Road, Chislehurst, Kent BR 7 5JJ.
Подписная плата на год: 2,5 фунта ст., с целью поддержки — 5 фунтов ст.
- В Бельгии:** Подписная плата на год: 500 бельг. фр., с целью поддержки — 1.000 бельг. фр.
Просим подписчиков вносить плату прямо на почтовый счет A.C.E.R. Paris C.C.P. 2441-04, либо банковским чеком на имя A.C.E.R.
- В Германии:** Подписная плата на год: 40 герм. м., с целью поддержки — 100 герм. м.
Просим плату посылать непосредственно во Францию банковским переводом.
- В Швеции:** Prost S. Timtchenko. — Box. 19027, Stockholm, 19, Suède.
Подписная плата на год: 50 шведских крон, с целью поддержки — 100 швед. кр.
-

Directeur responsable: Nikita STRUVE.

Tous droits de traduction réservés.